

ВОЗВРАЩЕНЦЫ

ГДЕ ХОРОШО, ТАМ И РОДИНА

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

НАРОД ПРОТИВ

НАРОД
ПРОТИВ

НАРОД ПРОТИВ

ВОЗВРАЩЕНЦЫ

ГДЕ ХОРОШО, ТАМ И РОДИНА

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

АЛГОРИТМ
Москва, 2006

УДК 323
ББК 66.5
К 91

Оформление *А. Старикова*

Куняев С.Ю.

К 91 Возвращенцы. *Где хорошо, там и родина.* – М.: Алгоритм, 2006. – 304 с.

ISBN 5-9265-0239-X

Как в конце XX века мог рухнуть великий Советский Союз, до сих пор, спустя полтора десятка лет, не укладывается в головах ни ярых русофобов, ни патриотов. Но предчувствия, что стране грозит катастрофа, появились еще в 60—70-е годы. Уже тогда разгорались нешуточные баталии прежде всего в литературной среде — между многочисленными либералами, в основном евреями, и горсткой государственников. На гребне той борьбы были наши замечательные писатели, художники, ученые, артисты. Многих из них уже нет, но и сейчас в строю Михаил Лобанов, Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Василий Белов, Валентин Распутин, Сергей Семанов... В этом ряду поэт и публицист Станислав Куняев. Его книга — о непрекращающейся войне и на новом витке истории.

УДК 323
ББК 66.5

ISBN 5-9265-0239-X

ЧАСТЬ I

«НАШ ПЕРВЫЙ БУНТ»

Многие функционеры идеологической и литературной жизни 60—80-х годов, которые всеми средствами боролись с нами в те времена, сегодня издали свои воспоминания. Читаешь Александра Борщаговского, Раису Лерт, Раису Орлову-Копелеву, Льва Копелева, Анатолия Рыбакова, Льва Разгона, Михаила Козакова (всех не перечислить, имя им легион), и у всех, когда речь заходит о нашем противостоянии, одно и то же: «антисемитизм, антисемитизм, антисемитизм».

Однако, восстанавливая в памяти атмосферу тех лет, вспоминая наши разговоры о Даниэле и Синявском, о Бродском, о Галиче, о «Метрополе», о Тарсисе, о бегстве Анатолия Кузнецова за рубеж, могу, положа руку на сердце сказать: главная наша забота была не о том, кто из диссидентов еврей, а кто нет... Мы с той же недоверчивостью и отчужденностью относились к диссидентам-неевреям: Виктору Некрасову, Владимиру Максимову, Андрею Синявскому, Александру Зиновьеву, Эдуарду Лимонову, генералу Григоренко, Анатолию Марченко.

Русские писатели отстранились от диссидентов и не принимали их лишь потому, что чувствовали: воля и усилия этих незаурядных людей разрушают наше государство и нашу жизнь. Мы были стихийными, интуитивными государственниками, еще не читавшими Ивана Солоневича и Ивана Ильина, но уже тогда осознававшими, какие страшные жертвы понес русский народ за всю историю, и особенно в XX веке,

строя и защищая свое государство; и как бы предчувствуя кровавый хаос, всегда возникающий на русской земле, когда рушится государство, как могли, боролись с вольными и невольными его разрушителями. И не наша вина, что авангард разрушителей состоял в основном из евреев, называвших себя борцами за права человека, социалистами с человеческим лицом, интернационалистами, демократами, либералами, рыночниками и т. д. Мы уже знали, что, когда им нужно защитить их общее дело, тогда их общественно-политические разногласия как по команде забываются, и евреи-коммунисты вдруг становятся сионистами, интернационалисты — еврейскими националистами, радетели «советской общности людей» эмигрируют в Израиль, надевают ермолку и ползут к Стене Плача.

Сегодня им скрывать нечего, и они во множестве своих мемуаров откровенно пишут о том, какими чувствами и мыслями жил в 60—80-е годы их круг, избравший своим гимном песенку Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья...».

> Я принадлежал к довольно распространенной в художественных кругах России группе населения, — пишет в своих мемуарах актер Михаил Козаков. — Как ее определить — право, не знаю, Галина Волчек, Игорь Кваша, Ефим Копелян, Зиновий Гердт, Александр Ширвиндт, Марк Розовский, Михаил Ромм. Анатолий Эфрос... Фамилии и примеры позволительно множить вне зависимости от процента еврейской крови, вероисповедания или атеистического направления ума... Я не скрывал, что во мне есть еврейская кровь, как и другие, ненавидел и презирал антисемитизм и антисемитов. Как и другие из нашего круга, спотыкался на юдофобии любимейших Чехова и Булгакова, гордился успехами Майи Плисецкой, Альфреда Шнитке или Иосифа Бродского...

Сейчас люди вроде Михаила Козакова с удовольствием выбалтывают многие тайны и секреты жизни своего круга, тайны, тщательно скрываемые от мира в те времена.

А если кто-то на нас догадывался, какие страсти кипят в этом кругу «взявшихся за руки», и, не дай Бог, открыто гово-

рил или писал об этом, какой ор, какой возмущенный вопль исторгался из недр еврейской компашки! Все сразу вспоминали их адвокаты — и то, что они советские, и то, что отцы были пламенными революционерами, и что дружба народов — святая святых вашего общества, и что нечего «разделять людей по национальному признаку».

А теперь что? Теперь можно обнародовать изнанку той жизни, и Михаил Козаков с удовольствием обнародует ее:

> В начале 70-х уезжал художник Лев Збарский. Было ему тогда около сорока. Талантливый театральный художник, востребованный книжный график, огромная мастерская в центре Москвы, деньги, машины, лучшие женщины, модный художник, модный человек. Я задал ему тогда сакраментальный вопрос: «Почему, Лева?» Он: «Да, все это у меня здесь есть, если не все, то многое из тобой перечисленного. Более того, не знаю, что ждет меня там. (Збарский уезжал в Израиль, потом уже переехал в Америку, где и живет по сей день. — *Ст. К.*) Но как бы тебе это поточнее... Понимаешь, это кино мне уже показывали. Остается только его досмотреть. А вот того я еще не знаю...

Нет, молодец Александр Куприн. Хорошо он знал их натуру. Как эта история Збарского и людей, ему подобных, их отношение к России, похожа на историю, рассказанную Куприным в знаменитом и скандальном его письме к Ф. Батюшкову, написанной аж в 1909 году:

> Один парикмахер стриг господина и вдруг, обкорнав ему полголовы, сказал «извините», побежал в угол мастерской и стал ссать на обои, и когда его клиент окоченел от изумления, Фигаро спокойно объяснил:
>
> — Ничего-с. Все равно завтра переезжаем-с.
>
> Таким цирюльником во всех веках и во всех народах был жид со своим грядущим Сионом.

Вот эти слова «все равно завтра переезжаем-с» глубоко запали мне в память. Лев Збарский, Лев Копелев, Василий Аксенов, Анатолий Гладилин — все они в определенный момент начинали вести себя как цирюльник из купринского

письма... Как будто из какого-то тайного центра прозвучал тайный приказ, и все они, как муравьи, послушно переменили взгляды, убеждения, чувства.

Мы так не умели и не могли. В этой способности коллективного лицедейского перевоплощения в зависимости от исторических обстоятельств была циничная сила людей подобного склада. Ведь почти все они дети «пламенных революционеров», пропагандистов социализма, секретарей обкомов, певцов ГУЛАГа.

Отец Михаила Козакова, так же как отцы Натана Эйдельмана или Юрия Нагибина, славили Беломорканал, отец Льва Збарского бальзамировал Ленина, сам Михаил Козаков с необыкновенной страстностью и талантом всю жизнь играл Дзержинского... Э! Да что говорить! Плохо мы их знали в те годы...

Но, к сожалению, и с русскими националистами вроде Леонида Бородина и Владимира Осипова мы не могли окончательно породниться, потому что их «русское диссидентство» по-своему тоже было разрушительным, а мы стремились к другому: в рамках государства, не разрушая его основ, эволюционным путем изменить положение русского человека и русской культуры к лучшему, хоть как-то ограничить влияние еврейского политического и культурного лобби на нашу жизнь. Нам казалось, что шансы для такого развития событий у истории есть... И они были. Разрушать же государство по рецептам Бородина, Солженицына, Осипова, Вагина с розовой надеждой, что власть после разрушения перейдет в руки благородных русских националистов? Нет, на это мы не могли делать ставку. Слишком высока была цена, которую пришлось бы заплатить в случае поражения. Кстати, именно такую цену за совершившуюся антисоветскую авантюру наше общество и ваш народ и платит сегодня.

А с русскими диссидентами нас разделяло то, что мы ни при каком развитии событий не могли и помыслить о том, что можем уйти в эмиграцию и покинуть вашу страну. Мы не могли, живя в СССР, позволить себе каприза печататься за

границей. Это было чревато вынужденной или добровольной эмиграцией. Такой вариант судьбы мы отвергали сразу», и это резко отделяло нас от «русской национальной диссидентуры».

Мы хотели, чтобы ваши взгляды распространялись на родине открыто, и раздвигали границы гласности у себя дома. Пути «подполья», по которым шли журнал «Вече» или ВСХСОН, казались нам сектантскими и в той или иной степени объективно смыкавшимися с путями правозащитных организаций, «хельсинкских групп», Солженицынского фонда и т. д.

А еврейское лобби, чувствуя все нарастающую поддержку «мирового сообщества», наглело все больше и больше. Я помню, в какое бешенство я пришел, прочитав исповедь какого-то полупоэта-полупублициста В. Хазанова (Файбисовича), эмигрировавшего в начале 70-х в Европу. Он плакался об утрате России такими словами:

> Мы бы не ощущали так живо свою утрату, если бы не были наследниками великой и рухнувшей культуры. А мы ее наследники, пусть оскуделые и полузаконные, но наследники. Недаром мы говорим по-русски лучше, чем большинство русских.

И это говорилось с фарисейской ядовитой кротостью в годы, когда лучшие свои книги писали Василий Белов, Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Юрий Казаков, Юрий Кузнецов, Николай Тряпкин! Поистине было отчего людям легковоспламеняющимся, вроде меня, прийти в ярость. Тем более что Хазанов в своей закомплексованной гордыне проговорился о многом, о чем мы лишь догадывались:

> Заполнив вакуум, образовавшийся после исчезновения старой русской интеллигенции (как мягко и обтекаемо сказано, как будто не было чекистских погромов этой интеллигенции в 20—30-е годы под руководством Троцкого, Ягоды, Френкеля, Ярославского, Агранова и т. д.! — *Ст. К.*), евреи сами стали этой интеллигенцией. При этом, однако, они остались евреями.

Нет, терпеть такие унижения было невозможно...

Для того чтобы показать, как созревало мое националь-ное самосознание в 70-х годах, приведу выписки из дневника тех лет:

16.01.1971 г. В сегодняшней «Правде» статья о Сол-женицыне. Дело идет к тому, что его вышлют на Запад. Как бы я ни ценил его талант — приходится признать, что он не в себе: не понимает, что обратного пути нет, что приходит-ся жить в той России, которая есть и будет, думать о ее бу-дущем, а не о прошлом...

История с Сахаровым и Солженицыным, которых на-ше могучее государство не может ни замолчать, ни поса-дить, ни выгнать за границу, ни убить, ни опубликовать — необыкновенно интересное свидетельство нынешнего на-шего положения.

Хочется быть демократическим государством, а не можем. Не растет это дерево на русско-советской почве. У демократии, несмотря на все ее безобразия, есть свои правила игры, а мы хотим поиграть в нее, но не до конца, а до середины.

Впрочем, неизвестно, что лучше. Пока в обществе есть силы и ситуации, создающие напряженность духовной жизни, я, как художник, чувствую себя необходимым. Что толку, если я смогу говорить, что хочу, а меня слушать будет некому? Останется разве что детективы сочинять?

18.01.1974 г. Рубцов похоронен, Передреев пьет и разрушается. Немота овладела им. Игорь болен, и не видно просвета в его болезнях. Соколов слишком устал от своей жизни. Неужели мне придется в старости, если доживу до нее, залезть в нору, как последнему волку, и не высовывать-ся до конца дней своих?

25.01.1974 г. То, что Блок. будучи, по существу, анти-семитом, ни разу в своем творчестве этого не обнаружил (а только в записных книжках и дневниках) — не случайно. Дело не в страхе. Блок ничего не боялся. Да и не стыдился он перед собою этого чувства. Но обнаруживать это чувст-во — значило скатываться к тем слоям общества, которых либеральная часть его души не принимала. Но нельзя за-бывать и о другом. Блок перед смертью пересмотрел тща-

тельным образам все свои записные книжки и дневники. Все, что он не хотел оставлять для изучения потомков — уничтожил. Но антиеврейские страницы оставил. В этом тоже есть какая-то тайна и какой-то завет.

26.01.1974 г. Литература русская гибнет, с одной стороны, от постоянной административной обработки наших чиновников, чаще всего русских по происхождению. А с другой — от еврейской отравляющей воздух беллетристики, от многонациональной переводной болтушки для свиней, изготовленной по ихнему рецепту. Обе эти силы прекрасно знают о существовании и деятельности друг друга. Сферы их влияния поделены, и никогда они не подымут руку друг на друга.

Ворон ворону глаз не выклюет.

16.02.1974 г. Читаю рукопись какого-то еврея-физика о России, о Советской власти, научно-техническом прогрессе, морали и т. д. (Витя Гофман подсунул, он в восторге). Главная идея такова: русское дворянство и народ никогда не сливались в одну нацию. В сущности это всегда были две нации. Немудреный подтекст: русским народом можно властвовать кому угодно — варягам, татарам, немцам, почему бы, в новых условиях не евреям? Но за всеми доказательствами, силлогизмами, аналогиями слышится приглушенный вопль: «Не удалось превратить Россию в землю обетованную! Со-о-о-рвало-о-сь! Что-о-о же дела-а-ть?!»

29.02.1976 г. Звонит Анатолий Клитко. Звонит раз в 6 лет: «Лица человеческого жажду. Коржев приезжал — нет уже на нем лица. Надо встретиться. Книжку твою прочитал. Вспомнил Вазир Мухтара. Слом времени. Новые люди приходят. Нет им дела ни до чего старого».

...Звонки наших алкоголиков для меня дороже любых статей о моем творчестве.

9.08.1976 г. Умер Михаил Луконин. Верченко на заседании похоронной комиссии упрекал директора Литфонда за то, что последний не гарантирует доставку гроба точно к 10.00.

— Хочу вам еще раз напомнить, что похороны эти не простые, а государственные...

Одна строчка есть у Луконина по поводу того, о чем он не хотел думать: «Я падал вверх».

16 мая 1977 г. Недоумение Слуцкого по поводу того, откуда «антисемитизм Станислава» — от Достоевского или Палиевского — наивно: от русофобства 20—30 годов, от национального чувства, уязвленною массовой эмиграцией еврейства после 67 года, после арабо-израильской войны. А Достоевского я читал гораздо раньше, но одно дело читать, другое быть свидетелем исторических сдвигов.

В конце 1977 года произошло событие, властно повлиявшее на мои чувства. В Таджикистане погиб мой лучший друг, поэт и геолог Эрнст Портнягин, с которым я дружил более пятнадцати лет, бок о бок с которым провел несколько полевых сезонов в горах Тянь-Шаня. Он был русским по матери и евреем по отцу. Подчеркиваю это, чтобы еще раз показать: какая кровь текла в жилах моих друзей — не имело для меня значения. Эрик был русским поэтом, русским патриотом и русским государственником.

Когда мы хоронили его в запаянном цинковом гробу на Хованском кладбище, я подумал: «Вот так и со мной может произойти. Несчастный случай — и все годы, которые ты готовил себя к большому делу, к борьбе за судьбу русской культуры и, может быть, за судьбу России, — все пойдет псу под хвост. Надо действовать, пока есть силы, пока не поздно». Потому в конце 1977 года, когда Вадим Кожинов позвонил мне и предложил выступить в дискуссии, которая называлась коротко и емко: «Классика и мы», я решил бросить этой мафии в лицо все, что думаю о ней. Спасибо Кожинову, организовавшему наш бунт.

Мне ничего и не приходилась сочинять для этой дискуссии. Все дело в том, что незадолго до нее я прочитал книгу «Воспоминания о Багрицком», в которое авторы (Антокольский, Тарловский, Сельвинский, Колосов, Гинзбург и другие) без стыда и чувства меры сравнивали его с Пушкиным, Блоком, автором «Слова о полку Игореве», Ильей Муромцем, называя «гением», «классиком», «великим лириком», вошедшим в историю «советской и мировой литературы». Я подумал: нет худа без добра! Они, как всегда, зарвались и дали мне повод для открытого боя.

Я написал большую статью об этой книге воспоминаний, искреннюю, живую, доказательную, но, пойдя по журналам, обнаружил: все «русские» журналы боятся ее печатать. Я ткнулся в двери изданий среднелиберального характера, но и там мне дали от ворот поворот. И вот возникла возможность обнародовать все свои мысли с трибуны. Необычный сценарий увлек меня. Однако я колебался, чувствуя, что близок выбор, который определит дальнейшую судьбу.

То, что я, бывший тогда одним из рабочих секретарей Московской писательской организации, могу потерять свою должность, кресло, зарплату в триста рублей, некоторое влияние на литературно-издательскую жизнь, — меня не тревожило. Я, честно говоря, тяготился я рутинной работой и правилами игры, которые должен был соблюдать.

Да и попал в это кресло, как сейчас понимаю, случайно. Мой предшественник Михаил Львов ушел в «Новый мир» к своему другу Наровчатову, надо было срочно кого-то сажать на рабочее место, и первый секретарь Московской писательской организации прозаик Сергей Смирнов, автор знаменитой тогда «Брестской крепости», будучи уже смертельно больным человеком, недолго думая, предложил мне, в то время уже имевшему репутацию известного поэта и энергичного человека, эту номенклатурную должность... Я пошел туда ради интереса, поглядеть, что такое служба, но по душе и по природе оставался «вольным охотником», авантюристом и независимым человеком. «Так что Бог с ней, с этой работой, коль события примут крутой оборот», — подумал я и принял решение выступить на дискуссии.

Однако у меня был и второй вариант выступления. В нем я готов был высмеять и дискредитировать, насколько мне это удастся, практику неестественного создания руками мощного еврейского переводческого клана живых классиков из писателей национальных республик. Помню, как меня всегда коробила фотография в коридоре Союза писателей СССР, на которой были изображены два Героя Социалистического Труда — русский Михаил Алексеев и аварец Расул Гамзатов. Фотограф схватил тот момент, когда Алексеев выглядывает откуда-то,

чуть ли не из подмышки Гамзатова, смотрит снизу вверх каким-то подобострастным взором, а над ним, как глыба, с толстомордой, обросшей короткой шерстью головой, с узенькими глазами-щелочками, возвышается Расул. Ну, прямо как будто только вчера произошла битва при Калке, после которой русские пленные князья были раздавлены «задами тяжкими татар»!

Всем нам была известна механика энергичного и ловкого создания из порой беспомощных подстрочников переводных книг среднего версификационного уровня, за которые Гамзатов, Мирзо Турсун-заде, Давид Кугультинов, Зульфия, Наби Хазри, Петрусь Бровка и прочие усилиями двух Яковов — Хелемского и Козловского, Юлии Нейман, Наума Гребнева, Давида Самойлова, Александра Межирова, Юнны Мориц, Семена Липкина и прочих деятелей из переводческого клана получали внеочередные издания, собрания сочинений, лауреатские медали, баснословные гонорары, звания академиков и секретарей, квартиры, дачи, автомашины и прочее и прочее. Замахнувшись на этих фанерных, наспех сколоченных классиков, думал я, можно нанести удар по переводческой мафии, можно перераспределить часть изданий и средств на нужды русских писателей, особенно провинциальных. Да по сравнению с «национальными классиками» многих замечательных русских писателей и поэтов 50—80-х годов — Заболоцкого, Мартынова, Смелякова, Сергея Маркова, Дмитрия Балашова власть держала все-таки в черном теле. Я хорошо был подготовлен к этому восстанию. Одно только количество изданий дагестанских, калмыцких, таджикских, узбекских классиков должно было поразить слушателей — по восемьдесят, по девяносто, а то и по сто книг за двадцать—тридцать лет литературной жизни... По 3—4 издания в год! Во много раз больше, нежели у Ахматовой, Заболоцкого, Мартынова...

На трибуну я поднимался, имея в руках текст двух выступлений, но в голове все время крутилась мысль: «Да, восстание против гипертрофированного засилья «националов» дело необходимое, но... не самое главное.

Скандал будет большой, поскольку эти бонзы открывают дверь ногой в любой из кабинетов ЦК, а толку будет мало. Главные корни нынешней скрыто-русофобской идеологии растут в другой почве и питаются другими соками...»

И когда с трибуны я оглядел зал, еще шумящий, волнующийся, негодующий или тайно радующийся — от возбуждения, которое вызвала расколовшая его пополам дерзкая речь Палиевского, когда я увидел на кромке сцены несколько работающих на историю магнитофонов, когда столкнулся глаза в глаза со взглядами, излучающими страх и ненависть, и просто физически ощутил энергию зала, давящую на меня, — я положил перед собой страницы своей главной речи.

Особенность дискуссии «Классика и мы» была в том, что наша сторона сама пригласила на поединок сильнейших противников из враждебного стана.

Вот передо мной их фамилии из списка, отпечатанного на пригласительном билете: А. Борщаговский, В. Евтушенко, С. Машинский, П. Николаев, А. Эфрос, В. Шкловский. И председательствовал, и вел собрание их человек — Евгений Сидоров. Мы не боялись их, поскольку были уверены, что правда на вашей стороне и что в открытой дискуссии победа, несмотря на возможные издержки, останется за нами.

Соперника же наши в своих акциях поступали совершенно иначе: вспомним хотя бы историю с «Метрополем», в котором участвовали лишь свои и на страницах которого немыслимы были ни дискуссии, ни выяснение истины. А мы девствовали простодушно, открыто, по-русски, следуя завету князя Святослава, предупреждавшего своих врагов: «Иду на вы!»

Однако мне пора обратиться к магнитофонной записи[1].

...Я не раз задумывался о том, что такое связь сегодняшней литературы с классикой, как она обнаруживается и где ее искать. Наверное, я бы не стал выступать на нашей дискуссии,

---

[1] Далее приводятся отрывки из выступления Ст. Куняева.— *Ред.*

если бы однажды не прочитал объемистую книгу — «Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников». «Советский писатель», 1973.

Многое в этой книге мне показалось интересным, многое — спорным, многие выводы надуманными... Приведу пока, чтобы не быть голословным, несколько цитат из этого издания. Дальше в своих рассуждениях я также не раз буду опираться на него.

> По живому чувству природы стихи Багрицкого равны лучшему, что было в русской поэзии, — Тургеневу, Фету, Бунину (Антокольский).
>
> Был, впрочем, один поэт, которому очень сродни Багрицкий в своем подходе к животному миру... это был безымянный автор «Слова о полку Игореве» (Марк Тарловский).
>
> Недавно я снова прочитал поэму «Человек предместья»... эта поэма, и с нею «Последняя ночь» и «Смерть пионерки», составляющие как бы первую и последнюю ступени поэтической ракеты, которая была запущена в историю советской и мировой литературы... (Марк Колосов).

На время прерву подобные цитаты. Похожих в этой книге очень много.

Я задумался после чтения всего этого вот о чем.

Одной из постоянных нравственных и эстетических традиций в мире русской поэзии было приятие всего, что поддерживает на земле основы жизни. Ежедневная работа по добыванию хлеба насущного, приятие относительно устойчивых форм быта, сложившегося на просторах нашей земли, тучная материальная почва, на которой со временем произрастал громадный густой смешанный лес русской культуры. «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь...». Не только крестьянин, но и Пушкин радуется зиме, дровням, мальчику, играющему в снежки, здоровью, праздничности первоснежья и работы.

А демонический Лермонтов? С каким вздохом облегчения спускается он на грешную землю:

С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно...

А Сергей Есенин, приезжавший в родную деревню как иностранец — в английском костюме, в лайковых перчатках, в кепи или в цилиндре, вдруг преображался, чтобы выдохнуть из глубины души:

Каждый труд благослови, удача —
Рыбаку, чтоб с рыбой невода,
Пахарю, чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года...

Словом, вот такой подход к этой теме — один из краеугольных камней поэтической традиции нашей классики. И, заново перечитав Багрицкого, я вдруг увидел, что именно этот взгляд странен и чужд его творчеству.

Самые естественные и необходимые для жизни дела воспринимаются поэтом как нечто требующее поголовного осуждения, гонения, уничтожения...

Эта ненависть приобретает фантастические формы, которые, к сожалению, нельзя списать за счет лирического героя.

Он вздыбился из гущины кровей,
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!
Он вздыбился над головой твоей —
Прими на рогатину и повали.

...В стихотворении «Т ВЦ» есть несколько формул, которые имеют прямое отношение к пониманию совести и нравственности, то есть проблемам, которыми всегда жила наша классика:

Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он (век имеется в виду. — *Ст. К.*)
скажет: «Солги», — солги.
Но если он скажет: «Убей», — убей.

Натуралистическая точность, в которую поэт облекает эти формулы, неотделима от жестокости. И в этом также сказался его полный разлад с русской поэзией. Рассуждения поэта о врагах больше похожи на речи обвинителя, чем на слова поэта.

Их нежные кости сосала грязь,
Над ними захлопывались рвы,
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.

Странно, что эти строки написаны, как мне кажется, чуть ли не с каким-то садистским удовольствием. Странно думать, что человек, приводящий приговор в исполнение, может ощущать плодотворную радость расправы, и что более всего странно — поэт вроде бы почти разделяет эту радость...

Это все весьма далеко от пушкинского, что в «мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Можно вроде бы возразить: времена другие и понятия о добре и зле иные. И сдается, что не было места в те годы для пушкинского гуманизма. Так-то оно так, да не совсем. Разве не в те же годы творили Ахматова и Заблоцкий, во многом являющиеся для нас символами этической и эстетической связи с классикой? Разве не в то же суровое время Сергей Есенин, словно бы мимоходом, оброняет:

Не злодей я и не грабил лесом,
Не томил несчастных по темницам...

Но во имя чего же поэт пошел на разрыв с этими великими традициями русской поэзии? Пожалуй, яснее всего об этом сказано в поэме «Февраль», являющейся, так сказать, его

завещанием. Апологеты Багрицкого, говоря об этой поэме, отделываются эпитетами — «гениальная, эпохальная», не раскрывая ее сути. В ней же повествование ведется от имени неуклюжего юноши, романтика, птицелова, ущемленного своим происхождением, тяготами военной службы, неразделенностью юношеского чувства к гимназистке. «Маленький мальчик», «ротный ловчила», на котором неуклюже сидит военная форма, которому неуютно в этом мире, который мечтает «о птицах с нерусскими именами, о людях с неизвестной планеты, мире, в котором играют в теннис, пьют оранжад и целуют женщин». Мир, полный романтического комфорта — вот что нужно ему, чтобы преодолеть свои комплексы.

Время помогает таким, как он, приходит Февральская революция. И сразу же: «кровью мужества наливается тело, ветер мужества обдувает рубашку». Он вступает во все организации, становится помощником комиссара. Появляется в округе вооруженный до зубов, как ангел смерти, окруженный телохранителями. Его превращение из гадкого утенка в карающего орла революции поразительно.

Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа.
Я много дал бы, чтобы мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке...
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками.

Поэма кончается тем, что при ликвидации публичного дома лирический герой встречает в числе проституток гимназистку, по которой вздыхал в свои юные годы, и жадно насилует ее.

Я беру тебя за то, что робок
Был мой век, за то, что я застенчив,
За позор моих бездомных предков...

Мне думается, что эта фрейдистская, ключевая по сути в поэме, также ключевая для Багрицкого, ситуация никоим образом не соприкасается с пафосом русской классики. Это поистине авангардизм, но уже в нравственной сфере...

Я отдаю себе отчет, что мои мысли достаточно спорны... Сложность посмертной судьбы этого поэта в том, что легенду о нем как классике требуется все время обновлять и подтверждать. Но, как мне кажется, ни в одном из главных планов — гуманистический пафос, проблемы совести, героическое начало, осмысление русского национального характера, связь души человеческой со звеньями родословных, историей, природой — поэзия этого поэта не есть продолжение классической традиции...

Ощущения, которые я испытал, стоя всего-то полчаса на трибуне, незабываемы. То мертвая тишина, когда сидящие в полутемном зале впадают в шок от моих слов и мыслей, совершенно неожиданных и радостных для одних и недопустимых и кощунственных для других. Но вдруг тишина взрывается рокотом возмущения, а через минуту возгласами отчаянного восторга. В какие-то секунды я просто физически чувствовал, как из темного зала, переполненного лицами, глазами, вздохами, вдруг густой струей прорывается и затекает на трибуну волна ненависти, сменяясь в следующее мгновенье теплой волной восхищения. Главное тут каким-то особым инстинктом угадать реакцию зала на твои слова на несколько секунд вперед, подготовиться к ней и внутренне — полной мобилизацией, точным отзывом, и внешне — выражением лица, интонацией голоса, выверенным жестом, правильным междометием или даже ответом на какой-нибудь неожиданный выпад из зала, на который невозможно не ответить.

Всю школу ораторского искусства и поведения на трибуне, всю школу публичного взаимодействия с толпой мне пришлось освоить в экстремальных условиях за какие-нибудь полчаса... Что творилось в полутемном, набитом людьми зале, я, конечно, разглядеть не мог, но, чтобы представить его ат-

мосферу, вспоминаю рассказ сына, как его сокурсница по университету, еврейка, зарыдала после моего жестокого и объективного приговора поэзии Багрицкого.

В перерыве — толпясь в переполненном фойе — одни люди отводили от меня глаза, другие стремились пожать руку, какая-то пожилая седоволосая женщина подошла с березовым туеском в руках и, поклонившись, подарила его мне. Дома, открыв туесок, я обнаружил на дне записку со словами: «От русских художников за отвагу в неравном бою...». Записка эта до сих пор хранится у меня как медаль или орден.

Блестящую вступительную речь произнес Петр Палиевский. Он закончил ее под аплодисменты, пересказав сцену из фантастической сказки Василия Шукшина «До третьих петухов» о том, как черти, выгнав монахов из монастыря, предложили им переписать иконы и на месте святых изобразить новых хозяев монастыря — чертей. «Бей их!» — закричал вдруг один монах. При этих словах Палиевский демонстративно поглядел на интерпретатора русской классики Эфроса. Аплодисменты, которые ему достались, наверное, были слышны на улице...

Дискуссия уже не шла, к ужасу Феликса Кузнецова — руководителя московских писателей — она катилась под гору с грохотом, как взрывающийся автомобиль из американского боевика.

Попытавшись остановить катастрофу, он промямлил нечто умиротворяющее: «Мой коллега Станислав Куняев не должен был использовать эту трибуну для того, чтобы обнародовать свою статью... почему необходимо с таким неистовством топтать Багрицкого? Мне это непонятно... если идти таким путем, то мы должны полностью отказаться, скажем, от Мейерхольда. А куда мы денем Маяковского?»

На самом деле хотя ход дискуссии был совершенно неожидан для Кузнецова, наш патриотический Талейран сразу понял, что происходит в зале и на сцене. Он только не понимал мотивов. Позже, в минуты откровенности, редкой для него, он признался:

«Меня ведь только-только выбрали первым секретарем, и я подумал, грешным делом, что, взрывая ситуацию, вы с Кодеиновым и Палиевским копаете под меня...»

В перерыве за кулисами взбешенный то ли нашими выступлениями, то ли своей неудачной речью Эфрос с искаженным лицом закричал, обращаясь ко мне:

— Вы же поэт! Ну и пишите стихи, а в политику и в общественную жизнь не лезьте, не ваше это дело!

С неприсущими ему плачущими интонациями после перерыва на трибуну вылез Евгений Евтушенко и запел ту же песню: «Зачем же сейчас стравливать уже мертвых замечательных художников театра и слова?!.» А потом он вообще в горячечной запальчивости понес всякую чушь вроде того, что Шукшин любил Пастернака и Багрицкого, что «патриотизм — это последнее прибежище негодяев», ну и, конечно, про антисемитизм. Как же без этого!

Однако мы с Палиевским получили неожиданную поддержку... Серго Ломинадзе — человек, отец которого в 30-е годы застрелился, а в 40-е сам узнавший вкус лагерной баланды, вдруг резко выступил против Евтушенко, Борщаговского, Эфроса: «Тезис о том, что без интерпретации Эфроса, Любимова и кого бы то ни было классика будет находиться в хрестоматийном небытии, вызывает у меня глубокое негодование». *(Выкрики.)*

В середине дискуссии масла в огонь подлил Евгений Сидоров, который стал вслух перед всем залом извиняться за антисемитскую записку, полученную Эфросом (в ходе его выступления — *Ред.*) Он не должен был этого делать и доводить еврейскую часть зала до истерики, поскольку такие записки при такого рода атмосфере могут сочиняться кем угодно, в том числе и профессиональными провокаторами...

Прослушиваю магнитофонную запись нашей дискуссии и печалюсь: как изменило, как поломало время людей, как оно сбило некоторых из них в стан с теми, кого они никогда не любили и не уважали... В годы перестройки ренегатская

логика исторических событий объединила Евтушенко и Игоря Золотусского в один лагерь. а ведь на дискуссии нашей Золотусский нашел в себе смелость заявить: «Я верю в искренность Евтушенко, но он не имеет в моих глазах никакого морального кредита... после того, как он написал: «Моя фамилия — Россия, а Евтушенко — псевдоним...» Это не просто личное невежество поэта».

Потряс аудиторию своей бесстрашной и пророческой речью Юрий Селезнев, когда отчеканил: «Мы все ждем, когда будет или не будет третья мировая война, ведем борьбу за мир... Но третья мировая война идет давно, и мы не должны на это закрывать глаза. Третья мировая идет при помощи гораздо более страшного оружия, чем атомная или водородная бомба. Здесь есть свои идеологические нейтронные бомбы, свое химическое и бактериологическое оружие... И эти микробы, которые проникают к нам, те микробы, которые разрушают наше сознание, гораздо более опасны, чем те, против которых мы боремся в открытую. Русская классическая литература сегодня становится едва ли не одним из основных плацдармов, на которых разгорается эта третья мировая идеологическая война... она должна стать нашей Великой Отечественной войной за наши души, за нашу совесть, за наше будущее, пока в этой войне мы не победим...»

Зал и президиум были совершенно опустошены и измотаны, когда к полуночи на трибуну вышел Вадим Кожинов и заявил, что он, «если говорить об антисемитизме, с презрением отвергает истерику, которая здесь по этому поводу совершилась».

Из последних сил от страха и негодования за то, что вроде бы страсти от усталости улеглись, и вдруг опять в доме повешенного заговорили о веревке, Феликс Кузнецов и Евгений Сидоров запричитали, заскулили, заверещали: «Вадим Валерьянович! *(Шум.)* Во-первых, никто в этом зале истерики по поводу антисемитизма не поднимал! Этого не было!» *(Выкрики, аплодисменты.)*

В. Кожинов: Нет, было! Нет, было! Более того, я склонен думать, что та записка, которая была здесь получена и зачем-то зачитана (шум), написана совершенно в провокационных целях... *(Шум, аплодисменты.)* Я не верю, я не верю тому, что это написал человек, который хотел выразить свою, так сказать, какую-то антисемитскую позицию...

Дальше последовал то ли шекспировский, то ли гоголевский диалог, являющийся невольным образцом драматургического жанра:

Ф. Кузнецов: Прошу...
В. Кожинов: Он именно хотел возбудить страсти.
Ф. Кузнецов: Я прошу вернуться к теме дискуссии.
В. Кожинов: Правильно, я о том же.
Ф. Кузнецов. И не нужно опускаться, я бы сказал, до мелких неразрешимых страстей...
В. Кожинов: Правильно, но я...
Ф. Кузнецов: Слава богу, мы ушли от этого и перешли к нормальному профессиональному разговору...
В. Кожинов: Совершенно верно, Феликс, но не я же...
Ф. Кузнецов: Зачем же возвращаться...
В. Кожинов: Не я же эти страсти возбудил...
Ф. Кузнецов: Что значит «не я же...»
В. Кожинов: Но я действительно свое...
Ф. Кузнецов: Я прошу перевести разговор в русло литературы. *(Шум, выкрики.)*
В. Кожинов: Все правильно, я про то и говорю.
Ф. Кузнецов: А ты свое...
В. Кожинов: А чего «свое»? *(Шум, крики.)* Ну, знаешь, давно пора все выяснить... Это делает невозможным всякое серьезное обсуждение...
Ф. Кузнецов: Вот именно...

Даже сейчас, спустя двадцать лет после дискуссии, перечитывать ее стенограмму невозможно без волнения. После двенадцати ночи нервы сдали у опытнейшего аппаратчика Евгения Сидорова. Когда Кожинов сошел с трибуны, Пупсик (как мы звали Сидорова) сорвался на фальцет:

— Товарищи, я прошу вести себя корректно, мы договорились об этом! Не разжигайте, пожалуйста, страсти!!! Я к вам обращаюсь...

Но страсти уже разжигать было некому. Все валились с ног от усталости. Напоследок я вышел с коротким заключительным словом и сказал, что не принимаю упреки в том, что Багрицкий помер и ничего не может возразить Куняеву, а потому выступление Куняева неэтично.

— Но ведь Чехов тоже помер, — пошутил я, — и ничего не может возразить Эфросу по поводу постановки им «Вишневого сада» или «Трех сестер»...

После полуночи истерзанная переживаниями людская масса, как венозная кровь, вытекла из обескислороженного, душного зала. Шатаясь от усталости, я зашел в полутемный ресторан, где за столиком сидели Татьяна Глушкова и Александр Проханов.

— Волк! — бросилась ко мне навстречу Татьяна. — Вы живы? Я-то думала, что вы не устоите на трибуне, что вас сдует, такая волна ненависти неслась мимо меня прямо на вас...

Мы, все обессиленные, что-то выпили, о чем-то помолчали, и на прощанье Саша Проханов медленно произнес:

— Прямое восстание бессмысленно, надо идти другим путем.

Мои карманы были набиты записками, которые я получил за пять часов пребывания на сцене. Я высыпал их на стол. Взял первую попавшуюся, прочитал вслух:

> Стасик! Обнимаю тебя, дорогой. Очень хорошо — сильно, ярко ты выступил о Багрицком — с каждым словом твоим согласен. Творчество Багрицкого враждебно русской поэзии — и классической и современной.
>
> *Анатолий Жигулин.*
>
> 21—XII—77 г..

Ах, Толя, Толя! Через пятнадцать лет он полностью перейдет в ренегатский лагерь, напишет драматическую повесть «Черные камни», в которой оболжет своих «подельников», станет на какое-то время послушной игрушкой в руках кукловодов перестройки, которые используют его небольшое имя ради своих целей, свозят пару раз в Европу, а потом предадут нищете и забвению.

Мы расходились с дискуссии со смутным ощущением того, что произошло нечто необъяснимое и роковое, после чего жить по-старому будет невозможно. Моя жена, когда мы подъехали к дому по заснеженной улице, вылезая из машины, потеряла с пальца кольцо с изумрудом... Дурное предчувствие охватило меня, но рано утром я вышел на улицу и в затоптанном снегу — о счастье! — нашел желтое колечко с блеснувшим из белого снега зеленым камушком. Неужели мы победили?

Советская пресса отозвалась на дискуссию оглушительным молчанием. ЦК, дабы «не раскачивать лодку», запретил упоминать в печати о том, что произошло 21 декабря 1977 года в Центральном доме литераторов.

Однако многие европейские газеты опубликовали пространные отклики на нее.

Из белградской газеты «Политика» от 15.01.1978 года:

> Одна часть публики рукоплескала Палиевскому и Куняеву, другая — Эфросу. И нелегко было бы сказать, у кого из них больше сторонников.
>
> Литературный критик Александр Борщаговский (осужденный в 1949 году за «космополитизм») обвинил Палиевского в идеализации 30-х годов, бывших трагическими для нашей литературы. «Вы говорите, что «Тихий Дон» — лучший роман XX века, но кто это доказал? — спросил критик.
>
> Критик Юрий Селезнев энергично восстал против призыва к примирению. «Мы живем в мирное время, но не имеем права забывать годы, когда был учинен погром в русской литературе.
>
> Когда посторонний человек задается вопросом, почему разговор в ЦДЛ называют открытым, если состоялся он «в кругу семьи» и освещен в печати не был, то вместо ответа слышит вопрос: «А вы что, не знаете Россию?» Смысл этой фразы заключается в том, что в России тайное всегда становится явным.

Парижская газета «Монд» опубликовала 9.02.1978 года статью Жака Амальрика под названием «Неосталинистское наступление в Союзе писателей».

> Собрание, организованное сторонниками «неосталинистской» фракции в Союзе писателей, прошло под знаком откровенно антисемитских выступлений и прославления «подлинно русского» искусства сталинской эпохи.
>
> Последняя деталь, немало говорящая о смысле, который хотели придать своему собранию организаторы вечера 21 декабря: именно 21 декабря 1879 года в Гори родился некий Иосиф Виссарионович Джугашвили.

Израильский журнал «22» посвятил в 1980 году нашей дискуссии целый номер.

Из статьи В. Богуславского «В защиту Куняева»:

> Главарями Октябрьской революции были авантюристы полуинтеллигенты, недоучившиеся студенты и «экстерны», духовный багаж которых состоял из набора пропагандистских брошюр марксистского толка. Их армией — «солдатами революции» — стало откровенное быдло... Новый класс — это его, правящего быдла, дети, окончившие спецшколы, университеты и аспирантуры...
>
> Задача Куняева — отодвинуть случайного Багрицкого со столбовой дороги, «заменив» вполне законным национальным конкурентом Сергеем Есениным», «В России действительно выросла своя собственная, русско-советская интеллигенция, и новая аристократия не ощущает более нужды в жидовском (пардон — «сионистском») обслуживающем персонале. Катитесь! Игра окончена!..

Комментарий М. Хейфица из «22» назывался так: «Эдуард Багрицкий — растлитель России. Дух погрома в статье Ст. Кунаева». Хейфиц, надо отдать ему должное, откровенно и смело признался, что у евреев есть, как и у других народов, полное право иметь «своих негодяев». Автор даже, как это мне помнится, расширил круг негодяев, включив туда целую плеяду политиков, уничтоженных Сталиным, — от Троцкого до Ягоды... С такой откровенностью трудно было спорить, но я был удовлетворен, что вызвал своих соперников на открытый разговор[1].

---

[1] Цитаты из зарубежной прессы любезно предоставлены мне С. Н. Семановым из его архива.

Не заставили себя ждать отклики по многочисленным «радиоголосам», появились и публикации искаженных стенограмм в «самиздатских» журналах, сопровожденные статьями, не на шутку разгоряченные авторы которых обвиняли одних ораторов в «возрождении сталинизма», в «призыве к погромам», а других — в трусости и неумении дать достойный отпор «зарвавшимся черносотенцам» и сетовали, что власть недостаточно тверда, чтобы окоротить последних.

Помнится еще статья Наума Коржавина, в которой он приносил осторожное покаяние за преступления еврейских революционеров перед Россией, за что получил отповедь от Раисы Лерт в книге «На том стою», изданной лишь в 1991 году.

> Покаянный пафос Коржавина или Хейфица мне непонятен. Сталинскую коллективизацию в числе прочих и такими же методами проводили и евреи — однако как еврейка я так же не могу взять на себя ответственность за это, как любой порядочный русский человек не мог отвечать за кишиневский погром и за дело Бейлиса, хотя организовывали и проводили их русские люди.

А куда было деваться Хейфицу и Коржавину, знавшим, к примеру, о документе, опубликованном в свое время в позже запрещенной и изъятой из всех библиотек книге о строительстве Беломорско-Балтийского канала?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СССР
РАБОТНИКОВ, ИНЖЕНЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКОГО КАНАЛА
имени тов. СТАЛИНА

Центральный исполнительный комитет Союза ССР, рассмотрев представление Совета народных комиссаров Союза ССР о награждении орденами Союза ССР наиболее отличившихся работников, инженеров и руководителей Беломорстроя, постановляет:

Наградить орденом Ленина:

1. ЯГОДУ Генриха Григорьевича — зам. председателя ОГПУ Союза ССР.

2. КОГАНА Лазаря Иосифовича — начальника Беломорстроя.

3. БЕРМАНА Матвея Давидовича — начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.

4. ФИРИНА Семена Григорьевича — начальника Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря и зам. начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.

6. ЖУКА Сергея Яковлевича — зам. главного инженера Беломорстроя, одного из лучших и добросовестных инженеров, своим исключительным знанием дела и огромной трудоспособностью обеспечившего качественное выполнение проектных работ.

7. ФРЕНКЕЛЯ Нафталия Ароновича — пом. начальника Беломорстроя и начальника работ (совершившего в свое время преступление против государства и амнистированного ЦИК Союза ССР в 1932 году со снятием судимости), с момента начала работ на Беломорстрое и до конца обеспечившего правильную организацию производства работ, высокое качество сооружений и проявившего большое знание дела.

8. ВЕРЖБИЦКОГО Константина Андреевича — зам. главного инженера строительства (был осужден за вредительство по статье 58-7 и освобожден досрочно в 1932 году), одного из крупных инженеров, наиболее добросовестно относившегося к порученным ему работам.

Председатель Центрального исполнительного
комитета Союза ССР *М. Калинин*
Секретарь Центрального исполнительного
комитета Союза ССР *А. Енукидзе*

Москва, Кремль, 4 августа 1933 г.

Куда было им деваться, если эту стройку века, этот громадный ГУЛАГ, в 1934 году в вышеупомянутой книге прославили их соплеменники Виктор Шкловский, Евгений Габрилович, Вера Инбер, Бруно Ясенский, Семен Гехт, Леопольд Авербах, Анна Берзинь, Лев Славин, Лев Никулин, Яков Рыкачев и многие другие вдохновенные романтики ГУЛАГа?

Ну как можно ответить на это бегство от ответственности за преступление против человечества? Германию и нем-

цев, как нацию, к примеру, заставили в Нюрнберге отвечать за преступления ее сыновей. Недаром в Маутхаузене среди множества памятников, которые каждая нация поставила своим мученикам, есть особый памятник из белого камня: с неподвижным лицом, слепыми глазами, с прямой, как доска, спиной сидят пожилая немка, или даже старуха, немецкая мать. На стеле рядом с ней надпись: «О Германия, бледнолицая мать, что же сотворили твои сыновья? Что ты сидишь здесь, как насмешка среди других народов или как страх?»

Надо, конечно, было бы пристыдить в свое время Раису Лерт, что русские люди к кишиневскому погрому не имеют никакого отношения, да и дело Бейлиса, закончившееся для подсудимого оправданием, ставить на одну доску с гибелью миллионов русских и украинцев во время коллективизации — кощунственно, но бог с ней. Тем более что несколько любопытных и даже проницательных комментариев к дискуссии еврейская активистка сделала.

> Если бы Палиевский, Куняев, Кожинов и прочие говорили вполне открытым текстом, они могли бы возразить мне примерно так: «Вы говорите о статьях, литературных направлениях и т. п. А мы говорим об идеях, о моральных нормах, о гуманизме, о народности, всегда бывших традиционными для русской классики. Вот эта традиция и прервалась в 1917 году — и прервала ее революция. И вся русская поэзия и проза послеоктябрьского периода, и весь театр, и все искусство 20-х годов полярно враждебно русской классике и русскому народу, ибо полярно враждебна им революция и влившиеся с ней в русскую культуру «инородцы».
>
> Куняев наиболее откровенно отбросил «литературные тонкости», которыми драпировались другие, — и в его выступлении наиболее «грубо, зримо» проявилась тенденция воинствующего национализма, национальной особенности — в противовес не осуществившемуся интернационализму 20-х годов.

Кое с чем из того, что здесь сказано, и можно было бы согласиться, хотя Раиса Лерт многое упрощает, а всей глубины и тонкости русско-еврейских отношений просто понять не смог-

ла. Ума не хватило. Но что уж она сочинила от страха — так это миф о нашем тайном сотрудничестве с властью в 70-е годы:

«Но «инстанции» и «почвенники» очень хорошо друг друга понимают, и потому полуоткрытым текстом Куняеву и другим дозволяется говорить все, что угодно, — лишь бы они укрепляли русскую национальную идею. Ибо в глубине души «инстанции», как и Сталин в 1941 году, возлагают на нее больше надежд, чем на свою нормальную пропаганду «зрелого социализма» и «развитой советской демократии». И они по-своему правы». «Дискуссия в ЦДЛ была своего рода «разведка боем», пробой сил, черновым смотром жизнеспособности официальной и неофициальной идеологии».

«Группа эта отлично знает, что опирается на поддержку сверху и что власть в ней нуждается... вот в таких образованных, интеллигентных способных выработать новую национальную идеологию».

А в это время, когда Лерт писала свою книгу, «образованные, способные, интеллигентные» русские националисты Владимир Осипов, Игорь Огурцов, Леонид Бородин уже тянули свои сроки, а новый шеф КГБ заявил, что западные диссиденты не страшны стране, что их, мол, всех «в одну ночь» взять можно, а вот русские националисты представляют из себя действительно серьезную опасность... Поистине у страха глаза велики.

Юнна Пейсаховна Мориц (в 1960—1970-х годах она числила себя по отчеству «Петровной», как и Межиров, в годы перестройки ставший «Пинхусовичем») в газете «Русское слово» (17 июля 1990 г.) почти через тринадцать лет после дискуссии вспоминала о ней так:

> Первым мероприятием, на котором отметились фашиствующие группы, была дискуссия «Классика и мы»... На этой дискуссии Куняев впервые начал разоблачать Багрицкого.

Все наши выступления были для власти как гром среди ясного неба. К сожалению. Помню, как Феликс Кузнецов

(кстати говоря, много сделавший в последующие годы для укрепления русских позиций в Московской писательской организации) передавал мне яростное недовольство цековских чиновников. Их скрежет зубовный слышался даже в его смягченном пересказе.

— С глаз долой! Пропадай куда-нибудь, Стасик, — заявил он мне. — Уходи в отпуск, хоть на два, хоть на три месяца.

Должен был я в те дни улетать в командировку на Кубу, но, естественно, меня тут же вычеркнули из списков делегации, и я поехал к матери, в родные калужские стены, писать стихи и бражничать с друзьями моей провинциальной юности.

Перед отъездом по каким-то делам зашел в кабинет Риммы Казаковой. Она поглядела на меня исподлобья:

— Слышала, слышала, как ты Багрицкого громил, кулацкие взгляды проповедовал.

В заключение сюжета хочу лишь сказать, что один из главных идеологов ельцинской эпохи, бывший министр культуры, а ныне чиновник от России в ЮНЕСКО, Сидоров, он же Пупсик, дирижировавший нашей дискуссией, в своем вступительном слове рассказывал о том, «что мы возьмем с собой в коммунистическое далеко», утверждал, что «лучшие книги последних лет прямо включают нашу социалистическую действительность в контекст общечеловеческих духовных и нравственных исканий», требовал «не забывать о классовых критериях нашей культуры» (цитирую по стенограмме).

Реститутка она и есть реститутка. Хоть при советской власти, хоть при рыночной демократии.

Легенды о дискуссии стали возникать буквально на следующий день. Перепуганные еврейские активисты, явно преувеличивая наши коварные способности, утверждали, что мы якобы специально выбрали для дискуссии 21 декабря — день рождения Сталина...

Однако это глупости. Дискуссия должна была состояться совершенно в другие сроки, но из-за каких-то внутренних соображений руководители Дома литераторов Филиппов и Шапиро сами перенесли ее на двадцать первое.

По Москве поползли слухи, что я племянник члена Политбюро, секретаря ЦК Компартии Казахстана Кунаева, потому-то и веду себя так нагло, что уверен в собственной безопасности.

Поэт Семен Сорин, автор ныне забытой поэмы о Дзержинском и ЧК, сочинил и пустил по Москве весьма остроумную и достаточно серьезную эпиграмму:

Свершив террористический налет,
Слиняли Палиевский и Куняев.
Ах, был бы Феликс, взял бы негодяев!
Но Феликс, к сожалению, не тот.

Да. И «Феликс» был уже не тот, и эпоха не та, о чем Семену Сорину, Эфросу, Евтушенко, Борщаговскому, Раисе Лерт и прочим «интернационалистам» можно было только пожалеть.

В конце 1977-го и в 1978 году я в связи с дискуссией «Классика и мы» сблизился с весьма умной и, что не менее важно, решительной женщиной, способной на поступки, Татьяной Михайловной Глушковой. Между нами завязалась обильная переписка. Однажды она упрекнула меня, что в моей борьбе с «победителями» не хватает «чаадаевской» прививки, «капли гамлетизма», что «победители», по словам Багрицкого, тоже дали многое русской культуре. Я ответил ей большим страстным письмом, отрывки из которого хочу привести здесь.

...Чего-чего, а «презирать своих» (что Вы советуете) мы умеем, как никто. Допрезирались. Сто лет баловались «чаадаевщинкой», столь милой Вам, и докатились до полного самоуничижения. Отчаянно раздували угольки, в золе копались, пока не увидели — горим... Путь этот пройден до предела, до последнего шага. Второй раз начинать его по пепелищу?

О «победителях». На мой взгляд, «победители» делаются из материала несколько иного. Таковы были норманны для Британии, мавры для Испании, турки для Сербии, татары для России, русские для татар. Вот истинные победители, давшие взамен независимости побежденным

приток молодой крови, свои мифы, свою религию, гены своей плоти и духа... Свои скулы и раскосые глаза, свою тоску по мировому господству, дворцы Толедо и Альпахары, государственность и Великую Хартию, завыванье ямщицкой песни и кодекс рыцарства. И подчинение таким победителям и сопротивление им — одинаково обогащали побежденных. К таким победителям я отношусь, «как аттический солдат, в своего врага влюбленный»... А эти?! Тьфу, нечистая сила, как говорила моя бабка. Вы думаете, Блок не понимал нашего диалога? Понимал, потому-то и написал «Скифы», а не что-либо иное. Потому-то около двухсот отрывков из его записных книжек и дневников не опубликовано до сих пор. «Победителям» — страшно. Блок шутить не любил. А ведь у него-то чувство исторической связи, взаимооплодотворяемости было феноменальным. Однако он любил называть вещи своими именами. А этого «победители» боятся, как черт ладана. Инстинкт слабых все время заставлял их скрывать свои победы, маскировать их, делать их якобы анонимными. Один Багрицкий проговорился... Какое уж искусство может быть при этой жалкой анонимности, о каком плодотворном кровосмесительстве может идти речь... Все это стало достоянием гласности — не государственной (поскольку завоевание тоже было не гласным, скрытым, постепенным), а общественной лишь в последние годы. Если бы эта гласность приняла какие-то государственные формы, наш диалог был бы невозможен: я не стал бы в нем участвовать. Но, слава богу, видимо, государство не станет вмешиваться в эти дела. Да и инструментов для этого у него нет. Так что это наше дело. Внутреннее, постепенное, естественное. Как завоевание шло тайными путями, так же скрытно от глаз (чтобы не приобрести безобразные формы) должна идти и реконкиста...

На каплю «гамлетизма» согласиться можно было бы, но беда в том, что русский человек на капле не остановится.

Я очень хорошо понимаю истоки и масштабы их ярости. Им было даже приятно, когда с ними воевал какой-нибудь Иван Шевцов или другой непроходимый вепс. На этом фоне они выглядели благородными, талантливыми, гонимыми, и, ей-богу, в глубине души были благодарны своим глупым гонителям. Сейчас же каждый более менее не дурак из них отдает себе отчет, что Вы умны и талантливы. Над Вами не посмеешься. На меня они злы, потому

что я нарушил правила игры, заключавшиеся в том, что человек, занимающий пост и обладающий властью, по традиции обязан поддержать дух умеренной либеральности, чем я заниматься не стал.

Их ненависть замешена на страхе и на слабости. Но она вездесуща. Выход есть, наверное, один. Относиться ко всему спокойно. С искренним добродушием, без ожесточения. Улыбаться. Словом, делать вид, — впрочем, это должно соответствовать внутреннему состоянию, — что ты выше злобы дня. Во имя справедливости. Ради Бога, нельзя впадать в отчаянье, в истерику. Нельзя показывать, что твои нервы на пределе. Да их и в действительности нужно от этого предела оградить.

Я понимаю, что женщине следовать этим советам куда труднее, чем мужчине. «Нам только в битвах выпадает жребий»... Потому я не буду осуждать Вас ни в коем случае, как бы ни развивались последующие события. Не давайте только им повод торжествовать. Всем этим «порядочным людям». И «приличным» тоже. Когда Ластик (он же Лангуста) сказал мне ту же самую фразу, что и Вам: «Все приличные люди отвернутся от Вас», я ответил ему: «Дорогой А. П.[1] Ну что Вы! Я же знаю, что Вы от меня никогда не отвернетесь». Он не понял юмора и даже сделал вид, что растрогался, забормотал, что знает наизусть десятки моих стихов, но кончил тем, что к Льву Толстому в Ясную Поляну приезжал один из последователей Ламброзо с одной целью: изучить необыкновенно уродливое строение черепа графа, как представителя вырождающегося рода, отягощенного всяческими душевными заболеваниями. О Господи! Вызов брошен. Мятеж[2] состоялся. Со славой он закончится или без славы — нам знать не дано. Но одно я знаю точно: «все миновалось, молодость прошла». На нашу долю остался лишь голубой дымок поэзии да темная мгла идей, и если не бросить вызов (а долго ли жить-то осталось!), то последние годы придется коротать бок о бок со старыми калошами, енотами[3], лангустами, ластиками, слушая их душевно-бытовую болтовню и грустно поддакивая им. Да при одной мысли об этом хочется пойти на кухню, законопатить окна и отвернуть все газовые конфорки.

---

[1] А. П. Межиров.

[2] Речь шла о моем письме в ЦК КПСС.

[3] «Еноты» и «вепсы» — шутливые наши прозвища евреев и русских.

Записи из дневника после дискуссии «Классика и мы»

25 декабря 1977 г. На экстренном и чрезвычайном секретариате после дискуссии Феликс втолковывал мне что-то о «ролевом сознании». Вадим уверяет меня, что мы победили. Евреи, сидящие в зале, по свидетельству близких мне очевидцев, говорили о погромных настроениях. Дураки. Они не понимают, что, выговорившись, русский человек от сознания исполненного долга успокаивается и добреет. Он воюет с идеями, а не с людьми, и воюет для понимания, а не для победы любой ценой. Победивший русский никогда не пляшет на костях побежденных, а, наоборот, начинает жалеть их.

Звонил наш куратор из «Детского мира»[1] стал расспрашивать, как прошел секретариат по итогам дискуссии. Я начал было излагать, но потом, чтобы не запутаться, сказал: «Я лучше прочитаю свою речь на секретариате. Он буркнул: «Подождите», — и на минуту в трубке воцарилось молчание. Потом он снова подошел к телефону.

— Что, запись наладили? — спросил я.

— Да! — грустным голосом ответил он.

— Но ведь есть же стенограмма!

— Стенограмма есть, да времени нет. А мне завтра в 9.00 надо докладывать.

И я начал ему читать.

26.12.1977 г. Пришла Мар. Ч.: «По Москве распространяются слухи, что Куняев еврей, и поскольку дело в широком смысле идет к погромам, то он заранее решил обезопасить себя».

27.12.1977 г. С вечера взялся за Гейне и понял, что начало современных диссидентских форм жизни и сознания идет от него. Он первый, опьяненный воздухом посленаполеоновской свободы, явил миру требования сформировавшегося европейского еврейства, с его портативной родиной — «библией», как пишет он сам.

Все другие народы создавали родину мечом, плугом, трудом. Евреи — только религиозным чувством и словом. С такой «портативной родиной» можно жить где угодно. Гей-

[1] Так мы называли КГБ.

не первый, кто это сформулировал и выдал миру, как откровение, подтвердив его своей судьбой. И, конечно же, правы немцы, которые, независимо от их политических убеждений, не считают Гейне немецким поэтом.

11.01.1978 г. Написал я письмо в партком с просьбой пригласить на партком меня на Генриха Гофмана, Борщаговского и Марка Галлая, которые на всяких собраниях клевещут на меня, приписывают мне призывы к погромам и т. д. На другой день звонок от Феликса Кузнецова.

— Стасик! Забери письмо из парткома. Я говорил полтора часа с Марковым. Везде одно мнение — никаких разговоров на эту тему, национальный вопрос — неприкасаемый.

— Но, Феликс, на меня же клевещут!

— А ты что думал?! Это — расплата. Вы позволили себе неслыханную роскошь — дискуссию такого рода. А за роскошь надо платить.

1 декабря 1980 г. Наконец-то я свободен, и даже увенчан ореолом гонимого властью литератора.

Ездили осенью прошлого года с Феликсом на поле Куликово. В машине я сказал ему, что рабочим секретарем оставаться не хочу, чтобы не осложнять ему жизнь, но в секретариате меня следует оставить. Он пообещал. Однако, когда перед конференцией начались всякие партгруппы и кадровая возня, когда горком и ЦК стала осаждать орда функционеров (Сахнин, Галлай, Мориц, Евгении Сидоров, Елизар Мальцев) с требованием снять меня со всех постов, угрожая скандалами, то и Феликс и горкомовцы дрогнули. Заведующий отделом горкома КПСС Глинский вел партгруппу и трижды устраивал переголосование, дабы провалить предложение Михаила Алексеева о том, чтобы я остался в секретариате.

После всего я подошел к Глинскому и сказал:

— Поздравляю... Партия уступила мафии...

Но когда все кончилось, мы с Галей уехали на Мезень, на Сояну, жили в избушке возле заброшенного рыбзавода, я ловил хариусов, а по вечерам на Воздвиженской неделе мы садились на лавочку под березами и слушали, как лоси, занятые гоном, фырчали в соседнем овраге и как на черной ели возле ручья ухает филин.

РУССКО-ЕВРЕЙСКОЕ БОРОДИНО

Для тех, кто забыл, что такое «Метрополь», напомню, что это был альманах двадцати трех московских писателей, изданный ими за границей в 1979 году.

Организатором и вдохновителем альманаха стал В. Аксенов, сжигавший корабли и готовивший свой отъезд на Запад. Акция была продуманная и очень эффектная. Издание уже составленного альманаха его создатели подзадержали, чтобы не помешать получить Вознесенскому осенью 1978 года Государственную премию. Когда дело с премией прошло благополучно — козырная карта «Метрополя» была брошена на стол. События развивались прямо-таки по детективному сюжету: по Москве распространялись слухи о пресс-конференциях редколлегии альманаха, места конференции переносились то на переделкинские дачи, то в целях широкопропагандистских в различные городские кафе, власти сбились с ног, не успевая закрывать намеченные для подобных акций кафе на срочные «ремонты». Иностранные журналисты, аккредитованные в Москве, с поразительной осведомленностью появлялись у закрытых дверей «Лиры» или «Аэлиты» с табличкой «Санитарный день» и тут же отстукивали в свои газеты информацию о гонениях на метропольцев. Отдел культуры ЦК и руководство Союза писателей сбились с ног, не зная, что делать: уговаривали, грозили, сулили дополнительные блага — хватались то за кнут, то за пряник... А слухи, разговоры, репортажи в мировой прессе нарастали, как снеж-

ный ком, создавая невиданный ореол гонимому В. Аксенову, уже принявшему окончательное решение...

Листаю газеты тех жарких лет, дискуссии и стенограммы обсуждений: там, в числе гонителей «Метрополя», никаких одиозных фамилий, «певцов застоя», «реакционеров», редакторов «антиперестроечных» журналов... Ни С. Викулов, ни М. Алексеев, ни В. Белов, ни В. Астафьев, ни П. Проскурин, ни Н. Грибачев, ни В. Кожинов, ни Ю. Бондарев, ни М. Лобанов, ни Ан. Иванов, ни В. Чивилихин, ни Ю. Селезнев, ни В. Распутин ни слова не сказали в печати о «Метрополе»... В печати. В частных разговорах, да, помню, говорили приблизительно следующее, сходясь на одной мысли: этих метропольцев чиновники из ЦК КПСС и из руководства Союза опекали весьма усердно, многие из них из загранки не вылезали, никаких отказов им не было. Америка? — Америка! Япония? — Япония! Зал в Лужниках? — Получите! Телевидение? — Ради бога! «Избранное»? — Пожалуйста! Ну и пусть сами наши идеологи, создавшие такую элиту, несут ответственность за неприятности, которые причинила им элита со своим «Метрополем». А мы за это не отвечаем и просто брезгуем заниматься грязным делом...

Так говорили писатели между собой и так игнорировали призывы чиновников из ЦК КПСС — Зимянина, Шауро, Беляева, Долгова и других — «пожурить» избалованных литературных инфантов... Дело все-таки было серьезным. И чтобы его «закрыть», надо было провести хоть какое-то формальное осуждение, хотя бы для спасения чести идеологии, ее брежневско-сусловского застойного лица, вдруг исказившегося от пчелиного укола метропольского жала... Как ни крутились, а обсуждение альманаха пришлось устроить. Поговорили, видимо, с другими людьми, чего-то пообещали им, организовали ораторов. Кто же стали этими ораторами? Только не удивляйся, дорогой читатель: метропольцев, то есть будущих «прорабов перестройки», осудили другие будущие прорабы той же перестройки. И те и другие сейчас стоят в одном ряду и, забыв старые разногласия, печатаются в одних органах, на-

хваливают друг друга, и фотографии их в обнимку часто украшают страницы наших популярных изданий.

Но в 1979 году нынешние друзья «Метрополя» отзывались об альманахе так, как должно отзываться людям, живущим по принципу «чего изволите?». Я не сужу их: они такими родились — сегодня обслуживают одну идеологическую ситуацию, завтра — другую, послезавтра обслужат третью. Но назовем фамилии «гонителей и преследователей». Что говорил о «диссидентах» десять лет тому назад будущий главный редактор журнала «Знамя» и распорядитель фонда Сороса, нынешний патриарх либерально-еврейской интеллигенции Г. Бакланов?

> Не могу себе представить американского читателя, который бы по доброй воле прочел весь этот альманах. Я этого сделать не смог, так как художественный уровень большинства произведений оставляет желать лучшего. Я уж не говорю о рассказах, например, Ерофеева, которые вообще не имеют никакого отношения к литературе.

А вот отзыв будущей перестройщицы Р. Казаковой:

> Налицо невероятная безнравственность поведения. Это мусор, а не литература, что-то близкое к графомании. Здесь сексопатология Это литература частного лавочника. Этого мы не должны допустить. Для этого надо ехать в Америку.

А вот что писал пропагандист творчества А. Вознесенского, Ф. Искандера, А. Битова, В. Ахмадулиной и других метропольцев будущий министр культуры ельцинского правительства критик Евгений Сидоров:

> Он («Метрополь». — *Ст. К.*) заслуживает самого решительного морального, идейного осуждения, ибо писатели, в нем представленные, сыграли по шулерским, а не по джентльменским правилам.

Автор книг и статей о Н. И. Бухарине, о Н. И. Вавилове, известный прозаик перестроечной волны, ныне покойный и забытый В. Амлинский:

> Мутное щегольство словами» есть в этом альманахе, который в целом ряде сочинений составляет впечатление тягостное.

Член-корреспондент АН СССР П. Николаев, тот, который в своих литературоведческих интервью последнего десятилетия защищал любую свободу творчества и клял эпоху застоя с ее давлением на художников слова:

> Авторы сборника сделали нечто такое, что является задворками западноевропейской культуры... Конкретное содержание и форма материала сборника — вне вековых традиций нашей культуры и, по существу, враждебны ей... За серьезных, вернее, одаренных писателей, принявших участие в этом сборнике, стыдно. Сама же идея подобного издания не может не быть нравственно и профессионально осуждена.

Один из самых боевых и прогрессивных критиков и ораторов последнего двадцатипятилетия, пострадавший во время гонений на «космополитов» А. Борщаговский:

> У нашей литературы всегда был нравственный порог, которого достигала жизнь и за нею литература, нравственный порог, о котором забывать нельзя, ибо, если его утратить, это будет служить развращению подрастающего поколения и вносить в умы молодежи сумятицу. Грех «Метрополя» — в измене нравственному уровню, достигнутому советской литературой.

Популярный детский писатель, громко ратовавший против всякого рода остатков сталинизма и диктата над волей писателя, ныне живущий в Израиле А. Алексин:

> Дело с альманахом достойно презрения, потому что замешено на лжи и подлежит всеобщему осуждению...

Были в числе судей «Метрополя» и Б. Полевой, и С. Залыгин, и В. Карпов. Руководил кампанией первый секретарь Московской писательской организации Ф. Кузнецов. По должности и по приказу свыше, так сказать. Остальные «гонители» были «вольнонаемные». Все они страстно, убежденно, со знанием дела — что самое пикантное, на мой взгляд! — по существу справедливо критиковали альманах. Одного только не рассчитали, что изменится время, «Метрополь» снова будет «прославлен» на гребне перестройки, а они, находящиеся на том же гребне, будут вынуждены сделать вид, что не имеют никакого отношения к судьбе альманаха, или, подмигнув метропольцам, должны будут намекнуть: «Оцените, какую неблагодарную, черную, но нужную работу мы сделали тогда, прорабатывая вас, мы фактически спасли вас от оргвыводов идеологии, сыграли роль громоотводов. А эти гордецы консерваторы — всякие Алексеевы, Ивановы, Викуловы, Кожиновы, Беловы, Чивилихины, — истинные-то ваши враги, не помогли вам в трудную минуту, не спустили щекотливое дело на тормозах, не вняли просьбам Большой Идеологии, в позу встали консервативно патриотическую и до сих пор стоят в ней, за что и осуждала и осуждает их Большая Идеология и в метропольские времена, и в наши тоже... Ишь, чистенькими быть захотели в грязное время! Уже тогда они показали свою негибкость, свою якобы принципиальность, словом, свою неспособность к перестройке... А мы-то хоть и клевали вас, да все равно, как родных, любя клевали! Так что не обижайтесь! Кто старое вспомянет...»

Аз же, грешный, в те годы, видя растерянность наших чиновников, вынужденных одной рукой наказывать метропольцев, а другой спасать их, решил воспользоваться ситуацией и написал свое размышление о «Метрополе», о сочинениях, помещенных в нем, о завуалированных и явных русофобских и сионистских мотивах альманаха, о двуличии и двоедушии цековских чиновников — и пустил свое сочинение по белому свету.

Мысль моя в то время работала так: «Пользуясь или слабостью власти, или тайной ее благосклонностью, эти ребята крупно подставились. Еврейское лобби в ЦК растеряно, нельзя давать ему передышки. Надо или надолго лишить его инициативы, или...» О другом «или» думать не хотелось. Я верил: мои действия подвигнут русскую интеллигенцию на решительные шаги.

После выступления в конце 1977 года на дискуссии «Классика и мы», когда меня все-таки не смяли, мне было уже легче рисковать собой.

Я сел за стол, вооружился своими давними рабочими заготовками и за один день написал 12 страниц, которые озаглавил очень просто: «Письмо в ЦК КПСС по поводу альманаха «Метрополь».

Я процитирую несколько основных положений письма, но скажу предварительно лишь о том, что, сочиняя его, я не мог обойтись без некоторых штампов и разрешенных идеологией той эпохи формулировок. Слишком велик был риск: ведь если бы меня за это письмо тогда смяла партийная машина, я не смог бы в отличие от, допустим, Аксенова, Войновича, Гладилина уйти из-под ее давления на Запад, хотя бы потому, что бросал в письме вызов антирусской прозападной части партийной верхушки. На Западе мне житья не было бы.

Выступая против еврейского засилья в культуре и идеологии, я не мог говорить прямо: «еврейская воля к власти», «еврейское засилье», «агенты влияния», а потому мне приходилось использовать обкатанные штампы, в которых основным термином было слово «сионизм». Но умные люди, конечно же, понимали, что смысл моего письма гораздо глубже и гораздо опаснее, нежели заключавшийся в этом, к тому времени уже истрепанном клише. И к тому же, дабы партийные церберы (а я знал, что попаду на проработки к ним) меня не сожрали, я не мог не упомянуть в письме знаковое имя «Ленин». «Пусть видит око, да зуб неймет» — так приблизительно думал я, сочиняя письмо. Кстати, всем нам, русским государственникам, за годы перестройки за наши действия и

слова 60—80-х годов все косточки перемыли. А моего письма всерьез никто не коснулся. Лишь Аксенов один глухо, сквозь зубы упомянул о нем в «Огоньке» конца восьмидесятых, как о «политическом доносе», и молчок. Хотя борьба со мной, как с главным редактором «Нашего современника», велась на полное уничтожение. Ничем не брезговали. Подробно клеветали в прессе и по телевизору, что я чемоданы барахла из Америки привез, что был пойман рыбнадзором за «ловлю семги сетями на северной реке», что на какой-то тусовке хватал за груди Галину Волчек, что по происхождению я «татарский еврей» и т. д. Словом, все было мобилизовано. А о письме в ЦК, казалось бы, о главной улике — молчок. Значит, понимали, что этого касаться им невыгодно.

Конечно же (к чему лукавить!), мне не было дела до того, что печатают в «Метрополе» Белла Ахмадулина или Инна Лиснянская, Арканов или Розовский, а тем более Попов с Ерофеевым. Но я решил, воспользовавшись их авантюрным ходом, нарушившим правила игры и, возможно, задуманным ими как реванш за дискуссию «Классика и мы», ударить по высшим идеологическим чиновникам ЦК, которых вольно или невольно подставили их любимчики. Я рисковал, но надеялся: а вдруг мне на этот раз все-таки удастся раздвинуть границы нашей «культурной резервации», жизнью которой руководили Зимянин и Шауро, Беляев и Севрук, во имя наших русских национальных интересов? Конечно же, мое письмо было крупным актом борьбы за позиции в русско-еврейской борьбе. Сделав хотя бы часть этой борьбы гласной, я рассчитывал ошеломить недосягаемых чиновников из ЦК, помочь нашему общему русскому делу в борьбе за влияние на их мозги, на их решения, на их политику. Я прекрасно сознавал, что в моем письме наряду с неопровержимыми фактами и исторической правдой были элементы рискованной политической игры, но я знал, с кем имею дело, и знал, что разговор именно на этом языке для людей такого рода, как Михаил Зимянин или Альберт Беляев, будет понятнее, чем на любом другом. Я хотел развить некоторый успех, которого год тому назад мы достигли

на дискуссии «Классика и мы». А главное, я решил воспользоваться приемом наших врагов: сделать это письмо достоянием Самиздата, пустить его по рукам. А иначе они бы объявили его «доносом», «кагэбешной акцией» и т. д. Никаких забот о личной карьере в голове у меня не было. Зачем она мне? Я любил свободу и жизнь поэта и вольного художника.

Вот несколько основных положений этого письма.

В альманахе «Метрополь», кроме открытых антисоветчиков, диссидентов и полудиссидентов, выступили весьма известные советские писатели — Аксенов, Искандер, Битов, Вознесенский, Ахмадулина, Липкин, Лисянская, Арканов, Розовский... Зададимся вопросом: а чем же вызвано их участие в альманахе, их, чьи книги издаются и переиздаются, чьи имена не обделены вниманием критики, кому предоставляются для выступлений самые громадные залы. Кто чаще других говорит, якобы от имени советской литературы, в зарубежных аудиториях.

Семен Липкин опубликовал в «Метрополе» стихотворение «В пустыне», об очередном еврейском исходе.

Идем туда, где мы когда-то были,
чтоб наши праотеческие были
преображали правнуки в мечты.
Нам кажется, что мы на месте бродим,
однако земли новые находим,
не думая достичь мечты.

Не думаю, чтобы удел «исхода» и смены родины соответствовал сущности советского патриотизма. Однако удивляться нечему, все логично, потому что Липкин еще десять лет, назад опубликовал в советской прессе стихотворение «Союз И». Я хорошо помню его главный рефрен: «Человечество быть не сумеет без народа по имени «и»... Приведу выдержку из инструкции Министерства просвещения Израиля: «Педагогический секретариат. Отдел основного общественного воспитания: «Евреи в Советском Союзе и мы» (материал для общественного часа).

Вопрос: Что олицетворяет чувство принадлежности к еврейству? Ответ: Сборы у синагог... слушание передач «Голос Сиона» в диаспоре. Призыв к протестам, письмам... Урок заканчивается декламацией «Союза И» С. Липкина на иврите...»

Когда в конце прошлого года я выступал на вечере поэзии в Государственном музее Маяковского, мне пришло в форме записок от учителей средних школ несколько вопросов, среди них были и такие: «В свою прошлую поездку по Соединенным Штатам поэт А. Вознесенский с успехом выступал в организациях американской сионистской молодежи, за что даже получил звание почетного гражданина Лос-Анджелеса. Считаете ли вы этически возможным для советского поэта выступления в подобных аудиториях?» Андрей Вознесенский не раз декларировал суть искусства, независимую от отечества. В стихотворении «Васильки Шагала» он прямо пишет: «Родины разны, но небо едино. Небом единым жив человек». В этом же стихотворении, обращаясь к Шагалу, Вознесенский, весьма двусмысленно играя словами, призывает художника: «Ах, Марк Захарович, нарисуйте непобедимо синий завет...» И словно бы услышав этот призыв, Шагал нарисовал «непобедимо синий завет» — расписал кнессет — парламент в Тель-Авиве.

Одним из авторов альманаха «Метрополь» является стихотворец Генрих Сапгир. Стихи его в начале шестидесятых годов широко были представлены в разного рода диссидентских «синтаксисах», потом — и до сих пор — он регулярно печатался и печатается на Западе в откровенно антисоветских изданиях. А у нас этот литератор благополучно издает книги для детей в издательстве «Детская литература» и является одним из составителей «Букваря», изданного миллионными тиражами, «Букваря», уникального в том смысле, что в нем есть немало стихов Сапг ира и впервые в истории нашего школьного дела нет стихов Александра Пушкина. А ведь до войны были! Как же можно такому человеку доверять дело, с которого начинается познание родины и родной русской литературы!

Надо сказать, что за последнее время вообще немало исторических, литературоведческих и филологических изысканий выходит в свет с идеями, родными и близкими сионизму в самом широком смысле слова. Печально известны в этом смысле исторические «исследования» поэта Олжаса Сулейменова, с его постоянным определением еврейского народа, как «главного народа»... Это ли не льет воду на мельницу тех, кто говорит о мессианской роли Израиля в судьбах человечества! Надо сказать, что Сулейменов последователен в пропаганде аналогичных взглядов. В одной книге его стихотворений есть поэма «От января до апреля», вроде бы о Ленине, хотя большая часть ее посвящена

страданиям еврейского народа, несмотря на то, что в последние десятилетия после того, как сионизм показал свои зубы, разговор об этих страданиях становится бестактным по отношению к народу Палестины, Повествование ведется Сулейменовым на таком примитивном «литературно-историческом» уровне:

Евреи злые, евреи знали,
что не евреи Христа распяли!
Скрывали хитрые, все принимали,
все понимая, миру давали
взамен Христа других богов,
а им за тех богов — Голгофу!

Не буду говорить об этой поэме подробно — в ней много политически наивного и поэтически беспомощного, процитирую только отрывок, в котором речь идет о Ленине. Вот каким изображает Ленина Сулейменов:

...Он знал, он видел, оставляя нас,
что мир курчавится, картавит и смуглеет (?)

(Это что — мир становится семитским, что ли? — *Ст. К.*)

...Разрез косой ему прибавил зренья,
он видел человечество евреев...

Изобразить Ленина в образе вождя, поддерживающего сионистские идеи о «человечестве евреев» — это уж слишком! Нет, не таков был он, страстный борец против Бунда и всякого национализма, в том числе и еврейского, сторонник естественной исторической ассимиляции евреев в тех народах, где они живут.

В 1977 году в большой серии «Библиотеки поэта» — популярном издании вышла книга стихотворений Эренбурга. Эренбург — поэт сложный. Много раз менявший свои убеждения и написавший за свою долгую жизнь много всего разного. Не все из того, что он написал, конечно, заслуживает переиздания. Особенно стихи, продиктованные поэту его сионистскими иллюзиями и убеждениями. Так зачем же в таком случае составителю Б. Сарнову надо было включать в книгу, а издательству издавать следующее стихотворенье Эренбурга, написанное в 1922 г.?

Когда замолкнет суесловье,
В босые тихие часы,
Ты подыми у изголовья
Свои библейские весы.
Запомни только, сын Давидов,
Филистимлян я не прощу.
Скорей свои цимбалы выдам,
Но не разящую пращу.
Ты стой и мерь глухие смеси,
Учи неистовству, пока
Не обозначит равновесья
Твоя державная рука...

Стихи, полные сионистской фразеологии, сознания избранничества, гордыни и религиозного национализма, настолько близкого шовинизму, что их вполне можно, допустим, рекомендовать для чтенья в частях нынешней израильской армии, «сыновей Давида», которые «учатся неистовству»!

А давайте заглянем в сборник «Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников», изданный «Советским писателем» в 1973 г. и щедро нафаршированный всякого рода размышлениями об «избранничестве». «Мы чувствовали себя сильными, ловкими, красивыми. Был ли это так называемый мелкобуржуазный индивидуализм, актерская жизнь воображения, «интеллектуальное пиршество» фармацевтов и маклеров? Нет, не был. Наши мечты сбылись. Мы действительно стали «управителями», «победителями», владетелями шестой части земли... Эдуард Багрицкий принадлежал к поколению и классу победителей» (А. Адалис). Странно, что классом победителей здесь названы не рабочие и крестьяне — а фармацевты и маклеры!

...Да что говорить о нашей прессе, о наших издательствах, о наших статьях и стихах! Достоевского полного собрания сочинений издать не можем — дошли до семнадцатого тома несколько лет тому назад и остановились в недоумении перед «Дневником писателя», в котором гениальный Достоевский уже фактически сто лет тому назад разглядел цели и суть тогда еще нарождающегося сионизма и писал, глубоко проникая в тайну его могущества: «А безжалостность к низшим массам, а падение братства, а эксплуатация богатого бедным, — о, конечно, все это было и прежде и всегда, но не возводилось же на степень высшей правды и науки, но осуждалось же христианством, а теперь, напро-

тив, возводится в добродетель. Стало быть, не даром же все-таки царят там повсеместно евреи на биржах, не даром они движут капиталами, не даром же они властители кредита и не даром, повторю это, они же и властители всей международной политики...»

А о собрании сочинений Блока я уж и не говорю! Все предыдущие собрания выходили с купюрами, там где Блок касался проблем еврейства и русофобства — купюр этих около полусотни.

А что же появляется у нас в необрезанном виде? Размышления Гейне, работающие на идею мессианства, на прославление «избранного» народа, на националистическое высокомерие: «Мне думается, если бы евреев не стало, и если бы кто-нибудь узнал, что где-то находится экземпляр представителей этого народа, он бы пропутешествовал хоть сотню часов, чтобы увидеть его и пожать ему руку...». Или: «...В конце концов Израиль будет вознагражден за свои жертвы признанием во всем мире, славою и величием»...

Что это такое — как не националистически религиозные заблуждения, издавая которые громадным тиражом без комментариев, мы фактически работаем на сионизм, проповедуемый устами Гейне — крупного поэта вообще, но в данном случае маленького обывателя, находящегося в шорах иудаизма. Издание классиков — тоже политика. Но почему в результате этой политики почти расистские откровения Гейне мы популяризируем, а проницательные размышления Достоевского по этому поводу (мирового классика покрупнее, чем Гейне), которые работали бы в борьбе с сионизмом на нас, а не против нас, мы держим под спудом... Почему?

О многом еще можно было бы написать: о русофобстве, как о форме сионизма — примеров более чем достаточно, о том, что... в капиталистические страны чаще всего наш Союз писателей посылает людей, кокетничающих с диссидентством, что и подтвердилось фактом появления «Метрополя», о том, что эти люди заботятся не столько о пропаганде советской литературы — сколько о собственной рекламе, о собственных изданиях, о собственной популярности, а за все это приходится платить уступками в самом главном — в сознании своего патриотического долга перед родиной.

Ст. Куняев

Февраль 1979 г.

Надо сказать (о чем никто не знает), что это было уже второе мое письмо. Первое, более краткое и более мягкое, я сначала послал на имя Суслова. Но, прождав месяца два ответа и ничего не дождавшись, понял: цековские лицемеры ничего не ответят мне, сделают вид, что ничего не получали, подумают, что я сдался и больше не буду «подымать волну»... Ах так?! Нет, не на того напали! И я написал второй, окончательный, расширенный вариант и продумал, как сделать, чтобы письмо не кануло в небытие в глухих цековских архивах. Сусловское ведомство не хочет отвечать мне — напишу на конверте просто «в ЦК КПСС», а что делать дальше — придумаю...

...Как сейчас помню: подъехал я к экспедиции ЦК КПСС в переулок возле Старой площади, постоял немножко, собираясь с духом, понимая, что как только девушка в приемном окошке возьмет у меня конверт, то корабли будут сожжены, Непрядва перейдена, и для меня начнется неведомая жизнь с неведомыми последствиями... Но вспомнил еще раз погибшего недавно моего друга Эрнста Портнягина, еще раз подумал: «а вдруг и со мной какой-нибудь несчастный случай!» — и... протянул письмо в окошко.

В этот же день мы вместе с Вячеславом Шугаевым уехали на электричке в Загорск, чтобы поискать в окрестных деревнях крестьянские дома, которые мы хотели каким-нибудь образом купить, чтобы жить рядом и обладать хоть какой-то долей независимости от опостылевшей нам обоим московской жизни. По дороге я читал ему второй экземпляр письма, мы выходили в заиндевевший тамбур, курили, мечтали, спорили, думали о последствиях моего шага, который он одобрял, но боялся, как бы со мной не расправились по-настоящему (Шугаев обмолвился, кстати, что он тоже пишет размышления на те же темы и называться они будут «Глазами гоя»). Впрочем, за несколько дней до окончательного своего решения я уже предпринял кое-какие меры безопасности. Во-первых, я посетил нескольких директоров издательств, на книги которых ссылался в письме. Каждому из них я вручил по экземпляру письма. «Пусть знают — все буду делать гласно и откры-

то, это единственный путь, чтобы не попасть на Лубянку» — так думал я.

Помню весьма любопытное посещение председателя Российского Комитета по делам издательств Николая Васильевича Свиридова. Просидев битый час в его приемной, я все-таки дождался приема и, когда секретарша сказала мне: «Николай Васильевич ждет вас», вошел в кабинет и вместо того, чтобы попросить министра о включении в планы какой-нибудь своей книги (что делали 99 из 100 посещавших его писателей), протянул ему письмо на 12 страницах и попросил прочитать при мне.

Надо было видеть испуг и смятение этого хорошего русского человека, прошедшего войну, награжденного орденами, участника Парада Победы. Когда он, прочитав письмо, после минуты молчания поднял глаза, в них была сплошная мука. Взгляд его говорил: «Ну зачем мне это знать! Зачем ты ко мне пришел! Я же тебя совсем не знаю. А вдруг ты — провокатор!» После долгого, становившегося просто неприличным молчания министр выдавил из себя только одну фразу: «Да, с сионизмом надо бороться...» Я поблагодарил его, вышел из кабинета, убедившись, что у людей этого уровня поддержки не найти, что они боятся, а от страха смогут и осудить и предать... И лишь после этой мысли я понял: правильно сделал, оформив свое сочинение как письмо члена партии в родной Центральный Комитет, пусть все выглядит как моя забота о судьбе культуры, идеологии и государства, чтобы не «сгореть дотла», пусть оно выглядит официальным документом, а не как нелегальная листовка, пусть лучше меня проработают в ведомстве Зимянина, а не Андропова. А пока прорабатывают — пусть письмо расходится по руслам и ручейкам патриотического Самиздата. Я уже знал, что в отличие от диссидентско-западного существовал и Самиздат такого рода.

В эти дни вдруг ко мне, секретарю Московской писательской организации, зашел наш куратор из Комитета госбезопасности, он и раньше заглядывал в организацию, чаще к первому ее секретарю Феликсу Кузнецову или к Юрию Вер-

ченко, иногда заходил и к нам, рабочим секретарям, для того, чтобы выяснить настроения, узнать, кто что натворил, кто собирается уезжать. По многим признакам можно было понять, что это человек русский, государственник, не чуждый патриотических мыслей и чувств. Я, в частности, вспоминаю, как за год-полтора до моего письма, когда гроза нависла над Сергеем Семановым, тогда главным редактором журнала «Человек и закон», за хранение в служебных столах какой-то патриотической эмигрантской литературы, этот сотрудник как бы случайно на ходу встретился со мной и попросил передать Семанову, чтобы тот предпринял все возможные меры для своей защиты.

А в эту нашу встречу перед своим окончательным решением о передаче письма в ЦК я прямо спросил его — правильно ли я поступаю.

— Сколько экземпляров вы уже раздали? — спросил он.

— Пять, — ответил я.

— Запомните: нельзя, чтобы было больше восьми. Это как бы для служебного пользования. А если копий будет больше восьми, то по нашим инструкциям вы будете обвинены в распространении... Это уже другая статья, куда более опасная.

Я спросил его:

— Где будут со мной разговаривать после того, как письмо будет отправлено — в ЦК или КГБ?

— Видимо, в ЦК. Но если вас будут вызывать на Лубянку, я постараюсь, чтобы вы попали в русские, а не еврейские руки. (В октябре 1993 года я встретил этого человека в окруженном омоновцами Верховном Совете. Он был одним из организаторов обороны.)

Мой начальник Феликс Кузнецов ничего не знал о моих коварных планах. Во-первых, поскольку я ему ничего не сказал, чтобы не подставлять его. А во-вторых, я понимал: покажу — он сделает все, чтобы я не отсылал письма, запретит. Срочно ушлет за границу. Что-нибудь пообещает, в чем я нуждаюсь. Соблазнит... В-третьих, все время, пока я работал с ним, меня точила мысль о том, что несколько абзацев из его статьи «Советская литература и духовные ценности», опубли-

кованной в ноябрьском номере журнала «Нации и религии» за 1972 год, чуть ли не буквально были повторены в знаменитом русофобском сочинении А. Н. Яковлева «Против антиисторизма», появившемся буквально в те же самые дни. Не хотелось думать, что Феликс участвовал в создании яковлевского документа, но «все же, все же, все же...» Нет, всю ответственность я должен взять на себя одного. Одному — легче...

Официальный гром грянуть не замедлил: такое неожиданное толкование и такое несанкционированное обсуждение «Метрополя» крайне раздражило чиновников из ЦК. К тому же вслед за моим письмом в русском Самиздате стало гулять по рукам письмо некоего Василия Рязанова (конечно, это был псевдоним), в котором автор пошел много дальше меня:

> Это происходит потому, — писал Рязанов, — что в аппарате ЦК КПСС существует могущественное сионистское лобби, покрывающее неблаговидную деятельность антисоветской агентуры и не позволяющее ее пресекать под тем благовидным предлогом, что это, дескать, вызовет обвинение в антисемитизме, отрицательную реакцию «мирового общественного мнения» и нанесет ущерб разрядке... Можно назвать и конкретных лиц в аппарате ЦК, прикрывающих деятельность сионистско-диссидентских групп, это прежде всего Севрук Владимир Николаевич, зам. зав. отделом пропаганды ЦК, и Беляев Альберт Андреевич, зам. зав. отделом культуры... Чехословацкие события не должны повториться в нашей стране.

Письмо Рязанова пошло по рукам, стало широко известным, и этой «нелегальщины» наши цековские покровители вынести не смогли. Но они сделали паузу в два месяца, ожидая, видимо, откликнутся ли на мое письмо крупнейшие литературные вожди так называемой «русской партии» — Леонид Леонов, Анатолий Софронов, Михаил Алексеев, Юрий Бондарев, Владимир Чивилихин, Сергей Викулов, Анатолий Иванов, Петр Проскурин, Егор Исаев... Но из них не откликнулся никто.

Прочное литературное и общественное положение, менталитет патриотических генералов от литературы, сознание

своего влияния и благополучия, опасение потерять немалые материальные возможности, просто житейская и человеческая осторожность, видимо, не позволили им открыто поддержать меня. Думаю, что, когда во время перестройки их творчество, их имена, их репутации были безжалостно осмеяны и оболганы, многие из них пожалели о том, что в свое время не помогли мне. Как и мой прямой начальник Феликс Кузнецов, который сказал мне в те дни историческую, врезавшуюся в мою память фразу: «Ты, Стасик, нарушил законы ролевого поведения, и за это придется заплатить». «Ролевого» — от слова «роль». Но я не играл. Это была борьба за жизнь, это было отчаянным шагом, поскольку я предчувствовал, что ежели мы не выиграем сражение сейчас, в выгодных для нас условиях, то впереди нас ждут худшие времена.

* * *

В литературно-идеологической жизни 60—70-х годов для характеристики скрытого русско-еврейского противостояния бытовал термин «групповщина». Так сложилось, что с одной стороны ее возглавляли «официально правые», с другой — «официально левые». Официально правыми считались, к примеру, Александр Прокофьев, Егор Исаев, Анатолий Иванов, Всеволод Кочетов, Анатолий Софронов, Николай Грибачев, Михаил Алексеев. Лагерь официально левых возглавляли Константин Симонов, Даниил Гранин, Александр Чаковский, Валентин Катаев, Борис Полевой, Андрей Дементьев...

Попасть в обойму «официальных» было почетно и денежно — гарантированные издания, премии, загранкомандировки, квартиры. Их не клевала, за редчайшими исключениями, критика, они были неприкасаемыми авторитетами, давшими обязательство за все эти блага обеспечивать идеологическое равновесие в литературе. С годами к лагерю официально правых потянулись Владимир Фирсов, Валентин Сорокин, Владимир Чивилихин, а официально левые укрепили свои ряды именами Евтушенко, Вознесенского, Коротича.

Мы ясно ощущали и понимали такое положение дел, демонстративно сторонились официально левых, брезговали ими и не раз публично высказывали свое отношение к ним.

Официально правые были нам ближе — все-таки свои, русские! Но сближаться с ними окончательно означало потерять независимость своих оценок, подчиниться своеобразной групповой дисциплине, и мы не желали этого.

Кто мы? Юрий Селезнев, Вадим Кожинов, Анатолий Передреев, Петр Палиевский, Сергей Семанов, Анатолий Пайщиков, Михаил Лобанов... Объективный ход событий все больше и больше сближал нас с Беловым, Распутиным, с Юрием Кузнецовым.

Наше брезгливое негодование возбуждали одинаково как Вознесенский, отрыгнувший в Америке стишок по поводу Шолохова: «Один роман украл — не смог украсть другой», так и Егор Исаев, давший рекомендацию стихотворцу, заместителю Шеварднадзе некоему Анатолию Ковалеву. Впрочем, за цековскими и правительственными чиновниками-графоманами в то время с рвением ухаживали многие литераторы: к книге пресловутого Ковалева хвалебное предисловие сочинил Владимир Огнев. А стоило только партийному функционеру В. Печеневу стать помощником генсека К. У. Черненко, как о его весьма заурядной публицистической книжице тут же появилась в «Литературной России» подобострастная статья модного критика Евгения Сидорова, будущего министра культуры ельцинской эпохи.

Верхушку официально правых не случайно совершенно не тронула скандальная статья А. Яковлева «Против антиисторизма». Она была скорее направлена против «второго эшелона» русских писателей, то есть против нас. Грозным предупреждением для правых стали дела «русских националистов» Бородина, Огурцова и Осипова. Этими делами власть как бы поставила предел нам: эту границу переходить нельзя! Левым же граница их идеологических поисков была поставлена высылкой за границу Иосифа Бродского и процессом Даниэля и Синявского...

Помню, как по окончании одного из писательских съездов, во время банкета заведующий отделом культуры ЦК КПСС Василий Филимонович Шауро — худой, высокий, седоволосый старик, демонстрируя «единство партии и народа», пошел вдоль ряда столов, уставленных водкой и закусками. Писатели отмечали в Кремлевском Дворце окончание съезда. Он шел молча с бокалом в руках, кивками поздравлял писателей с успешным окончанием работы, прихлебывал время от времени из бокала за их здоровье, но не говоря никому ни слова, словно бы оправдывая прозвище, которое укрепилось за ним: Великий Немой. И вдруг ни с того ни с сего остановился возле меня и Бориса Романова. Мы встали, чтобы чокнуться, и Великой Немой вдруг заговорил, обращаясь ко мне, но так, чтобы слышали все остальные:

— Политика партии в том, чтобы в разумных пределах поддерживать все группировки писателей. Мы не можем выделять особо ни одну из них. Качели не могут качаться в одну сторону. Выдержать равновесие — вот наша задача с вами. За это и выпьем...

Мы выпили, и он пошел дальше, продолжая молчаливый обход писательских рядов.

Впрочем, интересы еврейского лобби в 60—80-е годы, к сожалению, обслуживала и целая прослойка функционеров-литераторов русского происхождения: Анатолий Ананьев, Вадим Кожевников, Сергей Наровчатов, Сергей Баруздин, Михаил Колосов, Анатолий Чепуров, Афанасий Салынский — главные редакторы крупнейших литературных изданий, видные чиновники. Скорее всего потому, что благодаря поддержке или в лучшем случае лояльности еврейских кругов можно было рассчитывать на то, что ЦК утвердит тебя на каком-либо значительном посту. А сколько было именитых литераторов, посвятивших свои перья обслуге этой касты! На сем славном поприще рьяно подвизались и нынешний академик-литературовед Петр Николаев, с лекций которого в МГУ мы сбегали по причине их непроходимой бездарности и скуки, и другой академик Дмитрий Лихачев, и членкор Вас. Вас. Нови-

ков, и редактор сегодняшнего «Знамени» Сергей Чупринин, да и цекушник Альберт Беляев тоже ведь был писателем. Что говорить, если это «русское крыло» возглавлялось Георгием Марковым и Сергеем Михалковым, вскормившим целое войско «классиков детской литературы» — и ее критиков и никому не нужных исследователей. Но ничто не проходит бесследно. Как правило, русские люди, пошедшие в услугу к еврейскому лобби, были или совершенно бесталанными литераторами, или, очень быстро (Наровчатов, Михалков, Дудин, Луконин) истратив все свои способности в молодые годы, во вторую половину жизни становились всего лишь навсего высокопоставленными представителями обслуживающего персонала, которых в душе презирали и настоящие русские и умные евреи.

Да, эти шабесгои были при постах, при креслах, при лауреатских венках, заседали во всех президиумах. Но сущность такого рода высокопоставленных слуг еще в начале века очень точно определил Василий Васильевич Розанов:

> С евреями ведя дела, чувствуешь, что все «идет по маслу», все стало «на масло», и идет «ходко» и «легко», в высшей степени «приятно». (...) Едва вы начали «тереться» около него, и он «маслится» около вас. И все было бы хорошо, если бы не замечали (если успели вовремя), что все «по маслу» течет к нему, дела, имущество, семейные связи, симпатии. И когда наконец вы хотите остаться «в себе» и «один», остаться «без масла», — вы видите, что все уже вобрало в себя масло, все унесло из вас и от вас, и вы в сущности высохшее, обеспложенное, ничего не имущее существо. Вы чувствуете себя бесталанным, обездушенным, одиноким и брошенным. С ужасом вы восстанавливаете связь с «маслом» и евреем, — и он охотно дает вам ее: досасывая остальное из вас, — пока вы станете трупом. Этот кругооборот отношений всемирен и повторяется везде — в деревеньке, в единичной личной дружбе, в судьбе народов и стран. Еврей с а м не только бесталанен, но — ужасающе бесталанен: но взамен всех талантов имеет один большой хобот, маслянистый, приятный: сосать душу и дар из каждого своего соседа, из страны, города. Пустой — он пересасывает в себя полноту всего. Без воображения, без мифов, без политической истории, без всякого чувства приро-

ды, без космогонии в себе, в сущности — безъяичный, он присасывается «пустым мешком себя» к вашему бытию, восторгается им, ласкается к нему, искренне и чистосердечно восхищен «удивительными сокровищами в вас», которых сам действительно не имеет: и начиная всему этому «имитировать», всему этому «подражать» — все искажает «пустым мешком в себе», своею космогоническою безъяичностью и медленно и постоянно заменяет ваше добро пустыми пузырями, вашу поэзию — поддельною поэзиею, вашу философию — философической риторикой и пошлостью (...)

И так — везде.

И так — навечно.

(*В. Розанов*. Опавшие листья. III короб. 21.11.1914.)

Беляевых, чуприниных, ананьевых, людей бесталанных, избравших такой путь, — не жалко. Туда им и дорога. Жаль Виктора Астафьева, Михаила Ульянова, Андрея Битова, Владимира Соколова, Игоря Шкляревского, постепенно превращавшихся, говоря словами Розанова, в «высохшее, обеспложенное, ничего не имущее существо»... А еще хочется вспомнить слова Тараса Бульбы: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

...Через два месяца после передачи письма я был приглашен «на ковер» в апартаменты ЦК КПСС.

За час до визита мне позвонил мой знакомый из КГБ и попросил о свидании. Мы встретились минут за пятнадцать до того, как я вошел в ЦК, в сквере на Старой площади.

— Станислав Юрьевич, есть одна просьба. С вами будут сегодня разговаривать Беляев с Севруком. Нам интересно все, что они скажут. Не возьмете ли вы в свой портфель звукозаписывающее устройство? — Я внимательно поглядел в его честные голубые глаза и вежливо, но твердо отказался...

...В кабинете у Беляева кроме Севрука сидел Игорь Бугаев, секретарь Краснопресненского райкома партии, где я состоял на учете. За всю двух- или трехчасовую беседу он не произнес ни слова, время от времени делал какие-то записи. Я поглядел на него и понял: если беседа сложится для меня неблагоприятно — именно он будет исключать меня из партии.

Беляев сразу начал проработку:

— Письмо ваше получено. Мы имеем поручение от Секретариата ЦК поговорить с вами. Письмо, к сожалению, стало широко известным. Как вы могли, не дождавшись ответа от ЦК, распространять его? Это — нарушение партийной дисциплины!

Я был готов к такому началу и спокойно, но твердо ответил, что ничего я не распространял, что копии письма я передал лишь директорам издательств, на книги которых ссылался, и председателю Государственного Комитета России по печати.

Но Беляев, у которого были сжаты желваки, а лицо покрыто красными пятнами, пронзил меня своими холодными голубыми глазами архангелогородского опричника:

— На основе вашего письма сочинено еще одно, совершенно антипартийное и антисоветское, некоего Рязанова!

— Нет, не на основе моего письма, а по его поводу, — отпарировал я.

— Но как вы смели обвинить Центральный Комитет в бездействии?! — сорвался на фальцет Беляев. — Мы издали антисионистские книги Юрия Колесникова, Цезаря Солодаря, Льва Кулешова... В заграничных поездках против сионизма выступали Чаковский, Кожевников, Юлиан Семенов...

В разговор с какими-то бумажками в руках вступил второй, «добрый следователь» — Владимир Севрук:

— Стихотворение о народе по имени «И» Семена Липкина осуждено нами, редактор, пропустивший его, уволен с работы. То, что в букваре нет стихов Пушкина, а есть стихи Сапгира — это безобразие, но вот мы издали новый букварь, — Севрук показал его мне, — где есть стихи и Михалкова, и Пушкина. А что касается Гейне — то я против подобных его рассуждений... Да, вы правы в своем письме, у нас действительно нет русофильской партии, но нет и сионистской, как нет казахской националистической или узбекской...

Севрук запнулся, что-то рассматривая в своих записях.

Это позволило мне еще раз перебить его:

— «Литературная газета» Чаковского только и знает, что бороться с так называемыми пережитками русского национализма. А Вознесенский в это время, выступая в Америке, клевещет на Шолохова: «Один роман украл — не смог украсть другой». А его «непобедимо синий завет» — что, неужели непонятно, о чем идет речь? А то, что его, да Евтушенко, да Аксенова постоянно приглашают за рубеж, куда они то и дело ездят на народные деньги — разве это нормально?..

Альберт Беляев понял, что здесь надо согласиться со мной:

— Да, практика поездок по вызову порочна, но вам лишь кажется, что вы боретесь с сионизмом, на самом деле вы помогаете ему, провоцируя сионистов на агрессивные действия.

В это время раздался телефонный звонок. Беляев схватил трубку:

— Да, Михаил Васильевич, мы как раз беседуем с автором письма. Да, конечно, передадим, объясним, не беспокойтесь...— Он положил трубку: — Вот и Михаил Васильевич Зимянин просит передать вам: в Московской писательской организации столько евреев, что необходимо работать на консолидацию, а не на разъединение,

В разговор опять вступил вкрадчивый Севрук:

— Собрание сочинений Гейне, как вы помните, было издано в хрущевские гнилые времена... Тогда же издали 9-й, антисоветский том Бунина с его «Алешкой третьим» и книгу белогвардейца Шульгина выпустили, фильм о нем сделали, генерала Слащова провозгласили чуть ли не народным героем. А о Бунине — лютом антисоветчике — монографий тогда написали больше, чем о Фурманове!

...Я видел, что люди, с которыми я говорил, по должности своей, по партийно-государственному инстинкту, которому они обязаны были следовать, должны понимать меня. Но они явно не хотели этого, и двусмысленность положения крайне их раздражала... Роли их были распределены. Беляев в этой проработке, видимо, должен был давить на меня эмо-

ционально: он повышал тон, пересыпал свою речь недвусмысленными угрозами, а роль Севрука была в том, чтобы доказать содержательную и даже фактическую несостоятельность моего письма.

— Вот вы обвиняете Багрицкого в том, что он отрешился от местечкового быта, от еврейского ешиботства, но они и были рассадником сионизма.

Я быстро нашелся:

— Да, вы правы, отказался, но ради чего? Ради еврейской власти над всей Россией!

— Багрицкий — революционный поэт! — сорвался на крик Беляев.

— Да, но поэма «Февраль» и революционная и сионистская одновременно.

— Опять двадцать пять! — уже завизжал Беляев, не привыкший, чтобы с ним спорили в стенах его кабинета.

Альберт Беляев был одним из самых подлых и мерзких партийных чиновников, которых я видел на своем веку. Хотя бы потому, что он был чистокровным русским северной закваски, со светлыми, чуть рыжеватыми волосами и голубыми глазами, с послужным списком, в котором значилась служба на Северном флоте, с книжонкой рассказов об этой службе, за которую его приняли в Союз писателей... А душа у него была карьеристская и насквозь лакейская.

Помню, как однажды я встретил его в коридорах Союза писателей на Поварской. Мы знали друг друга, и я решил обратиться к нему с какой-то незначительной просьбой.

— Альберт Андреевич! Можно вас на минуту?

Беляев зло посмотрел на меня и на ходу бросил:

— У меня нет времени!

— Да я по поводу своей статьи в «Литературной газете»...

Беляев вдруг перешел на мелкий бег, его ножки в начищенных ботинках замелькали над ковровой дорожкой, и он почти завизжал в истерике:

— Вы что, не видите, что я спешу? Василий Филимонович Шауро меня в кабинете Маркова ждет! — И столько было

в лице этого морячка страха перед начальственным гневом, так исказилось его лицо от моей невинной попытки задержать его на минуту, такое отсутствие собственного достоинства продемонстрировала вся его суетливая, мчащаяся по коридору фигура, что я оторопел...

А в конце 80-х, когда ему, учившему меня бороться с сионизмом на благо советской власти, за заслуги в деле ее разрушения дали пост главного редактора газеты «Советская культура», он, всю жизнь учивший нас партийности и социализму, сразу сделал газету и антисоветской, и антикоммунистической, и еврейской, и бульварной.

Забавное продолжение истории с моим письмом в ЦК последовало через несколько месяцев, когда летом я уехал на Рижское взморье поработать в писательском Доме творчества. Рядом со мной на этаже жил главный редактор «Литературной газеты» Александр Чаковский. Он курил сигары, и вонючий запах, выползавший из-под двери его номера, означал, что в эти часы Чаковский трудится над очередным томом очередной эпопеи.

Однажды мы с ним встретились в коридоре, и он неожиданно предложил мне:

— Станислав Юрьевич, зайдемте ко мне, надо поговорить.

Оказывается, Чаковский, занимавший в идеологической иерархии при Брежневе приблизительно то же место, что Эренбург при Сталине, захотел объясниться со мною по поводу моего письма.

Расспросив меня о моем национальном и социальном происхождении, он задумался, раскурил сигару и, усевшись в кресло, начал свой монолог:

— Я по натуре своей чекист. Хорошо, что мы с вами беседуем вот в такой мирной обстановке. А то ведь могло бы случиться, что разговор у нас с вами сложился бы приблизительно так: вы, гражданин Куняев, наслушались западного радио о близкой смерти Брежнева, решили спровоцировать, когда это произойдет, еврейские погромы, чтобы на этой вол-

не сделать себе карьеру. Уведите арестованного! Вот вы пишете в письме, что боретесь с сионизмом. А на самом деле настоящий борец с сионизмом — это я. Я уже в 16—17 лет ездил организовывать в Поволжье колхозы и сражался в Саратове с сионистами. Они тогда уже начали уезжать в землю обетованную, пока Сталин гайки не закрутил. Но я был против их отъезда, я хотел, чтобы евреи строили свою социалистическую родину... Станислав, вы не отдаете себе отчета, сколько пришлось пережить и перестрадать евреям.

Дальше я цитирую наш разговор по записи из моего дневника от 23.8.1979 г.

Чаковский:

— Когда началась война, Сталин увидел, что все интернациональные идеи, все разговоры о солидарности с германским рабочим классом и международным пролетариатом — фикция. Он решил сделать ставку на единственно реальную карту — на национальное чувство русского народа. Постепенно из армии убрали всех евреев- политруков, пропаганда наша всячески стала использовать имена русских полководцев, верхи стали заигрывать с церковью, а после победы Сталин произнес знаменитый тост за русский народ. Но расплатиться с русским народом за его жертвы было нечем, оставалось лишь одно — объявить его самым великим, самым талантливым. И в угоду этому началась кампания против космополитов, дело врачей, разгон еврейского комитета. Что было! Люди бежали из больниц, натягивали на себя одеяла, когда к ним подходили врачи-евреи. А когда наступил 56-й год и пошли всяческие реабилитации, то среди этих реабилитаций не были реабилитированы евреи, пострадавшие в антисемитских кампаниях. А теперь объясните какому-нибудь рядовому Хаиму, почему этого не произошло. Он живет с обидой в душе, и на эту обиду очень легко ложится всяческая сионистская пропаганда, и Хаим подает заявление на выезд в Израиль ..

— Александр Борисович! — возразил я ему. — Если говорить о всякого рода реабилитациях, давайте отвлечемся от узко еврейской точки зрения. Что такое «дело врачей» или борьба с космополитизмом по сравнению с трагедией раскулачивания? Пустяк, ерунда сущая, не имеющая значения для жизни народа.

Раскулачивание, Соловки, Нарым, Волго-Балт, лесоповалы — вот что потрясло Россию до основания, подточило ее здоровье и устойчивую хозяйственную мощь.

А кто руководил этими процессами?

Вы же сами сказали мне, что в шестнадцать с половиной лет вы, сын богатого еврейского нэпмана, в своей самарской губернии создавали колхозы. Что вы могли в этом возрасте знать о жизни, которая здесь складывалась столетиями и которую вы нещадно ломали?

Почему вы не говорите о том, что нужно было бы реабилитировать несправедливо сосланных на Север, закопанных на Волго-Балте, сгнивших на Соловках?

Почему в том же 1956 году им, кто остался в живых, или их потомкам не объявить, что они были сосланы или уничтожены несправедливо, чтобы не было пятна осуждения на этих людях или их потомках? Я отвечу почему.

Во-первых, потому, что их судьбы вас не интересуют, вас тревожит лишь обида Хаима, сын которого не смог поступить в Институт международных отношений, а поступил всего лишь навсего в пушно-меховой или мясомолочный.

А во-вторых, потому что надо было обнародовать имена всех ответственных за эти деяния руководителей ГУЛАГов, больших и малых, что действительно могло бы привести к погромам.

Чаковский переменился в лице:

— Ах вот как вы ставите вопрос!..

Но во гневе сдержался, решив не продолжать разговор на эту тему, перешел на литературу.

— Станислав! Будьте центристом! Я ничего не понимаю в поэзии, я политик. В политике мало быть правым, надо убедить всех в своей правоте. Мне нравится ваш «Карл Двенадцатый», острая мысль о парадоксе власти. Но все эти ручейки, травки, березовые рощи — на этом имени не сделаете.

Вот вы пишете о Бунине — «тяжко без родины жить, а без души тяжелее». Сказано афористично, но нельзя забывать о том, что Бунин был большой сволочью. А что вы пишете о каких-то «евреях в Пентагоне»? Их там нет, они есть в Конгрессе. Не возражайте мне, что это, мол, условно, символически, обобщенно, такие политические формулировки должны, быть точными.

Спорили мы с ним целый вечер, и ушел я от него, сопровождаемый заверениями, что он-то и есть настоящий борец с сионизмом.

Вечером на прогулке ко мне подошел прозаик Елизар Мальцев, известный шабесгой из русских. Он, видимо, уже узнал о моем разговоре с Чаковским.

— Мне вас жалко, Станислав, вас больше никуда не выберут! И вообще, я натерпелся от русских куда больше, чем от евреев. Евреи мне всегда помогали, а сам я из раскольников, из семейских, сейчас пишу историю своего рода.

Но все же при советском еврее-государственнике Александре Чаковском невозможно было представить себе потоки зловонной русофобии, в которой стала просто купаться «последчаковская» «Литературная газета», на чьих страницах русская история стала изображаться так: «Облачившись в державный зипун и затолкав под лавку прокисшие портянки, объявить русский дух самым духовитым во всей вселенной», «дыша перегаром, державник начинает неторопливо разматывать портянки, сладострастно ожидая момента, когда можно будет закричать: «Наших бьют!», «Казенного патриотизма, усердно поливавшего великодержавным дезодорантом пропотевший зипун общества. Россия нахлебалась вдоволь», «И петровские, и сталинские методы индустриализации России оказались на поверку бамбуковыми суррогатами» и т. д. и т. п. (Л.Г. № 28. 1995 г.) Это — журналист Б. Туманов, всю жизнь проработавший за границей и всю жизнь, видимо, «сладострастно» лелеявший в своей душонке ненависть к России. А я-то по наивности 20 лет тому назад думал, что худшего русофоба, нежели А. Чаковский, у нас найти невозможно. Однако в скором времени после разговора с ним мне попала в руки западная газета, в которой бывший сотрудник «Литературки», уехавший в Америку, писал о своем главном редакторе и нравах «Литгазеты»:

> В «Литгазете» еврей был главным редактором (Чаковский) и ответственным секретарем (Гиндельман), отдел экономики возглавлял еврей Павел Вельтман (он же Волин), отдел науки — еврей Ривин (он же Михайлов), отделом искусств руководил еврей Галантер (он же Галанов), даже самый крупный раздел русской литературы возглавлял еврей Миша Синельников.

Итак, лучшую в стране газету доверили делать евреям, и я не мог не радоваться этому чуду. Что значил этот загадочный филосемитизм?

...То, что я попал в самую умную, самую демократичную и самую еврейскую газету в стране, в моих глазах искупало все.

(*В. Перельман*. ...И снова иллюзии // Русская мысль, 14 ноября 1974 г.)

Вот вам и государственный антисемитизм 70-х годов... Да что говорить о семидесятых!

«Государственный антисемитизм в СССР, — пишет, к примеру, историк Борис Фрезинский в «Русской мысли» от 2 апреля 1997 года, — как раз в пору 1948—1953 годов достиг накала, чреватого «окончательным решением еврейского вопроса».

...В 1952 году я поступил на филологический факультет Московского университета.

Последний год царствования Иосифа Сталина. Но что бы ни говорили об этой эпохе нынешние продажные борзописцы, свидетельствую: наше школьное образование было таким, что мы — дети врачей, учителей, итээровцев, послевоенных вдов и матерей-одиночек, и даже крестьян-колхозников из провинциальных областных и районных городков и сел России, — приехав в Москву, «замахнувшись» на лучшие вузы страны, без всякого блата, без мохнатых рук, без взяток на равных выдерживали состязание за право учиться на Моховой, в МВТУ, в МАИ, в Энергетическом и Медицинском с сыновьями партийных работников, дипломатов, генералов, словом, с любыми отпрысками столичной элиты. Вот какие знания получали мы в любых, самых отдаленных от Москвы уголках, вот какую универсальную и справедливую мощь таила в себе поистине народная, демократическая школьная система советской эпохи. Но воспоминания мои — о другом. Я смотрю на громадное казенное фото нашего выпускного курса 1957 года, где каждый из нас в овальной рамочке, над нами несколько

фотопортретов наших лучших преподавателей, в центре ректор МГУ Петровский, — смотрю, читаю фамилии, вглядываюсь в молодые студенческие лица и понимаю, что не менее сорока студентов из двухсот двадцати, поступивших на первый курс филфака, были нашими советскими евреями. И это — в период между 1949-м и 1953 годами, между кампанией против космополитов и «делом врачей»!

Судя по сегодняшним стенаниям борщаговских и рыбаковых, в те годы государственный антисемитизм якобы достиг такого накала, что легче было верблюду пролезть в игольное ушко, нежели бедному еврейскому отпрыску войти под своды главного храма науки... А тут почти двадцать процентов — еврейские юноши и девушки! Эх вы, летописцы, мемуаристы, лжесвидетели...

А если вспомнить о сталинских тридцатых годах, то не обойтись без объективного свидетельства Эммы Герштейн (не самой большой русофилки), которая несколько лет тому назад писала в «Новом мире»: «Моя мать, совершенно неприспособленная к грубости и жестокости советской жизни, все же благословляла ее за отсутствие антисемитизма...»

А где же, по наблюдениям Эммы Герштейн, в те годы гнездился антисемитизм? Оказывается, в буржуазной «цивилизованной» Латвии!

> Придя к Лене, я застала у нее поэта Ваню Приблудного. С собой он привел писателя, сына известного экономиста М. И. Туган-Барановского. Он жил в буржуазной Латвии... рассказывал о своей жизни в Риге. Он был женат на еврейке. На взморье были разные пляжи — для евреев и христиан. Он шокировал родню своей жены, показываясь на еврейском участке, а она выглядела белой вороной на христианском. Туган рассказывал об этом смеясь, а мне казалось, что я слушаю какие-то сказки о доисторических временах.

Да, далеко было нашему советскому «государственному антисемитизму» до антисемитизма западного, гуманного, культурного!

Беда патриотов — идеологов русской партии, да и моя беда, заключалась в том, что мы в борьбе с агрессивным внутрисоветским еврейством взяли на вооружение официальный термин «сионизм» и ничтоже сумняшеся употребляли его часто не к месту, искажая и запутывая смысл происходящих процессов. А надо было говорить просто о засилье еврейства, о еврейской воле к власти, о мощном групповом инстинкте этой касты, о ее влиянии на партийную верхушку. Мы же, опасаясь прямых репрессий, прикрывали свои взгляды формулировкой из официального идеологического арсенала и попадали в ложное положение, а партийные чиновники типа Беляева и Севрука ловко пользовались нашей непоследовательностью. Но и они тоже были обескуражены.

Сионизм считался официальным врагом советской системы, с ним надо было бороться. Я тоже поставил их в ложное положение. Им очень не нравилось содержание моего письма, но это раздражение приходилось изливать по поводу форм его обнародования.

— Надо быть умнее сионистов, — поучал меня Беляев, — и не давать им поводов для провокаций. Вы же действуете точно так, как Солженицын: пишете письмо якобы в ЦК, а на самом деле пускаете его по рукам!

Опытные партийные функционеры сразу же разгадали наивный план моих действий, тем не менее ничего серьезного сделать со мной не могли. Я защищался достаточно умело, да и в письме было много неоспоримых фактов, с которыми соглашался Севрук:

— Да, поэма Сулейменова о Ленине — плохая поэма.

— Говенная! — добавил Беляев.

— И стихи Вознесенского — тоже плохие стихи, — продолжал Севрук, — слабые...

— Говенные! — в сердцах повторил Беляев.

Несмотря на драматичность сцены, я не мог удержаться от смеха, а Севрук, видимо, обязанный «отмазать» свой отдел пропаганды и доказать, как он борется с антисоветчиками, —

неодобрительно глянув на меня, высыпал целую груду фактов, свидетельствующих о его бдительности:

— Журнал «Аврора» опубликовал монархические стихи, — мы редактора журнала сняли, редакцию укрепили, мы сняли главного редактора журнала «Простор» в Казахстане за политически сомнительный детектив. Мы убрали с должности нескольких цензоров.

Он перечислял свои заслуги с такой интонацией, как будто перед ним сидел не я, а Суслов или Зимянин, из чего я заключил, что разговор со мной — своеобразная репетиция для разговора с высшим начальством о принятых мерах. Прорабатывая меня, они оба как бы искали материалы и формулировки для своего спасения и для своей защиты. Им было за что меня ненавидеть. Я понял это и даже пожалел их, сказав на прощанье примирительным тоном:

— Я не шовинист, Альберт Андреевич, я перевел несколько книг лучших наших поэтов из республик. Может быть, в моем письме и во всем, что получилось вокруг него, есть какие-то неточности и сомнительные моменты, но я ведь вижу, что по существу вы согласны со мной!

Беляев открыл рот, пораженный моей наглостью, но, сообразив, видимо, что дискуссия затянулась и что начинать все сначала смешно, просверлил меня своими ледяными глазами, и мы распрощались...

Когда на другой день я встретился с Феликсом Кузнецовым, он, уже знавший о разговоре, коротко сказал мне:

— Ну, получил ответ на свое письмо?

— Получил.

— А теперь уходи, Стасик, в отпуск.

— А можно месяца на два?

— Ты шутишь? Уходи на полгода...

Я с облегчением вздохнул и поехал рыбачить на Север, к берегам холодного Белого моря. Эмигрировал — в Россию.

Перед отъездом меня по какому-то пустяковому поводу пригласил к себе опытнейший чиновник, руководитель всего нашего Союза писателей Георгий Мокеевич Марков и в

конце разговора, как бы случайно вспомнив нечто из своей жизни, сказал:

— Меня, Станислав, в свое время пригласили работать в Союз писателей секретарем парткома. Я был молодой, горячий, ну, как ты. Приехал в Москву, познакомился с писательской жизнью и стал подымать в разговорах те же проблемы, что и ты сегодня. Тогда Федин меня вызвал и говорит: «Ты, Гоша, землю копать умеешь?» — «Умею». — «Так вот, возьми лопату, выкопай яму поглубже, свали в нее все свои еврейские вопросы и землей засыпь. И сверху камень привали, чтобы не вылезали». Вы поняли, Станислав, что я вам хочу сказать?..

А чего еще тут было понимать? Все и так яснее ясного...

А с режиссером всей этой проработки, секретарем ЦК Михаилом Васильевичем Зимяниным лицом к лицу я столкнулся через несколько лет на очередном съезде российских писателей.

По окончании съезда в необъятном банкетном зале Кремля происходил традиционный прием. За моим столом сидел Юван Шесталов, мансийский поэт. Рангом поменьше Гамзатова и Кугультинова, но все же «живой классик». Человек, любящий выпить. Но то ли водки было мало, то ли братья-писатели пили энергично, но напиток за нашим столом быстро кончился... Шесталов вознегодовал: «Пойдем к столу почетного президиума (он стоял на некотором возвышении), у них водки навалом!» Удержать его не было возможности, и мы оба рванулись к столу, во главе которого сидел Зимянин. Очутившись прямо напротив него, Шесталов, поддерживаемый мной, в отчаянье закричал, простирая пустой фужер к Зимянину:

— Михаил Васильевич! У рядовых писателей водка кончилась.

Официанты, проглядевшие наш маневр, бросились к Ювану, один наливал ему водку в фужер, другой разворачивал от стола, а маленький Зимянин, поглядев на меня глубоко запавшими глазками, устало сказал:

— А, это опять вы! И когда научитесь отличать евреев от сионистов?

— Я только этим и занимаюсь в последние годы, — печально отшутился я и, повернувшись, пошел за счастливым Юваном Шесталовым.

Несколько лет спустя обычно осторожный и хорошо информированный Александр Борщаговский — вечный партийный функционер еврейского лобби — на партийном собрании вспомнил о моем письме в ЦК:

> Мы ведь люди с исторической памятью (мы тоже.— *Ст. К.*). Во вновь избранном секретариате есть по крайней мере два человека, против которых я возражал бы настойчиво и по праву, если бы состоялась партгруппа. Пока Станислав Куняев не откажется публично от грязного, печально известного письма в ЦК, пока он не откажется от враждебной интернационализму позиции, которую он, к слову сказать, подтвердил в публичной дискуссии «Классика и мы», нельзя за него голосовать как за одного из руководителей организации. Мы выбираем руководителей, и человек, не доросший до идей интернационализма, духа социализма, человек, который, не затрудняясь вытрет ноги о стихи Багрицкого, не годится в секретари Союза...»
>
> (9.04.1986 г. Цитирую по стенограмме.)

Борщаговский не рассчитал, что время идет быстро, и дал петуха, ибо через два-три года еврейское советское писательское лобби сдаст Багрицкого, а по старости утративший политическое чутье Борщаговский чуть запоздает и лишь еще через пару лет «сольет» столь дорогой для его сердца «дух социализма» в книге «Обвиняется кровь».

Много я натерпелся от всякого рода борщаговских в те годы. Не раз мою фамилию склоняли они со всех партийно-писательских трибун. Иногда напускали на меня тяжелую артиллерию — Вениамина Каверина и Маргариту Алигер, которые должны были выступать со мной на вечере памяти Заболоцкого, но заявили цедэловскому начальнику тех лет Михаилу Шапиро, что если, мол, Куняев придет в президиум, то они сейчас же покинут его. А бывало, что герои Советского Союза шли в атаку — два летчика Марк Галлай и Генрих Гофман.

А Константин Симонов, которого я однажды попросил по долгу службы, как рабочий секретарь Московской писательской организации, чтобы он провел вечер поэзии в Лужниках, вдруг придал своему холеному лицу надменное выражение и отчеканил:

— Я с людьми, которые топчут поэзию Багрицкого, дела иметь не хочу! — и победоносно поглядел на двух руководителей ЦДЛ — Филиппова и Шапиро, взиравших на него с благоговением, как еврейские Бобчинский и Добчинский на Хлестакова. Я за словом в карман не полез и жестко отрезал:

— Баба с возу — кобыле легче!

Пошел в кабинет, позвонил Анатолию Софронову, и мы прекрасно провели вечер в Лужниках... Словом, и смех и слезы... А что мне было делать, если родная партия серьезно прислушивалась к тому, что говорят Борщаговский, Гофман, Симонов?

Да, тот же самый Симонов, который в марте 1953 года, вскоре после смерти Сталина написал Никите Хрущеву письмо с предложением очистить Союз писателей от бездарных еврейских литераторов, пролезших в Союз благодаря связям, ничего талантливого не создающих и живущих за счет литфондовских пособий.

...Совсем недавно, в 1998 году, в Третьяковской галерее собрались все старые работники отдела культуры ЦК — вспомнить прошлое, выпить по рюмке за своего бывшего шефа, полюбопытствовать, кто как живет в новой жизни. Среди собравшихся был мой друг, ныне мой заместитель по журналу, а в прошлом работник отдела Геннадий Михайлович Гусев... Белорус Шауро, с малолетства росший, насколько мне известно, как приемный сын в местечковой еврейской семье, в одном из залов Третьяковки внезапно отозвал Гусева для конфиденциального разговора один на один и сказал ему:

— Передайте Сергею Викулову и Станиславу Куняеву, что в борьбе, которую они вели в семидесятые годы, были правы они, а не я. Очень сожалею об этом...

Я уже писал о том, что после моего письма многие осторожные мои коллеги стали меня сторониться. Иные по причине того, чтобы держаться подальше от еврейского вопроса. Недавно мой давний товарищ критик Л. Л. показал мне страницы своего дневника за 1979 год и напомнил об одной почти комической истории, которую я позабыл и невольными участниками которой мы с ним стали. Цитирую по дневниковой записи Л. Л. от 2.06.1979 г.

> Письмо Куняева я читал на заседании секции поэтов. Потом мы втроем — Жигулин, Куняев и я — вышли в фойе, чтобы поговорить о письме. В этот момент мимо проходил Вознесенский, неожиданно заулыбался и подошел к нам. Протянул руку мне и Жигулину. «А тебе, наверно, не надо подавать руки? » — «Я ее и не пожму», — ответил Станислав. Тут же состоялся обмен колкостями и прямыми обвинениями. Вознесенский попрекал «доносительством» и «карьеризмом», Станислав говорил о его «продажности» и «делячестве». Жигулин стоял вплотную к нам троим и внимательно слушал разговор. Когда же я обратился к нему: «Ну, а ты что скажешь?» — то последовал ответ: «А я глуховат и не все расслышал, о чем они говорили». Минут же за десять до этого на заседании секции Жигулин шептал мне в ухо, чтобы я голосовал против одного юмориста, и прекрасно расслышал мой ответный шепот, что я не имею права участвовать в голосовании.

И дальше из дневника того же Л. Л., у которого я вскоре побывал дома:

> «Сломленный человек», — сказал о Жигулине Станислав без всякой злобы. Я понял, конечно, что за этими словами. Восемь лет ссылки не могут укрепить в человеке оптимизма и доверия к ближним. Говорили мы со Станиславом о русской интеллигенции.
>
> Тут он говорил немало дельного. Сказал, что его письмо в ЦК — эксперимент на себе: уволят или нет. И еще, дескать, хочется избавить русских интеллигентов от пессимизма — слишком много безнадежных настроений.

И это правда. Ибо я убедился, что в памяти русских людей особенно старшего поколения с 20 — 30-х годов жил страх перед еврейством почти на генетическом уровне. Я помню, как в 70-е годы я приезжал к матери в Калугу. Двумя этажами выше нас жил первый секретарь обкома КПСС, член ЦК КПСС Андрей Андреевич Кандренков. Таких, как он, властных чиновников в России было чуть более сотни. И, однако, он жил в одном подъезде с учителями, врачами, работниками железной дороги, пенсионерами. У него была лишь одна льгота — его квартира состояла из двух соединенных квартир, он с женой и дочкой занимал пять комнат общей площадью не более 100 квадратных метров. (Да в такой квартире сейчас ни один уважающий себя новый русский жулик жить не будет!) Впрочем, была еще одна льгота. В подъезде постоянно стоял милиционер, что было положено каждому члену ЦК КПСС. Жители подъезда были довольны: милиционер заодно охранял их всех. Я уже был известным поэтом и Кандренков время от времени приглашал меня по вечерам погулять по Калуге, поговорить. Мы выходили из подъезда, милиционер следовал за нами. Выходили со двора на улицу, и помню, как однажды, оглядевшись по сторонам, убедившись, что вокруг нет случайных прохожих, Кандренков вдруг приказал милиционеру отстать на несколько шагов и, видимо, наслышанный о моем письме в ЦК, шепотом вдруг спросил:

— Ну, как там евреи в Москве? Лютуют? — и такой страх прозвучал в этом вопросе бывшего крестьянина, ставшего одним из крупнейших партийных чиновников страны.

* * *

Да не было у нас никакой зависти к диссидентам и никакой особой ненависти лично к Аксенову или Гладилину, к Алешковскому или Синявскому. И «еврейство» или «нееврейство» здесь ни при чем...

Для меня главное — ощущает ли себя носитель той или иной крови русским человеком или, в крайнем случае, лояльно ли относится к русской натуре и русской истории.

С университетских времен я помнил замечательные слова «полукровки» Александра Герцена о русских людях: «Мы выше зоологической щепетильности и совершенно безразличны к вопросу о расовой чистоте, что не мешает нам быть вполне славянами.

Мы очень довольны, что в наших жилах есть финская и монгольская кровь; это ставит нас в родственные и братские отношения с теми расами-париями, о которых гуманная демократия Европы не может говорить иначе, как тоном оскорбительного презрения».

Наличию татарских, грузинских, армянских «примесей» в русских людях я вообще не придавал никакого значения. С еврейскими генами было сложнее. Я ощущал их особую силу и старался быть с их носителями внимательнее и осторожнее, доверяя в этих размышлениях не столько себе, сколько проницательным и честным мыслителям из самой еврейской среды:

«Они, еврейские ассимилянты, очень любят быть космополитами... они нигде и всюду дома. Они очень любят быть радикалами и самыми передовыми из передовых. Они очень любят быть нигилистами, обесценивателями и разрушителями... Они часто мутят источники чужой культуры, опошляя ее, хотя кажется, что они проникают все глубже... Поэтому — святая обязанность народов стоять на страже границ своей национальной индивидуальности. Они вредны и тому народу, в который они хотят войти для властвования над ним» (из книги Якова Клацкина «Проблемы современного еврейства», изданной в 1930 году в догитлеровской Германии).

«Для властвования над ним»... Стоит задуматься над этими словами сегодня, потому что не со слов Макашова началась вся наша русско-еврейская историческая распря, которая и впредь будет время от времени то затихать, то снова вспыхивать и разгораться. А потому, чтобы правильно действовать в этих условиях, надо правильно понимать цели и суть

этой распри. Самое главное: ни в коем случае ее нельзя обсуждать в обычном плане так называемых «межнациональных отношений», «межнациональной розни», «разжигания межнациональных страстей». Президенты Шаймиев и Аушев, а также искренняя женщина Мизулина, осуждая Макашова, вписали возникший конфликт в межнациональный контекст, но это — тупиковый для понимания сути дела путь, на котором вольно или невольно затушевывается особенность рокового противостояния.

Дело в том, что:

— русско-еврейский вопрос сегодня — это не вопрос борьбы за гражданские права, чем, допустим, озабочены русские в Прибалтике или Казахстане (все евреи в России имеют равные права с русскими);

— русско-еврейский вопрос сегодня — это не вопрос суверенитета, чем озабочены татары, якуты, дагестанцы, народы Севера в своих отношениях с Москвой (евреям не нужны ни суверенитет, ни разграничение полномочий и т. д.);

— русско-еврейский вопрос — это тем более не вопрос каких-либо территориальных претензий, принадлежности нефтяных районов, пастбищ, шельфов, границ, чем, к примеру, обусловлена рознь между осетинами и ингушами, грузинами и абхазами, чеченцами и русскими Ставрополья (евреям не нужна в России ни своя территория, если только не считать за таковую Еврейскую АО, ни тем более отдельная государственность);

— русско-еврейский вопрос лежит вне споров о защите культуры, о количестве национальных школ, о культурной автономии или ассимиляции, вне религиозных столкновений, вне борьбы за сохранение родного языка и т. д. (евреи в России обладают полной свободой — на каком языке говорить, в каких школах учиться, в какого Бога верить и т. д.).

Так в чем же суть ярости, предельного накала борьбы, готовности идти на крайние меры, что продемонстрировало еврейское лобби вкупе с подчиненными ему электронными СМИ во время психической атаки на Макашова, на компартию, на общественное мнение?

Дело в том, что еврейские ставки гораздо выше территориальных, культурных, правовых, религиозных проблем, в которых барахтаются другие национальности — русские, чеченцы, латыши, грузины или чукчи. Еврейская элита борется не за частные национальные привилегии, а за ВЛАСТЬ в самом глубоком и широком смысле слова.

Вопрос в этой борьбе стоит так: кому по главным параметрам властвовать в России — государствообразующему русскому народу или небольшой, но крепко организованной, политически и экономически мощной еврейской прослойке? Вопрос «о квотах» и «национальных представительствах» во власти только запутывает и маскирует суть дела. Поэтому русско-еврейский вопрос надо всегда выводить за скобки законопроектов о национальных отношениях, ибо такая постановка нарочито уравнивает евреев с чеченцами, татарами, якутами и лишь уводит от понимания главного — между русскими и евреями идет борьба за власть в России...

Порой и мы, как попугаи, повторяли вслед за профессиональными провокаторами «тоталитаризм!», «тоталитаризм!», не понимая того, что загоняем сами себя в ловушку.

Что такое тоталитаризм? Это мобилизация всех сил. Это подчинение личной воли — народно-государственной необходимости, это табу на все излишества, варианты, версии, эксперименты в материальной и культурной жизни. Это ограничения права во имя долга. Вообще вся русская жизнь — это не жизнь права, а жизнь долга.

Поскольку великое русское государство рождалось и жило в экстремальных исторических условиях, на тех широтах, где невозможны великие цивилизации, возникло, как «пламя в снегах», и его рождение и развитие потребовали от народа и его вождей столь нечеловеческого, тоталитарного, мобилизационного напряжения на протяжении сотен лет, а значит, такого рода постоянный «тоталитаризм» есть естественное состояние русской жизни и русской истории. И для нас сей термин не должен быть каким-то пугалом. Без «тота-

литарной прививки» к нашему историческому древу мы не могли бы существовать. Отсюда и плановое хозяйство, и административная система, и власть центра со всеми их достоинствами и недостатками.

Но, как говорится, по одежке протягивай ножки, не жили богато — нечего начинать, помирать собрался, а рожь сей... Забыли мы эти народные истины. Забыли в жажде перемен, что советская власть — это не только геронтологические старцы и не только тринадцать тысяч солдат, погибших в Афганистане... Это еще и поистине подвижнический труд нескольких поколений, обеспечивших нам к середине 70-х годов пользуемые не элитой, а всем народом простые, но необходимые для него блага, — без которых невозможно скромное и надежное благополучие народа и его воспроизводство: бесплатная вода, почти бесплатный газ, копеечное электричество, почти ничего не стоившие почта, телеграф, телефон, доступный каждому самому небогатому человеку поезд и самолет... А о бесплатных медицине, образовании, спорте, детсадах и яслях и говорить нечего... А бесплатное жилье, бесплатные шесть соток земли, почти дармовые книги, почти бесплатный хлеб.

— Что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость? — как говорил один из героев фильма «Белое солнце пустыни».

Да разве можно было алчной части нашей и мировой элиты мириться с тем, что все эти богатства принадлежат не им?

Помню, в ту эпоху я часто работал зимой в домах творчества — в Дубултах, в Малеевке, в Ялте... Дома писателями не заполнялись, а потому отдыхать туда приезжали шахтеры, думаю, что в среднем они были не беднее писателей, ибо наши дома сотрясались от веселья и разгула этих денежных, крепких, умеющих работать и гулять людей...

Никогда ни один народ в истории не владел, и уже никогда не будет владеть этими простейшими и необходимейшими благами цивилизации в той степени, в какой ими владел советский народ, работавший на себя и плохо понимавший, какими богатствами он располагает...

* * *

Будучи недавно в Китае на днях русской культуры, я встретился с главным редактором журнала «Знамя», моим давнишним знакомым по 60—80-м годам, Сергеем Чуприниным.

Когда-то он писал предисловие к однотомнику моих стихов (1979 г.), вполне патриотичное и эмоциональное, потом постепенно перешел в лагерь будущих прорабов перестройки, возглавил журнал, где несколько лет подряд журналисты, писатели, политики разрушали наш Союз и наш образ жизни, и вдруг в Китае мрачно пожаловался мне, что все, мол, получилось не так, как предполагалось ему. Что журнал «Знамя» дышит на ладан, культура гибнет, писатели-демократы в отчаянье.

— На что жаловаться, Сережа, — ответил я ему. — Ваше положение хуже нашего. Мы честно боролись, но у нас не хватило сил в борьбе за Россию. Мы — побежденные, а вы — обманутые. Вам тяжелее, вас просто кинули. Как и положено на воровском рынке. Использовали и кинули...

А ведь целое десятилетие журнал «Знамя» героизировал и прославлял имена диссидентов 70—80-х годов — Галича и Аксенова, Ростроповича и Эрнста Неизвестного, Любимова и Бродского, Войновича и Алешковского. Помнится, как Майя Плисецкая, выступая по телевидению, в то время сказала о деятелях культуры третьей эмиграции:

— Они уехали потому, что им было плохо. Если бы им было хорошо, они бы не уехали.

А Рубцову хорошо было жить в нищете, сидеть свои последние дни в комнатке вологодской коммуналки, петь, склонясь над гармошкой: «Я в ту ночь полюбил все тюремные песни, все запретные мысли, весь гонимый народ!»

А Шукшину легко было пробиваться со своими кровоточащими рассказами и фильмами сквозь строй чиновничьего равнодушия?

А Варламу Шаламову, отсидевшему в лагерном аду двадцать с лишним лет, легко было вспоминать Колыму и в своем

убогом доме престарелых наносить на бумагу события и судьбы, от одного описания которых кровь застывает в жилах?

А покойному Владимиру Чивилихину, чью книгу «Земля в беде» рассыпала цензура, легко ли было?

А Михаилу Алексееву легко ли и хорошо ли было вспоминать, писать и печатать и проволакивать сквозь цензуру первую в нашей истории книгу о голоде 30-х годов, который пережил он, крестьянский мальчик, чтобы рассказать, как обезлюдело от геноцида русское Поволжье?

Барышникову, Макаровой, Нуриеву, Крамарову, Ал. Глезеру, Корчному было плохо... Почему? Их не учили танцевать? Или плохо выучили играть роли? Или не давали зарабатывать на жизнь бездарными переводами?

А зачем оставались на Западе наши дирижеры, фигуристы, виолончелисты, певицы, политики, дипломаты, летчики? Что, им тут, на родине, Бетховена играть не давали? Выступать в чемпионатах страны запрещали? Танцевать в Большом театре или в Мариинке отказывали? Петь арию Розины не дозволяли? Нет, все гораздо проще и сложнее. Проще, потому что — будем глядеть правде в глаза — эти профессионалы высокого класса ценили себя гораздо дороже, нежели общество могло им платить. Так что причины для «плохо», будем откровенны, были. Они, много поездив по миру, поглядев на образ жизни себе подобных, на машины, виллы, особняки великих артистов мира, справедливо сочтя себя не менее талантливыми и не менее заслуживающими не меньших благ, пришли к естественному выводу. Неопределенное понятие «*им* было плохо» отлилось в точную формулу: «Нам мало платят. Не по нашему таланту. Живя на Западе, мы можем в этом отношении стоять вровень с ними». И те, кто уехал, по-своему были справедливы в своих претензиях. Мы платили им мало. Что делать! Опять начнем скучные подсчеты: пять миллионов жертв в гражданской войне, два всенародных голода, репрессии Красного террора, геноцид, расказачивание, индустриализация, колхозы, Великая Отечественная, разруха, и снова в который раз возрождение жизни. Когда умерла моя

мать — хирург высокой квалификации, всю жизнь работавшая на нескольких работах, на сберкнижке у нее были деньги лишь на похороны (правда, была уже хорошая квартира и нормальная пенсия). Как мог советский зритель, вынырнувший из этого гигантского котла, перекипевший в нем всю войну, все послевоенное лихо, живший в растяжку жил человеческих, как мог этот средний советский человек, едва-едва обросший кожей с середины 60-х годов, платить за билет в какой-нибудь Большой или Мариинский театр, или в цирк, или Консерваторию, сумму, эквивалентную сотням долларов, а именно такова стоимость билетов на концерты актеров подобного уровня на Западе, стоимость, лежащая в основе их банковских счетов, вилл, яхт, путешествий, стоимость, говорящая о том, что они едут туда обслуживать западную элиту.

Да, мы были бедны, чтобы оплачивать все амбиции и запросы талантов нашего времени. Мало они получали от бедного народа. И ясно видели, что больше в ближайшее время не получат. Оттого-то, по их словам, «им было плохо». Ибо они не могли взять больше, чем мы могли им дать. А мелкие подачки государства — компенсации в виде Государственных премий, орденов, званий — уже всерьез никого к концу 60-х годов не интересовали...

Значит, надо жить там, где хорошо. Но те современные русские писатели, которым было «плохо» здесь, но кому и в голову не приходила мысль, чтобы из-за этого куда-то эмигрировать, понимали и понимают призвание писателя — гражданское, по-пушкински, а не по-диссидентски («но, клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество»).

Кто-то уехал потому, что не мог в наших условиях удовлетворить жажду политической деятельности, и это понятно. Кто-то, чтобы остаток жизни попить пиво в парижских бистро и всласть потрепаться с друзьями, наезжающими из Союза. Ей-богу, не могу осуждать за подобную слабость! Кто-то мир посмотреть, пошляться по городам. Кто-то вволю порусофобствовать... Но больше всего мне были смешны наши чиновни-

ки, ахавшие при этом: «Ну такому-то имярек чего надо было? И лауреат, в народный, и дача есть, и ордена, и почет! Чего же еще надо? Все у него было!» И не понимали своими мозгами наши администраторы, что это «все у него было» — лишь по нашим очень скромным масштабам. А там масштабы и счета другие. Вот он, идеал, тот самый, о котором как о коммунистическом будущем мечтал Евтушенко в романе «Ягодные места», когда изображал диалог сибирского лесоруба со своей женой:

— А что, Маш, не махнуть ли нам в отпуск на Гавайи? В Швейцарии мы в прошлом году были, надоела Европа, давай на Гавайи!

Вот такими картинами словоблуд со станции Зима соблазнял в те времена ныне забытых Богом и людьми сибирских лесорубов.

А что касается людей вроде Василия Белова, Валентина Распутина, Юрия Кузнецова, Дмитрия Балашова, то их несчастье (или счастье?) заключалось в том, что они были людьми такой породы, что и протоиерей отец Сергий Булгаков, который в автобиографических заметках писал:

> Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с матерью-землею и со всем Божиим творением... Моя родина, носящая для меня имя Ливны, небольшой городок Орловской губернии, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его... Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существе, так что дальнейшая моя, такая ломаная и сложная жизнь, есть только ряд побегов на этом корне. Все мое оттуда...

Вот где собака зарыта. Все очень просто. Там деньги и свобода. Здесь вера и любовь.

Ибо ни Бродский, ни кто-либо другой из третьей эмиграции ничего похожего тому, что сказал о себе С. Булгаков, сказать не мог. В его словах воплотилась глубинная суть русско-

го патриотизма, запрещенного официальной идеологией уже в начале 20-х годов. Так чувствовали Бунин и Зайцев, Соколов-Микитов и Шмелев, Шаляпин и Цветаева. Такой же связью родины и души жили Николай Рубцов, Владимир Солоухин, Анатолий Передреев, ею жили и живут многие сегодняшние русские писатели — Лихоносов, Личутин, Лобанов, Крупин... У их антиподов чувства иные. Погибла Россия или не погибла, пропадает или возрождается — это их мало интересует. Их не отягощают такие «предрассудки» сегодняшнего мироощущения, как патриотизм, ностальгия, лоно матери. Именно такой вывод можно сделать, читая книги этих писателей, изданные на Западе после «выезда».

Бунин, Куприн, Цветаева, Шаляпин, Шульгин, Рахманинов покинули Россию потому, что, по их убеждению, в те времена их Россия — погибала и погибла. Они не примерялись заранее к такой судьбе, не налаживали во время «творческих командировок» связей, не подстилали соломки, не заключали предусмотрительно ради аванса (хоть что-нибудь урвать!) договоров в советских издательствах, не давали предварительных интервью всяческого рода западным корреспондентам, не надеялись на счета в швейцарском или иных банках, заранее открытые. Наши диссиденты долго торговались с идеологическим аппаратом — уезжать или не уезжать. И на каких условиях. Их уговаривали, удерживали, покупали... Но дать всего, что они просили, даже всесильные чиновники того времени не могли.

Однажды в конце 70-х годов, разговаривая с умным и достаточно ироничным Сергеем Наровчатовым, я спросил его: «Почему наша идеологическая система, всячески заигрывая до определенного предела с деятелями культуры «западной ориентации», снимая их недовольство всяческими льготами, зарубежными поездками, тиражами, госпремиями, дачами, внеплановыми изданиями, — почему одновременно она как к чужим относится к людям патриотического склада?» (Как раз в то время громился роман Пикуля «У последней черты», партийная и литературная пресса разносила статьи и

книги В. Крупина, В. Кожинова, М. Лобанова, Ю. Лощица, «Коммунист» пером комсомольско-партийного карьериста Юрия Афанасьева осуждал издание беловского «Лада» и т. д.) Сергей Наровчатов посмотрел на меня мутными, когда-то голубыми глазами и без раздумья образно сформулировал суть идеологического парадокса: «К национально-патриотическому или к национально-государственному направлению власть относится словно к верной жене: на нее и наорать можно, и не разговаривать с ней, и побить, коль под горячую руку подвернется: ей деваться некуда, куда она уйдет? Все равно в доме останется... Тут власть ничем не рискует! А вот с интеллигенцией западной ориентации, да которая еще со связями прочными за кордоном, надо вести себя деликатно. Она как молодая любовница: за ней ухаживать надо! А обидишь или наорешь — так не уследишь, как к другому в постель ляжет! Вот где, дорогой Станислав, собака зарыта!»

* * *

Когда я оскорблен и унижен системой, чиновниками, идеологией, — я вспоминаю письмо Пушкина к Чаадаеву:

> Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, как литератора — меня раздражает, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал.

Сентиментальный Александр Сергеевич! Как вы старомодны!

А «сатирики» — не сентиментальны. Осмеять, вывернуть наизнанку, унизить — это у них получается само собой. Оно, конечно, легче, нежели мучиться, любить, страдать. Тут другой дар нужен. Да какой там дар — просто другое сердце и другая душа... Диссиденты любили козырять именем Ахмато-

вой. А эта мужественная женщина ведь многих эмигрантов-писателей той эпохи уязвила своей сверхчеловеческой гордыней — ни строчки, начиная с двадцать третьего по 1940 год, не напечатала Анна Ахматова — черпая силу и веру в чувстве Отчизны, которое было настолько цельным, что тревожило совесть великой первой эмиграции:

В кругу кровавом день и ночь —
Долит жестокая истома.
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома.
За то, что город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду...

...Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной!
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А уж как выглядели рядом с этим несокрушимым чувством литературно-бизнесменские импульсы последней волны диссидентства — говорить не приходится... Ошиблась Ахматова: хлеб Ростроповича и Аксенова пахнул не полынью, а пресс-конференциями, шампанским, черной икрой...

ВОЗДУХ ПОРАЖЕНЬЯ

Действуйте, Борис Николаевич!
М. Чудакова

Первое октября 1993 года. Золотая осень. Синее чистое небо. Желтые березы, липы, клены — любимые есенинские деревья — нехотя роняют листья на еще теплую рязанскую землю... Сотни людей на поляне неподалеку от села Даровое. Открытие памятника Федору Михайловичу Достоевскому в его родовом имении...

А в покинутой нами Москве кипят страсти — противостояние Кремля и Белого дома достигло предела. О, если бы это была схватка двух кланов в борьбе за власть! Нет, дело пострашнее и посерьезнее: за каждым из этих властных кланов так или иначе стоят надежды, страхи, воля, корысть, гнев, жажда справедливости и возмездия не то чтобы сотен тысяч — миллионов граждан! И если вспыхнет война — то и называться она будет гражданской...

Однако меня приглашают выступать. Я оглядел поляну, разноцветную толпу, оглянулся на своих писателей — и собратьев, и недругов, вдохнул полной грудью холодный, настоянный на привядшей листве осенний воздух и, словно бы почувствовав еще раз горячую волну людского раздора, долетевшую от Москвы до рязанской земли, поднялся на трибуну:

— Поистине в роковые дни мы открываем памятник Достоевскому: бесы правят бал в сердце России — Москве, и в сердце Москвы — Кремле. Святое место! Но именно туда их тянет, поближе к святости!

Я сделал паузу, поднял глаза и увидел пылающее гневом лицо Юрия Карякина, вспомнил, что некогда он написал лю-

бопытную книгу о Достоевском, и втиснул свои мысли в единственно возможное в эти дни русло:

— Достоевский проклял бесов революции, но лишь после того, как прошел через социалистические соблазны. Соблазны же капитализма, рынка и демократической антихристианской власти денег для него были настолько ничтожны и омерзительны, что он в них никогда даже и не впадал. Тайна Достоевского — это тайна русской народной души, русской истории, русского Бога, которых всегда страшился и ненавидел Запад. И тот, кто сегодня пытается подчинить Россию западной рыночной воле, — тот враг Достоевского и слуга Великого Инквизитора.

Ах, Федор Михалыч, ты видишь, как бесы
уже оседлали свои «мерседесы»,
чтоб в бешеной гонке и в ярости лютой
рвануться за славою и за валютой!

...Я сходил с трибуны, а навстречу мне с горящими глазами уже рвался Юрий Карякин. Он стал выкрикивать в толпу слова о том, что я не прав, что настоящие бесы сидят не в Кремле, а в Белом доме, но мне все это уже было неинтересно, потому что я и говорил, и думал о чем-то другом... Когда Карякин сошел с трибуны — мы оказались рядом, и каждый из нас сказал друг другу еще несколько «ласковых» слов.

После шумного и многолюдного банкета мы возвращались на « Икарусе» по ночному шоссе в Москву, без обычного в подобных случаях бестолкового веселья, скорее угрюмо и почти молча. Завтрашний день по всем предчувствиям не сулил никому из нас ничего хорошего...

* * *

Вечером второго октября я вышел из метро «Краснопресненской» и пошел по мокрой, холодной брусчатке к тыльной стороне Белого дома... Я подошел к зловеще побле-

скивающей паутине «спирали Бруно», окружившей молчаливое здание. Возле прохода сквозь проволоку толпились мордатые омоновцы, в бушлатах, бронежилетах и тяжелых ботинках, с автоматами наперевес.

— К Белому дому нельзя! Не нужны мне ваши документы, я и смотреть их не буду! — отрезал старший из них в ответ на мою просьбу.

— Я представитель Конституционного собрания! — раздался чей-то голос у меня за спиной. — Чинить мне препятствия вы не имеете права!

Я оглянулся. За мной стоял высокий худой человек в очках, в легком светлом плаще, он поеживался от холодного ветра и протягивал омоновцу какое-то удостоверение. «Да это же Олег Румянцев!» — вглядевшись в него, сообразил я.

— Мне приказано внутрь заграждения не пропускать! — отрезал омоновец.

— Ну вот, Олег Александрович! — обратился я к Румянцеву. — Где она, ваша Конституция?

Румянцев беспомощно и демонстративно развел руками, и мы, повернувшись, отправились обратно к метро...

Но спускаться в чрево метрополитена мне расхотелось, и я решил добраться до дома через «Белорусскую» и «Динамо» пешком.

Я шел по пустынным, притихшим в ожидании близкой беды улицам и вглядывался в Москву, за два года ставшую чужой и непонятной. Я остановился, рассматривая рекламные щиты, вчитывался в тексты, пытаясь понять время, врасплох окружившее меня, раздумывал, делал какие-то записи в блокноте, фиксируя все язвы и метастазы новой эпохи...

Всякий общественный строй волей, верой, коллективным разумом вырабатывает свою идеологию. Она живет в речах и книгах, выявляется в действиях и поведении политиков. Но политики имеют дело с массами, и для них правящая элита всегда стряпает выжимки, концентраты, сгустки из своих политических программ и своего мировоззрения.

Помните лозунги советской эпохи? «Мир народам! Земля — крестьянам! Фабрики — рабочим!», или «Пятилетку в четыре года!», или «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

Они, эти лозунги и клише, были в свое время необходимы и полны живого биения общественной крови.

Потом их сменили казенные, лишенные энергии формулы, от которых никому не было ни холодно, ни жарко: «Экономика должна быть экономной», «Народ и партия едины», «Храните деньги в сберегательной кассе».

Сегодняшнее время также тужится сочинять свои идеологемы.

Это даже не плакат, а скорее громадный экран: путана с томным взглядом предлагает новому русскому: «Поедем в Сохо!» Для широкого читателя поясним, что Сохо — это известный злачными местами, игорными и прочими сомнительными домами район Лондона...

А что стоят перл философско-рыночного агитпропа возле стадиона «Динамо»: «Если хочешь быть счастливым — будь им», — нарисованы мужчина с женщиной, а руках у мужчины пачка каких-то американских сигарет. Но рекламируются не только сигареты, рекламируется идея, что в этом мире все зависит от тебя самого. Текст по холодному цинизму напоминает изречения, висевшие в Освенциме: «Труд делает человека свободным». Вершина рыночно-демократической идеологии.

А как целенаправленно и подло на уличных и площадных стендах и на телеэкранах выхолащивается священный смысл высоких («сакральных») слов и понятий. Обратите внимание: чуть ли не в любой рекламе есть хотя бы одно высокое и близкое душе любого человека слово: «Колготки Сан-Пелегрино прочные, как истинные чувства», «Маги — вкус к творчеству», «Страсть как люблю казино Шатильон...», «Новая эра напитков». Ну «эра» — и ничуть не меньше! У Белорусского передо мной возник Илья Муромец, распрямивший на фойе ночного неба мощные плечи, раскинувший крепкие руки лишь для того, чтобы произнести: «Богатырский шоколад, а

цена все та же!» Слово «богатырский» осквернено, выпотрошено, использовано на потребу. Все, как в повести Шукшина «До третьих петухов», когда черти, осадившие монастырь, предлагают монахам такие условия мира: «А вы вместо ликов своих святых — наши рожи на иконах намалюйте, и кланяйтесь им, и молитесь!»

Случайностей в этой коварной системе выхолащивания высокого смысла слов нет. «Это для мужественных мужчин, сильных духом» — три сакральных слова ради рекламы какого-то паршивого одеколона.

А как не повезло слову «совершенство»? Передо мной на металлических опорах щит, на котором изображены сначала обезьяна, потом питекантроп, потом современный человек в обнимку с бутылкой какого-то немецкого пива, и все украшено надписью: «Путь к совершенству».

Поистине, в такого рода сюжетах дьявол хихикает и потирает руки, видя, как со свистом выходит дух святости из слов, который копился в них всю историю человечества, поскольку власти денег могли противостоять лишь святость, мужества, самоотверженность. Но этого мало. С особенным рвением мелкие бесы, ненавидящие все величественное, сводят счеты с советской историей.

Вот он — у часового завода — громадный квадрат; на фойе синего неба летят куриные тушки, а над их вереницей строка из гимна авиаторов 30-х годов: «Все выше, все выше и выше стремим мы полет наших птиц».

А такой шедевр вам не встречался? Бритоголовый молодой толстячок с накачанными бицепсами в спортивной форме. «30 часов в сутки спорт» — и дальше фраза, в которой выплеснулась вся лакейская ненависть торгашей к героям: «Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Плевок в роман «Как закалялась сталь». Мародеры в импотенты издеваются над эпохой Чкалова, Водопьянова, Стаханова, Николая Островского...

Да, чтобы понять, что случилось с Россией, надо, сосредоточившись, пройти по пустынной ночной Москве. «Рабочий

и колхозница» — поддерживавшие некогда, как атланты, равновесие мировой жизни, ныне вздымают на своих мускулистых руках какую-то ничтожную пачку сигарет. Скульптура гениальной Мухиной, словно огненный сгусток расплавленного металла, вырвавшийся из жерла Магнитки и Кузбасса и застывший в холодном воздухе вечности!

А что дальше? Поскольку на водочных этикетках, на сигаретных пачках и в рекламных клипах давно уже мелькают лики Пушкина и Чайковского, Есенина и Гагарина — людей с духовным ореолом, — то остается только ждать, что скоро в рыночно-рекламный обиход враг рода человеческого внедрит лики Спасителя, Богородицы, Николая Угодника.

А как подло-продумано оскорбляется женское естество рекламой пресловутых прокладок. Дело тут даже не в прямом натуралистическом комментарии к интимнейшим сторонам жизни женской природы. Если бы только это!..

Раз в месяц, согласно таинственным законам естества и лунного календаря, разработанного и утвержденного Создателем, женщина приготовляется к мистическому акту зачатья жизни. Се — тяжелый подвиг, требующий внутренней собранности, почти молитвенной сосредоточенности, целомудренной самоуглубленности... А на экранах TV — подобное состояние изображается как пустяковый, досадный и почти постыдный недуг, вроде инфекции или насморка, мешающего прыгать, танцевать, «оттягиваться»... Это и есть десакрализация самых что ни на есть священных для всех народов и религий глубин жизни. Расстреливать людей за то, что они не желают жить под властью тотальной «рыночной тирании»?! А Иисус Христос, который за всю свою земную жизнь, глядя на различные грехи, пороки и слабости людские, лишь однажды испытал чувства ярости: когда столкнулся с рыночным чудовищем, вторгшимся даже в храмы. И тогда он «начал выгонять продающих и покупающих в храме»; и «столы меновщиков (обменные пункты. — *Ст. К.*) опрокинул», «и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех»... (Евангелие от Иоанна 2, 21.)

Поистине — «вначале было слово», и потому сатанинский рынок в первую очередь пытается уничтожить его святость.

...Вот о чем я думал, когда брел по Москве сквозь строй рыночного агитпропа в холодную, пустую, чреватую бедой ночь второго октября 1998 года.

А осенью 1999 года — ровно через шесть лет — я убедился, насколько за эти годы жизнь приблизилась к апокалипсису, когда увидел на Зубовской площади — над фасадом десятиэтажного жилого дома — необъятный, занимающий полнеба стенд, который мог бы украшать какую-нибудь центральную площадь Содома или Гоморры; громадная рожа декольтированного существа, украшенная дебильной улыбкой, выпученные глаза, вывалившийся язык и текст: «Оргия гуманизма в гостинице Редиссон-Славянская. Ежедневно с 24 часов. Дети до 16 лет не допускаются »...

Ну как тут не возненавидеть «гуманизм», вместе с «мужеством», «совершенством», «богатырством» и «творчеством»!

В октябре 93-го на берегу Москвы-реки был расстрелян не просто парламент...

* * *

Третьего октября в шесть часов вечера я на своей машине подъехал к телевизионному центру «Останкино».

В восемнадцать тридцать в передаче «Русский дом» должен был начаться наш разговор с ведущим Александром Круговым я поэтессой Ниной Карташевой о Сергее Есенине, разговор, приуроченный ко дню рождения поэта — четвертому октября.

Я вышел из машины, проверил, со мной ли несколько четвертушек бумаги — моя размышления о Есенине, которые я обдумывал последние два дня и очень дорожил ими, считая, что сделал некоторые открытия, и двинулся к центральному входу... Мелькнула беглая мысль: почему-то перед центральным входом нет машин — обычно тут бывает трудно припарковаться. На ходу отметив подобную странность, я толкнул

вертящуюся стеклянную дверь и попытался войти в вестибюль. Но не тут-то было. Два человека в пятнистой форме с автоматами на груди перегородили мне дорогу:

— Телецентр закрыт!

— Как закрыт? У меня через полчаса передача, меня ждет Александр Крутов.

— Ничего не знаем. Все сотрудники отпущены уже в четыре часа. Бюро пропусков закрыто.. Уходите. Только поворачивайте сразу налево. А то, если пойдете направо, вас могут обстрелять...

Совершенно ошеломленный» я вышел из вестибюля и огляделся: пустынная площадь, лишь возле углового входа, близкого к концертному залу, стояла небольшая толпа — несколько десятков человек — и слушали какого-то оратора. От нечего делать я подошел к кучке людей, сгрудившихся на ступеньках наглухо закрытого бокового вестибюля. Человек с мегафоном что-то говорил о преступлениях режима, о фашиствующем ОМОНе, рядом, вдоль стены, сливаясь с серым камнем, стояла цепочка солдат, к которым время от времени подходили женщины и уговаривалы солдатиков-дзержинцев не ввязываться в борьбу с народом. Солдаты молчали, слушали, не спорили.

— Да здравствует наша народная армия, которая никогда не станет стрелять в народ! — провозгласил человек с мегафоном. — Ура-а!!! — Его возглас подхватили люди, стоящие на ступенях.

Солдаты молча и растерянно переглядывались, крутили головами, явно чувствуя себя не в своей тарелке...

— Читайте списки палачей России! — раздался голос у меня за спиной. Я оглянулся: желтоволосый паренек в замызганной голубой куртке торговал какими-то тощенькими брошюрками.

— Что у тебя?

— Списки палачей России 1919—1939 годов.

Я перелистал брошюрку с фамильными списками ЦК, Комиссариата иностранных дел, ЧК, ОГПУ, НКВД... Ягода, Агранов, Френкель, Гамарник, Берман, Фриновский, Якир...

— Спасибо, я все это знаю.

— Все знать невозможно!

Паренек отвернулся от меня и замахал брошюркой;

— Читайте списки палачей России!

А между тем народ стал прибывать со стороны ВДНХ, как вода во время половодья. Повалили сразу толпами, какие-то автобусы подъезжали с людьми — возбужденными, разгоряченными, только что, как я потом выяснил, прошедшими горячий путь от Крымского моста к мэрии и Белому дому.

— Мэрия наша!

— Белый дом освобожден!

— Блокада прорвана!

— Ура баркашовцам!

Я оглядывал снующих взад-вперед людей — в куртках, в сапогах, в телогрейках, безоружных (лишь у некоторых, вновь прибывших на автобусе и пытавшихся ровным строем войти в ворота перед вестибюлем, были щиты, видимо отобранные у омоновцев). Но на лица было радостно смотреть — живые, возбужденные, одухотворенные, с горящими от победного восторга глазами.

— Мэрию взяли — даешь Останкино?

«Вот так же пугачевцы взяли Белогорскую крепость и закричали: «Даешь Оренбург!» — подумалось мне.

Неожиданно в клубящейся толпе я столкнулся лицом к лицу с журналистом, когда-то работавшим в Останкино:

— И чего они шумят, кругами ходят? Если брать Останкино, то надо брать вон то маленькое здание, где технические службы. А тут делать нечего...

— Ну, скажи им об этом!

— А кому сказать-то? — Он поглядел на меня выпученными глазами. — Я только что от мэрии! Ну, баркашовцы молодцы, бесстрашные ребята. Заместителя Лужкова Брагинского захватили, главного мафиози!

Чтобы унять волнение, мы отошли и сторону, закурили.

— А где твоя машина? — спросил он.

Я показал ему на моего одинокого «жигуленка», стоявшего перед центральным входом.

— Слушай, дело серьезное, тут кровью пахнет, ты бы его отогнал куда-нибудь в переулок.

Я послушал его, отогнал машину в торец техценра и вернулся обратно. Интересно, чем все-таки все закончится. История на глазах творится!

...Холодный осенний закат освещал волнующуюся и все увеличивающуюся толпу, не знающую, что ей делать дальше, и какое-то внутреннее напряжение от этого незнания нарастало в воздухе с каждой минутой. Время от времени некие авторитетные лидеры, стоявшие на ступеньках возле микрофона, выбегали на проезжую часть и из-под ладони вглядывались в приближающиеся машины и автобусы:

— Наши едут или не наши?

Машины приближались, и вздох облегчения вырывался из глоток:

— Наши!

Вдруг меня осенила мысль: а почему бы не пробиться к мегафону и не прочитать две странички из моих размышлений о Есенине? Ведь в них идет речь об освобождении России, а это освобождение вершится сейчас на моих глазах. К тому же не худо напомнить мятущейся толпе о том, что завтра день рождения ее великого поэта. Подавши плечо вперед, я стал протискиваться по ступенькам к человеку с мегафоном, но через несколько шагов уперся в плотную людскую массу.

— Куда лезешь?

— Я слово хочу сказать!

— Какое слово, кто ты такой?

— Я редактор журнала «Наш современник», должен был выступить сегодня по телевидению, у меня есть небольшое слово о Есенине...

— Ну, мы Есенина уважаем и ваш журнал тоже, но разве не видите, что творится? Народное восстание, конец оккупационному режиму! Вот возьмем Останкино, тогда и расскажешь о Есенине... А сейчас смотри, народ к техцентру двинулся, пошли!

Мы перетекли через дорогу и расположились возле бордюра, обрамлявшего подземный переход. Вечерело. Осенние сумерки наваливались на Москву. лишь алая полоса заката со стороны Ботанического сада освещала море людей, отсвечивалась в стеклянных стенах техцентра, где на втором этаже можно было видеть сквозь щели в шторах какое-то движение, перемещение фигур, не предвещавшее всем стоявшим внизу ничего хорошего.

— Какая сволочь Ельцин! — выругался кто-то за моим плечом. — До чего довел народ — до бунта. Ну, теперь все рухнет... Анархия... Пугачевщина!

Я оглянулся. Трое молодых людей, упакованных в дорогие модные пальто и кожаные куртки, стояли за мной и нервно всматривались в стеклянную громаду телецентра. Один из них узнал меня:

— Здравствуйте, а мы из «Коммерсант дейли». Ну скажите честно, если вы придете к власти, вы наше издание не закроете?

— Ну что вы, — как можно радушнее улыбнулся я. — Вот у нас-то и будет настоящая демократия!

...А людское половодье все прибывало и разливалось все шире, захватив широкий тротуар и проезжую часть перед телецентром. Резкий октябрьский ветер трепал в наступающих сумерках и красные, и черно-золотые монархические флаги, московские гавроши, как галки, торчали на деревьях, вглядываясь в группу людей, пытающихся пройти через центральный вестибюль в осажденное здание.

— Макашов приехал. Макашов! — зашелестело в толпе, и как будто в ответ на этот шелест мелькание теней на втором этаже стало более быстрым и лихорадочным.

Я обратился к «дейликоммерсантам»:

— Давайте-ка, ребята, поближе к бордюру, в крайнем случае, когда что-либо начнется, укроемся.

— А начнется? — со страхом спросил меня один из них.

— Конечно же начнется...

И как бы в подтверждение моих слов из сумерек, раздвигая толпу, словно громадный звероящер, выполз то ли КрАЗ, то ли КамАЗ, развернулся и уставился своим рылом в застекленную дверь центрального входа. У меня сжалось сердце: идиоты, неужели будут таранить двери? Ведь для того чтобы войти в вестибюль, достаточно взять длинные водопроводные трубы, которые грудой были навалены на тротуаре вдоль всего застекленного первого этажа, выбить стекла и через пять минут хоть сто, хоть тысяча человек гуляла бы по коридорам и аппаратным техцентра. Но кому-то захотелось эффектного зрелища, которое потом сотни раз тиражировалось на экране!

Почти уже в полной темноте металлический звероящер подполз к входу, чуть разогнался и с ревом ударил в стеклянную дверь своим тупым рылом. Зазвенели стекла, толпа взвыла от ужаса и восторга. Звероящер дал задний ход и опять с разгона попытался въехать в вестибюль, но его высокая кабина не пролезала под перекрытие, и машина, вонзив рыло в дверной проем, застряла. Водитель, видимо, ошалев от ярости, снова включил задний ход, снова разогнался вперед, пытаясь протиснуть машину в чрево здания, и снова она загрохотала, застонала, заскрежетала и не пролезла под бетонное перекрытие первого этажа. Во тьме ревел на холостом ходу мотор, с криками колыхались туда-сюда людские массы, звенели стекла, и мы, как оглушенные, смотрели на эту отчаянную попытку взять бастион четвертой власти в конце двадцатого века пугачевским нахрапом... КрАЗ снова дал задний ход, и вдруг от вестибюля донеслись угрожающие крики:

— Отойдите! Отойдите от дверей как можно дальше!

Толпа, видимо, узрев что-то недоступное моему взору, — мы все-таки стояли метрах в пятидесяти от входа — подалась, и вдруг меня ослепил блеск пламени и оглушил грохот.

«Гранатомет!» — мелькнуло у меня в сознании, и в следующий миг над нашими головами раздались автоматные очереди со второго этажа, оттуда, где все время мелькали какие-то тени. Гильзы звонко зацокали о бетонные плиты, и мы рухнули за спасительный гранитный бордюр, прижимаясь

друг к другу... Когда через несколько минут стрельба ослабла, я поднял голову, увидел в темноте лежащих, встающих, шевелящихся, начинающих передвигаться людей и сам короткими перебежками, почти на четвереньках, выбрался, как мне показалось, в «мертвую», непростреливаемую зону в направлении цоколя и побежал к моей одиноко стоявшей машине. Нескольких автомобилей, возле которых я поставил свой, уже на тротуаре не было...

По дороге я вдруг заметил лежащего за фонарным бетонным столбом паренька в голубой куртке, рядом с ним валялась разбросанные, шевелящиеся от ветра брошюрки. Одну из них, наклонившись, я схватил на память об этом дне: «Списки палачей России 1919—1939 годов». 3 и 4 октября эти списки щедро пополнились...

* * *

Пятого октября ко мне в редакцию пришел пожилой человек, небритый, с землистым лицом и безумным взглядом.

— Вы знаете, что вчера творилось в Останкино? На моих глазах две женщины, хорошо одетые, прогуливались в роще за прудом с собачками... Дорогими, породистыми... «Бэтээры» начали стрельбу по деревьям, под которые убегали от телецентра люди. Одну женщину с собачкой ранило в плечо, а другой пуля разбила голову. И я видел, как собачка-такса бегала вокруг мертвой хозяйки и скулила!

В тот же день в газете «Известия» было опубликовано позорное письмо 42-х писателей, озаглавленное так: «Писатели требуют от правительства решительных действий». Судить, сажать, закрывать газеты, арестовывать. Ну, с Черниченко и Оскоцкого взятки гладки, они поистине бешеные. Но каково было читать, что это письмо подписали Ахмадулина, Левитанский, Кушнер, Таня Бек... Тонкие лирики, сердцеведы, поклонники Мандельштама. Помнится, что Мандельштам исповедовался эпохе: «Не волк я по крови своей»; «чтоб не видеть

ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе». А этим, якобы любящим Мандельштама, нашим поэтам хочется «решительных действий», они жаждут увидеть «кровавые кости в колесе», они «волки» по своей крови, до сих пор носившие для маскировки овечьи шкурки. Впрочем, Кушнер иногда проговаривался и раньше: «Дымок от папиросы да ветреный канал, чтоб злые наши слезы никто не увидал».

Немного времени прошло, а из этого списка призывавших к репрессиям многих уже нет с нами: Адамовича, Анфиногенова, Ал. Иванова, Нагибина, Лихачева (да, да, «совести» русской литературы! — Ст. К,), Савельева, Окуджавы, Разгона, Рождественского, Селюнина, Левитанского, Дудина, Иодковского... Они жаждали людского суда над своими коллегами, ан все случилось иначе. Поистине вспомнишь вещие слова русского поэта: «Но есть, есть Божий суд»...

Из литературного дневника тех дней:

«Раздавите гадину!» — заклинал с пеной у рта один из сорока двух подписантов, Юрий Черниченко, компанию молодых ребят, встретившихся ему на вечерней московской улице в кровавые октябрьские дни. Тут же рядом с Черниченко каким-то образом оказался телеоператор, записавший на пленку каннибальские призывы летописца брежневской эпохи. Откуда молодым людям было знать, что перед ними брызжет слюной не просто рассерженный пожилой человек, а один из главных певцов целины, автор киносценария о косноязычном генсеке, придворный журналист одного из самых могущественнейших и криминальных секретарей обкомов КПСС — краснодарского князька Медунова? Если он под «гадиной» подразумевал коммунистическую партию, то надо признаться, что он очень хорошо обслуживал ее в свое время. Но дело уже не в политическом лакействе, а в позорном невежестве писателя. Забыл он, должно быть (а может, и никогда не знал), что призыв идеолога кровавой Французской революции Вольтера «Раздавите гадину» относился к католической церкви Франции и что этим призывом воспользовались палачи якобинцы. Воплощая в жизнь безумный лозунг Вольтера, они жгли и грабили по всей Франции монастыри и церкви, вспарывали животы провинциальным священникам, топили их в Сене и Луаре сотнями, насиловали монахинь и справляли атеистические

шабаши по всей несчастной стране, предвосхищая деяния нашего антицерковного чекиста Губельмана-Ярославского, который тоже призывал «раздавить гадину» — русскую православную церковь.

Если бы молодые люди, перед коими у ночного костра на московской улице выступал Черниченко, знали, чем закончился призыв «Раздавите гадину» во Франции, — они бы отшатнулись в ужасе от полуночного агитатора, как от зачумленного. А именно таким он остался на телевизионной пленке: сумасшедшие, выкатившиеся из орбит глаза с кровавыми отблесками в них ночного пламени, лысый, сверкающий от бликов, потный, крупный, почти ленинский череп, искаженное, перекошенное от ярости и страха лицо, оскаленный рот с кариесными зубами, из которого несется утробное «Раздавите-е!!».

...Возле стадиона «Авангард», что на Красной Пресне, стоит Крест, окруженный временной оградой, у Креста горят свечи, лежат цветы, шевелятся под ветром траурные ленты... На стене стадиона имена погибших, стихи, проклятья палачам, фотографии погибших, и пропавших без вести. На том месте, где стоит Крест, погиб в октябрьские дни украинский священник. Когда из бронетранспортера лихие таманцы полоснули по толпе свинцом, отец Виктор бросился навстречу машине в священническом одеянии с крестом, поднятым над головой. Он надеялся, что стрелок, сидящий за пулеметом, прекратит стрельбу. Но молодой палач нажал на гашетку, и отца Виктора прошила свинцовая очередь, он упал, и стальная громада переехала бездыханное тело. Вот так буквально исполнилось требование писателя и члена Государственной думы Юрия Черниченко: раздавили...

* * *

В 1995 году слуги и пропагандисты ельцинского режима, чтобы оправдать октябрьское кровопролитие, издали громадную семисотстраничную книгу «Москва. Осень-93. Хроника противостояния».

Я, как очевидец останкинских событий, первым же делом перелистал страницы, их касающиеся, и сразу понял: книга эта замешена не только на крови, но и на лжи.

К 19.00 подъехали несколько десятков грузовиков с вооруженными защитниками Белого дома... Они были вооружены автоматами» (с. 381).

Ложь. Свидетельствую: кое-кто был вооружен омоновскими щитами и дубинками, отобранными у защитников мэрии. Автоматов ни у кого не было.

Один из боевиков Макашова произвел выстрел из гранатомета по ГТЦ... (с. 383)

Два оглушительных взрыва прогремело возле самых дверей, и сразу же с обеих сторон заговорили автоматы... (с. 385).

Прорезав толпу, два «Урала» стали попеременно таранить стеклянный холл здания (с. 384).

Ложь и в большом и в малом.

До сих пор неизвестно, что за провокатор («боевик Макашова»!) произвел единственный выстрел из гранатомета: автоматы заговорили лишь с одной стороны — со второго этажа телецентра, где, словно бы ожидая гранатометного сигнала, сидели наизготовку спецназовцы из «Витязя»; и «Уралов» было не два, а один...

Я понимаю, каков был заказ составителям и авторам этого сборника: убедить общество, что в Останкино был настоящий многочасовой бой с могучими, до зубов вооруженными «профессионалами-боевиками», а не просто хладнокровный расстрел безоружной толпы.

Выйдя на «переговоры», нападавшие открыли огонь из-под белого флага (с. 388).

Около семи вечера Александр Шашков, готовивший выпуск «Вестей», сообщил, что начался обстрел здания телецентра, вокруг вооруженные гранатометами боевики, разбиты окна концертного зала (с. 389).

А вокруг шел бой... (с. 392).

Все неправда. Однако, чтобы выдать ложь за правду, дополнительно к профессиональному лгуну Шашкову приводится мнение «профессионала».

Из докладной записки зам. командующего внутренними войсками МВД России генерал-лейтенанта П. В. Голубца (с. 405—415):

> Мятежники готовятся к штурму... Они убрали отсюда безоружных людей, на площади остались одни боевики.
>
> О том, что действуют профессионалы, я понял сразу: по выбору объекта, интенсивности огня и настойчивости штурма.

А на с. 384 читаем нечто противоположное:

> По их осанке и оснащению было видно — непрофессионалы.

Совсем запутались в своей мелкой лжи!

> Нами были отбиты три атаки. Поймите, состоялась не просто короткая перестрелка, а три атаки.

Свидетельствую: не то что трех атак — даже «короткой перестрелки» не было.

> Тремя выстрелами из гранатометов (на с. 385 — сказано, что было два, на самом же деле один. — *Ст. К.*) был дан сигнал для начала штурма.

А вот как излагает генерал историю гибели французского журналиста Ивана Скопана, который оказался «в толпе штурмующих» (да, я видел, как он упал, когда «витязи» осыпали толпу автоматными очередями), а потом, когда его, раненного, выносили с площади, откуда-то раздалась прицельная очередь, по поводу которой Голубец «профессионально» заключает: «Мятежники его добили». Вот вам и «честь имею»! Получил орден «За личное мужество». Еще бы, так расписать геройство частей, которыми он командовал:

> ...Мужество наших ребят, которые два с лишним часа выдержали жестокий огневой бой... (с. 413)

> Под огнем лежали два часа. И просто чудом не были поражены, ведь огонь был сумасшедшим. Как эти люди остались целы, это просто счастье. Бог спас (с. 415).

Еще бы не чудо: в окрестностях телецентра осталось лежать более сорока трупов. Но как «хорошо подготовленные профессионалы, вооруженные автоматами и гранатометами», не нанесли никакого урона спецназовцам и бэтээровцам, которые расправлялись с ними, как с цыплятами?! Эх, генерал, генерал, «три атаки» отбил, звездочку очередную получил на погоны, орден «За личное мужество»... Да за такую ложь погоны срывать надо!

В заключение хочу только добавить, что эта книга, вышедшая двумя изданиями (тираж 100 тысяч), была за баснословные гонорары составлена несколькими журналистами и одним известным литератором Валентином Оскоцким. А чего холуям было осторожничать, когда их пахан Ельцин, не стесняясь, лгал в «Записках президента» (с. 381, 130) о том, что «боевики, в арсенале которых были гранатометы, бронетранспортеры», «захватили два этажа телецентра «Останкино» и Дом звукозаписи и радиовещания на улице Качалова».

...На другой день был сыгран последний акт российской трагедии — расстрелян парламент.

Министр МВД Ерин «за мужество и героизм» получил звание Героя Российской Федерации, генералы Грачев и Кобец — ордена «За личное мужество», но ближе всех в эти роковые дни к Ельцину были, наряду с Гайдаром и Лужковым, его верные опричники Коржаков и Барсуков.

Через три года после октябрьской трагедии я приехал по приглашению тульского губернатора Василия Стародубцева на Куликово поле. После наших выступлений перед многотысячной толпой по знаку губернатора его свита и гости двинулись в направлении небольшой рощицы на краю поля, вошли в нее и очутились возле громадной армейской палатки, внутри которой на простых, вкопанных в землю дощатых столах стояла водка, хлеб, колбаса и огурцы. Продрогшие на поле под порывами сентябрьского ветра, мы, стоя (ни стульев, ни

лавок в палатке не было), выпили из пластмассовых стаканчиков за защитников России всех времен, и вдруг представитель президента по Тульской области предложил тост за здоровье своего хозяина. Многие демонстративно отодвинули пластмассовые стаканы, а я, обратившись к своему соседу — рыжеусому человеку средних лет, сказал:

— Наверное, здесь есть местный фээсбэшник, и представитель президента, зная это, поднял лакейский тост, чтобы в Москве о нем доложили...

Рыжеусый усмехнулся:

— Да, вы правы, и местный фээсбэшник здесь — это я. — И, не дав мне времени удивиться, видимо, для того, чтобы показать, каких он убеждений, добавил: — Видите рядом со Стародубцевым генерала и полковника? Так вот эти суки из Тульской ВДД Белый дом Ельцину помогали расстреливать...

Из литературного дневника того времени:

Свежий номер еженедельника «Литературные новости» открывается горестной и сногсшибательной сенсацией: над портретом Булата Окуджавы напечатан следующий абзац: «40 миллионов погибших — вот страшный вывод совместной российско-американской комиссии по оценке потерь в Великой Отечественной войне. Соотношение с потерями врага 10:1. Вот цена победы».

Поскольку официальная цифра немецких потерь, всех — и военных, и среди мирного населения, и умерших от ран и бомбежек, — общепринятая в Европе, приблизительно равна 8 миллионам, то по логике «Литературных новостей» (десять к одному) мы должны потерять не сорок миллионов, господа журналисты, а восемьдесят. То есть ровно половину населения тогдашнего Советского Союза... И не стыдно вам врать то? Ну хотя бы бывшие фронтовики, члены редколлегии, тот же Окуджава или Нагибин, пристыдили своих присяжных борзописцев. Ну хотя бы Артем Анфиногенов, который на этой же полосе объявлен «честным летописцем фронтового братства», сказал своим молодым мерзавцам; «Ребята, побойтесь Бога. Мы и так понесли тяжелейшие потери — двадцать с лишним миллионов... Неужели вам этого мало? Неужели вы так ненавидите Россию

и победоносный Советский Союз, что со сладострастным садизмом хотите, чтобы погибших было не двадцать миллионов, а сорок или, еще лучше, — восемьдесят?!»

Стыдно, господа! Но вам ведь, как говорит народная пословица, «хоть ... в глаза — все божья роса»!

Недавно праздновали юбилей Окуджавы — бесчисленные передачи, затмившие День Победы, радио с утра до вечера гоняло окуджавские песенки, газеты пестрели его портретами, а я глядел на все это и думал: «Нет, все-таки талантливый человек! Как умеет перевоплощаться! Когда нужен был патриотический шлягер, когда за патриотизм хорошо платили — написал знаменитую песню к фильму «Белорусский вокзал»: «А значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». Помню, как со слезой пел ее покойный Евгений Леонов... А когда мода на патриотизм прошла, когда за «антипатриотизм» стали платить больше, тот же Окуджава быстро сформулировал, что патриотизм, мол, никчемное чувство, что «чувство патриотизма есть даже у кошки», и потому незачем гордиться этой модой.

А кровавая бойня третьего-четвертого октября? В сущности, она была гражданской войной в миниатюре. А ведь тот же Окуджава когда-то пел знаменитые строки: «Я все равно паду на той, на той единственной гражданской...» Вспоминал я эти строки в часы октябрьской бойни и думал: «Где Окуджава? В ряду головорезов Ерина, а может быть, рядом с Руцким и Хасбулатовым? Вроде звездный час его наступил, гражданская война, обещал пасть на ней, последний шанс: не упустил бы» Ан нет! Недооценил я талант поэта, способность его гениальную к перевоплощению. Посмотрел он на все происходящее по телевизору и заявил на всю страну, что для него эта трагедия была, как захватывающий душу детектив, и что он с нетерпением ждал развязки, чем это кончится...

Нет, что ни говори, удивительно талантливый человек!

* * *

В книге «Москва. Осень-93» есть много исторических фотографий. В одну из них я вглядывался особенно пристально. Ночь с 3 на 4 октября, брусчатая площадь перед собором

Ивана Великого. Над землей плотный слой мрака, который по мере восхождения к небу рассеивается, и на небесном фоне, словно бы вырастая из тьмы, восстает знаменитая колокольня.

На переднем плане вертолет и три мужские фигуры, лица которых высвечены фотовспышками: Ельцин, Коржаков и Барсуков, породистые мрачные мужики в плащах и костюмах с иголочки, в модных галстуках, сверкающих ботинках...

Их лица, выступающие из мрака, предельно сосредоточенны. Еще бы! Решалась судьба каждого из них. К вечеру следующего дня Коржаков и Барсуков пришли доложить Ельцину об окончательной победе над парламентом и его защитниками. А у президента уже шло пиршество: «Торжество в честь победы началось задолго до победы... Мы с Мишей Барсуковым умылись: вода была черная от копоти, ружейного масла и пыли... Гулять начали с четырех часов, когда мы самую неприятную работу делали» (*Коржаков А.* Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. С. 198—199).

М. Барсуков, удостоверившись, что спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» не желают штурмовать парламент, вел себя особенно подло:

> Тактика у Барсукова была простая: пытаться подтянуть их как можно ближе к зданию, к боевым действиям. Почувствовав порох, гарь, окунувшись в водоворот выстрелов, автоматных очередей, они пойдут и дальше вперед.
> (*Ельцин Б.* Записки президента. С.11—12).

...Через полтора года, весной 1995-го, в необъятном зале за громадным полированным столом человек двадцать русских писателей встретились с Михаилом Барсуковым.

Барсуков — во главе стола на председательском месте под портретом Ельцина. Над входом в кабинет висел портрет Феликса. Дзержинский и Ельцин глядели в глаза друг другу, и Феликс с иезуитской тонкой усмешкой как бы говорил Борису:

— Зачем памятник снес? Ведомство, созданное мною, тебе понадобилось... А памятником в угоду черни пожертвовал? И не стыдно?

Отвлекшись от этого безмолвного разговора, я вслушался в слова Барсукова:

— Новолипецкий металлургический комбинат стоит 3,5 миллиарда долларов. Акции его скуплены за 50 миллионов, за 3 процента истинной стоимости! Коллектив завода вначале владел 51 процентом акций, сейчас у него всего лишь 3 процента. Мы вынуждены были начать операцию в Чечне, поскольку шел захват чеченской мафией Краснодарского и Ставропольского края, туапсинского нефтяного терминала, сорок восемь миллионов тонн нефти ежегодно пропадало в Чечне... План создания Великой Ичкерии — не химера. Чеченские беженцы — составная часть этого плана. Двести тысяч чеченцев перебрались в Дагестан, они выживают с родных мест аварцев и кумыков. Под Волгодонском их живет двадцать тысяч, под Волгоградом — более тридцати. Идет ползучее завоевание России, вытеснение русских со Ставрополья, из Краснодарщины. А в Москве что творится? Чеченский рейнджер Ходжа Нухаев контролирует семь казино! Сколько денег через эти казино идет на вооружение Чечни — даже мы не знаем (напоминаю: все это произносилось открытым текстом в кабинете шефа службы госбезопасности. — *Ст. К.*).

Я, озадаченный, оглядел своих товарищей, все сидели, не понимая, почему министр госбезопасности столь рискованно, откровенно и серьезно докладывает нам, писателям, факты и цифры, о которых он должен бы информировать президента, премьер-министра, Совет Безопасности.

Зачем мы ему? С какой целью? Как будто бы он у нас просит понимания и помощи? Да еще полтора года назад, во время октябрьского восстания, он вместе с Гайдаром и Чубайсом прижимался к Ельцину, а сейчас говорит почти как Зюганов или даже Анпилов... Что случилось?

А Барсуков продолжал:

— Экономическая политика приватизации — главная причина чеченской войны. Поглядите на карту — вам не страшно чувствовать, как сжимается вокруг России южный мусульманский пояс — Чечня, Абхазия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Турция? Целостность России — сегодня на карте...

В стране процветает региональный финансовый эгоизм, разрывающий ее. На юге России средняя зарплата 128 тысяч рублей, а в Тюменском крае у нефтяников и газовиков — 5 миллионов. Там работают вахтовики, среди которых многие не являются гражданами России. Деньги, заработанные ими, уходят из России. Но главные каналы бегства денег за рубежи России — это наши коммерческие банки. Их сейчас — две тысячи шестьсот, полторы тысячи из них — банки типа «Чара». Они неизбежно должны лопнуть, западный капитал захватит их, и Россия будет банкротом. Никакого контроля за вывозом денег через эти банки, которые в основном находятся в руках еврейской финансовой мафии, нет...

Я ушам своим не верил: руководитель службы безопасности сознательно бросает вызов — и кому? Еврейской финансовой мафии! На это можно решиться лишь в двух случаях: если в государстве созрели все условия для ее свержения и внутреннего переворота иди... если ты проиграл в тайной схватке с нею, завтра тебя вышвырнут из кабинета, а ты на прощанье принял решение так хлопнуть дверью, чтобы весь мир услышал! Или от полной русской самонадеянности...

А Барсуков уже совсем закусил удила:

— В МВД у нас сегодня два с половиной миллиона человек, в армии меньше двух, денег не хватает ни тем, ни другим. Долг перед армией — десять триллионов. Почему? Да потому, что налоги собираются всего лишь на сорок три процента. Разгосударствление жизни — вот главная причина наступившей катастрофы. Записки нашего ведомства о ее причинах и методах борьбы с нею, которые мы посылаем в правительство, возвращаются назад... Думаете, мне легко наблюдать все это? — Голос Барсукова задрожал, неожиданная драматическая нота личной боли появилась в нем. — Я же из крестьянской семьи, из липецкого села, я сам до двадцати лет косу из рук не выпускал, приезжаю на родину, вижу — все хозяйство на боку лежит. А Запад? Он радуется. Еврейские деньги разрушили Советский Союз, и надежды на западную помощь нам надо давно зарыть. Клинтон — наполовину еврей, его преем-

ник Альберт Гор — еврей в чистом виде... А наших воров надо сажать! — и, словно бы продолжая заочный спор с кем-то, добавил: — Но Чубайса оставьте мне...

Я обвел взглядом кабинет Барсукова. Чуть поодаль от него спокойно сидели два генерала, слушая все, что говорит начальник, как само собой разумеющееся. У дверей помощник — бравый офицер, который и приглашал всех нас на встречу с министром. Перехватив мой взгляд, он подмигнул мне. Мы с ним знакомы по архивным делам, когда с сыном писали книгу о Есенине...

...Через год общими усилиями Березовского, Гусинского, Чубайса и еврейских банкиров Барсуков вместе с Коржаковым были вышвырнуты из своих кабинетов и лишены всякой власти... Особую роль тарана при этой операции сыграл русский человек Александр Лебедь. Вот так и идет наша история: руками русских усмиряется русский бунт 3—4 октября 1993 года, а через три года русские Грачев, Барсуков и Коржаков русскими руками Лебедя изгоняются из власти. Жалкие пешки! У Барсукова перед концом карьеры то ли пелена с глаз спала, то ли совесть проснулась, чему свидетелями были мы, русские писатели. Спохватился Михаил Иванович, да поздно. Использовали его, а когда что-то понял и взбунтовался, выпустили на телеэкран Чубайса, Лебедя да энтэвешника-энкавэдешника Евгения Киселева — и «ату его!».

Плохо читали в школе Барсуков с Коржаковым «Тараса Бульбу». Там о русском предательстве наперед до конца света все сказано. О породистом красавце Андрее: «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»; «И пропал казак!». О хитром Мосии Шило, который в плену, чтобы войти в доверие к туркам, отказался от веры православной, «вошел в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились оттого бедные невольники, ибо знали, что если свой предаст веру и пристанет к угнетателям, то тяжелей и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом». Не в бровь, а в глаз многим сегодняшним ренегатам русским! А разве можно забыть вещие слова Гого-

ля — его прозрение самых темных глубин русской души, непонятной для рационального западного человека:

> Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства, и проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело.

Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься... Начал было каяться Михаил Барсуков. Анатолий Куликов — министр МВД, замаранный кровью 93-го, через два года собрался с духом и отверг попытку Кремля втянуть его в очередное преступление. Вывернул наизнанку всю грязную подноготную жизни своего хозяина «верный Личарда» Алéксандр Коржаков. Тоже хотя и уродливое, но своеобразное покаяние...

Задумаешься, перечитывая Гоголя, над грядущими судьбами нынешних, живущих в силе и власти, русских (о евреях — что говорить, с них спрос, как с Янкеля), сидящих в Кремле, в Белом доме, на Лубянке, и мороз по коже нет-нет да и пробежит...

Днем 4 октября 1993 года я не выходил на улицу. Не мог оторваться от экрана, на котором кумулятивные снаряды влетали в окна Белого дома, охваченного смрадным пламенем и чернеющего на глазах. Когда все было кончено, я достал бутылку коньяка, подаренного мне год тому назад к шестидесятилетию Леонидом Бородиным, выпил ее в два приема и погрузился в тяжелый сон...

Через несколько дней в редакции, обдумав очередной ноябрьский номер журнала, мы поняли, что, поскольку введена цензура, он, судя по его содержанию, может не увидеть света. В это время лишать читателей журнала ой как не хотелось.

— Гена, — попросил я своего заместителя, — у нас ведь сейчас есть главный цензор, защитник «свободы печати» Михаил Лесин. Созвонись с ним, поговори...

Гусев дозвонился до Лесина, приехал к нему, и тот с циничной прямотой ответил ему:

— Сколько у вас тираж? Сорок тысяч? Это не страшно. Печатайте, что хотите. Вот если бы миллион — мы бы вас помотали так, что мало не покажется...

Из литературного дневника того времени

Одним из самых оголтелых писателей-демократов, призывавших в октябре «всенародно избранного» к «решительным мерам», история запомнит Юрия Нагибина. Он подписал позорное письмо 42-х, он заявил, что «брезгливое неучастие в политике — это такая же низость, какой в прежние годы было участие». Он и после расстрела не раз одобрил все содеянное властью. Его «Воспоминания», вышедшие вскоре после 93-го года, прояснили мне все, что произошло с ним.

> Новая семья сильно русифицировала меня. Я научился не пить, а осаживаться водкой, научился опохмеляться так основательно, что это нередко переходило в новую пьянку... Были важные открытия. Одно из них: пьяный русский человек не отвечает за свое поведение во хмелю... Один пукнул в лицо домработнице, помогавшей ему надеть ботинки; другой кончил на единственное выходное платье нашей приятельницы, когда та ему позволила ночью прилечь к ней на диван; третий наблевал в ванну, потому что в уборной блевал другой гость: кто-то вынул член за столом и пытался всучить малознакомой соседке; сестра тещи обмочилась во время пляски...

Это из воспоминаний о своих близких. И написано не Юзиком Алешковским, не Виктором Ерофеевым, даже не Эдиком Лимоновым, а певцом русской природы, тонким лириком пришвинско-паустовской школы, беллетристом, издавшим к 1984 году восемьдесят книг рассказов и повестей, написавшим множество пьес и сценариев, в том числе к фильмам «Чайковский», «Председатель».

Человек, воспевший в фильме «Председатель» подвиг послевоенного крестьянства, в новом времени, потребовавшем новых песен, стал пробавляться заявлениями о том, что знаменитая трактористка Паша Ангелина была лесбиянкой.

Но бог с ней, с Ангелиной. Выворачивая всю интимную изнанку жизни, мемуарист, вспоминая сексуальные возможности близкой ему женщины, пишет:

> Мы занимались любовью там, где нас застало желание: в подворотнях, подъездах, на снежном сугробе, на угольной куче, на крыше, на дереве, в реке, в машине, в лесу, на лугу, в городском саду, где всегда играет духовой оркестр, просто на улице, у водосточной трубы... И каково же было мое потрясение, когда оказалось, что она еврейка.

В мемуарах Нагибина похотливость щедро смешана с политикой и с пресловутым еврейским вопросом. Бедный автор! В каких сумасшедших комплексах — сексуальных, национальных, политических — протекла его долгая жизнь!

> Мы гуляем по улицам Кохмы, и слово «жид» преследует меня. Жид! Жид! Жид! — кричат прохожие, уличные мальчишки, собаки с потными грязными языками, козы в огородах, шальные кусты акаций, рослые вязы, кирпичные стены Ясюнинской фабрики, где служит отец. Конечно, никто не кричит, но что мне до этого, если это слово кричит во мне (типичная паранойя! — *Ст. К.*).

А «потные грязные языки» у собак — невероятно! Но, возможно, художник слова хочет дать понять, что это русские собаки.

На протяжении своих мемуаров автор долго, тщательно, мучительно выясняет, кто же он на самом деле — еврей или русский. То внутренний голос кричит ему, что он «жид», и страдания Юрия Марковича становятся невыносимыми. То, выяснив, что его отец-еврей, возможно, и не настоящий отец, а настоящий отец русский, автор впадает в другую шизофреническую фазу и стонет: «Боже мой, почему я не могу быть евре-

ем, как все...» Словом, причин для раздвоения личности и впадения в маразм у Нагибина сколько угодно.

Десятки книг написал беллетрист в свое время, прославляя нашу армию-победительницу, в том числе и солдат, защитивших от немецкого агрессора Москву, и вдруг на старости лет он заявляет: «Вскоре подъем, испытанный оставшимся в Москве населением в связи со скорым приходом немцев и окончанием войны — никто же не сомневался, что за сдачей столицы последует капитуляция, — сменился томлением и неуверенностью. Втихаря ругали Гитлера, расплескавшего весь наступательный пыл у стен Москвы... Многие оставшиеся в городе ждали немцев, но боялись признаться друг другу в этом и потому городили несусветную чушь, чтобы объяснить, почему не эвакуировались...»

Нет, такого еще не было в нашей военной мемуаристике! Счастье автора, что ополченцы, погибшие под Москвой, не смогут прочитать эти мародерские откровения.

Мемуары Нагибина — богатый материал для психиатра и психоаналитика. Только специалисты смогут установить, на чем свихнулся человек — то ли на русско-еврейском вопросе; то ли на осознании того, что по большому счету никакого писателя Нагибина не существует, есть удачливый, ловкий беллетрист и драмодел; то ли на ненависти к России; то ли — и это скорее всего — душевное заболевание автора имеет под собой сексуально-патологическую почву.

Вокруг Есенина в Америке крутился в свое время беллетрист подобного же масштаба по фамилии Рындзюк (еврей), издавший на Западе книгу «Записки мерзавца», в которой вывернул наружу все свое вонючее нутро. Мемуары Нагибина, хотя и называются скромно «Тьма в конце туннеля», очень похожи на откровения Рындзюка.

Вот такого рода психопаты требовали в дни октябрьских событий расправы над писателями-патриотами.

...Начал я эту главу встречей с Юрием Карякиным у памятника Достоевскому на рязанской земле и заканчивать приходится так же, вспоминая его.

Зимой девяносто третьего в Москву приехал Андрей Синявский, осудивший в широко известном по тем временам письме вместе с Владимиром Максимовым и Петром Егидесом октябрьскую бойню.

«Литературка» пригласила к себе Синявского, и Юрий Карякин с Мариэттой Чудаковой стали воспитывать бывшего диссидента.

Чудакова, незадолго до октябрьских событий на «встрече Ельцина с интеллигенцией» призывавшая его «действовать решительно» («Мы ждем от вас решительности», «Не нужно бояться социального взрыва», «Нужен прорыв!», «Действуйте, Борис Николаевич!» — «ЛГ», 22 сентября 1993 г.), на этот раз с пеной у рта доказывала Синявскому, что расстрел парламента был необходим («применение силы в октябрьской ситуации было неизбежно»), Карякин покорно вторил демократической фурии и убеждал Синявского поддержать письмо 42-х «сторонников решительных мер»: «Мы не должны позволять себе ссориться сегодня».

Синявский, зажатый в угол, защищался, как мог: «Призывы интеллигенции к президенту формально ничем не отличаются от известного афоризма «Добро должно быть с кулаками» — по Куняеву». Услышав мою фамилию, Чудакова истерично взвизгнула:

> В октябре защищали, в сущности, демократию от Куняева!
>
> («Литературная газета», 2 марта 1994 г.)

Кто-кто, а Синявский знал, как Александр Сергеевич в «Скупом рыцаре» изобразил сатанинскую силу Золотого тельца, да и Карякин мог бы вспомнить, что Настасья Филипповна бросила в камин пачку ассигнаций на глазах у несчастного Ганечки, который повредился умом, почти как Германн в «Пиковой даме».

А гневный Блок, презиравший рыночную Европу:

Ты пышных Медичей тревожишь,
Ты топчешь лилии свои,

Но воскресить себя не можешь
В пыли торговой толчеи!

Да и Марина Цветаева была их родной сестрой по русской музе, когда клеймила все «демократические и рыночные ценности» в пророческих стихотворениях «Хвала богатым», «Стол», «Читатели газет»...

Сергей Есенин, Владислав Ходасевич, Осип Мандельштам — каждый по-своему опрокидывали «столы меновщиков» и выгоняли «продающих и покупающих в храме».

А русский народ был с ними, поскольку жил согласно своим пословицам и поговоркам: «От трудов праведных не наживешь палат каменных», «В аду не быть — богатства не нажить», «Богатому черти деньги куют», «Не жили богато — нечего начинать».

Поистине, у страха глаза велики. Преувеличила Чудакова мое участие в трагедии. В ней я был всего лишь навсего негодующим, печалящимся и пристрастным свидетелем и летописцем. А защищали вы «демократию, рыночную экономику и свободу слова» в октябре 1993-го не от меня, а от Пушкина, Достоевского, Есенина, от русского народа и от всей русской истории.

Поздней осенью я уехал в Калугу, к реке, к бору, к родовому погосту, к родным стенам. Отлежаться и прийти в себя.

Зябко трепещут ивы в береговом ветру...
Господи, дай мне силы перемолоть беду.
Лавры уничиженья
я не хочу стяжать,
воздухом пораженья
я не могу дышать.

Это стихотворение было последним в моей литературной судьбе. С 1993 года я в рифму больше не написал ни строчки. Как будто музу мою расстреляли вместе со всеми патриотами в день Русского Холокоста.

«ОНИ ВЕРЯТ ТОЛЬКО В ДЕНЬГИ...»

К Нью-Йорку мы подлетали вечером, и пока наш «Боинг» приближался к земле, я со странной смесью восхищения и тревоги вглядывался в эту словно бы груду пылающего каменного угля, с пробивающимися из огненного чрева языками то синего, то оранжевого, то белого пламени, протянувшуюся на десятки километров вдоль побережья и чуть ли не до горизонта в глубину материка...

На другой же день мы почувствовали, что действительно приземлились на раскаленную почву.

Ряд американских изданий, выливших на нас поток клеветы устами и своих журналистов, и бывших наших функционеров советской печати — Резника, Когана, Ремника, Гольданского и др., объявил нас «нацистами», «фашистами», «националистами»... Причем они для подъема «большой волны» не гнушались ни мелкой ложью, ни прямой клеветой, ни грубой дезинформацией.

Так, Семен Резник в первой же встретившей нас в Америке статье «Десант нацистов в Вашингтоне» сознательно извратил даже состав нашей делегации, заявив, что ее возглавляет член президентского совета Валентин Распутин — «антизападник и антисемит», что в составе группы член редколлегии «Литгазеты» Светлана Селиванова, которая старается в своей газете «проводить нацистскую линию», что вместе с нами в Америку приехала народный депутат Евдокия Гаер, которая борется «против рыночной экономики и за

«равноправие» русского народа, якобы угнетаемого евреями и другими инородцами»... Мы ахнули, прочитав эту стряпню, потому что Распутина с нами не было и Евдокии Гаер тоже. А уж изображать кроткую нанайку, с обожанием во время I съезда народных депутатов смотревшую на академика Сахарова, русской националисткой — ничего смешнее нельзя было придумать глупее этого, разве что, было утверждение Резника о том, что «Литгазета» усилиями Селивановой «проводит нацистскую линию» (это при редакторе А. Б. Чаковском!)... Словом, все это было бы смешно, когда бы не было так нагло и глупо. И, однако, статья Резника определила весь лживый тон американской прессы — крупнейших газет Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско... «Эта статья стала своеобразной «шпаргалкой» для всех журналов, занимающихся этим вопросом», — писала газета «People»... А на одной из пресс-конференций я даже съязвил, что американская пресса, освещающая наш визит, похожа на наш ТАСС худших времен, когда тассовские материалы, одинаково освещающие события, обязаны были печатать все газеты — от центральных до районных.. «Вашингтон пост» опустилась до того, что в статье Вадима Когана опубликовала заведомую ложь, будто бы я, главный редактор «Нашего современника», в шестом номере журнала за 1989 год опубликовал «постыдные «Протоколы сионских мудрецов»... «Любой читатель, — сказал я на пресс-конференции, — может взять этот журнал и прочитать там мою статью «Палка о двух концах», в которой есть лишь одна фраза о том, что «Протоколы» — «плод тщательного анализа всей политической истории человечества», что эта книга «создана незаурядными умами, злыми анонимными демонами политической мысли своего времени»... А тут на всю Америку заявлено, что «Наш современник» опубликовал их! Ну как после этого можно было серьезно относиться к американской демократической прессе! Вот эта ее способность по-геббельсовски безнаказанно лгать и не извиняться, монопольно обрабатывая общественное мнение, — и есть основной признак идеологического информационного тоталитаризма».

Правда, во время нашего посещения Верховного Суда его сотрудники успокаивали нас, говоря, что мы можем подать в суд на клеветников, и, видимо, у нас есть шансы выиграть процесс, и тогда газетных лжецов могут подвергнуть большому штрафу, но для этого нужно время, большие деньги и хорошие адвокаты...

У нас не было ни того, ни другого, ни третьего, и мы удовлетворились тем, что на встречах с нормальными американцами из их уст (а они тоже были возмущены этой травлей) мы часто слышали: «Не обращайте внимания: во-первых, взгляды ваших противников не отражают мнения Америки, а во-вторых, так уж принято в нашей прессе, что «хорошие новости не интересны», и потому каждый газетчик хочет обязательно скандала любой ценой, не гнушаясь ничем...»

Чтобы завершить эту неблагодарную тему, процитирую короткое письмо, которое я получил из Америки уже по возвращении в Москву:

> Я с большим интересом следил за Вашей поездкой по Соединенным Штатам. Сожалею, что она была омрачена «вечно преследуемыми». Прилагаю статью из последнего номера «еврейского вашингтонского еженедельника», где сказано, кого вам надо благодарить за все неприятности. Это некий «русский» Семен Резник, один из тех, кто хочет представить американской публике свое видение истории и чего угодно. Радуйтесь, что Россия отделалась от него...

Однако радости было мало. Изо дня в день «Новое русское слово» публиковало одну прокламацию за другой:

> «Память» — это новые нацисты! Когда Станислав Куняев приехал в Нью-Йорк — лишь одна организация протестовала. Когда правительство США пыталось закрыть границы для советских евреев, лишь одна организация высказала протест.
>
> Советские писатели-националисты Распутин и Куняев будут выступать в Нью-Йорке. Призываем всех присоединиться к протесту против растущей волны антисемитизма в СССР. Демонстрация протеста состоится в среду 9 мая в

7 часов вечера по адресу... (тут же давался адрес нашего отеля).

Для того чтобы спасти евреев в России, надо заявить о себе в полный голос! Когда русский нацист Куняев прибыл в Нью-Йорк, наша группа устроила ему такой прием, что он запомнит его на всю жизнь!

...А прием был устроен весьма смешной. Пришли мы в какую-то организацию, а у дверей встречает нас пожилой лысый функционер, с выпученными глазами, похожий на актера Михаила Козакова. Увидев нас, он поворачивается лицом к стене, раскидывает руки, раздвигает ноги и, словно ишак, грубым голосом через каждые десять — пятнадцать секунд отрабатывая свой небольшой гонорар, начинает, завывая, с акцентом произносить одно и то же слово: «Па-м-ь-ять!» Ну разве такое забудешь!

В Америке, если глядеть на поверхность правовой жизни, наказываются поступки, действия, а не слова и пропагандистская шумиха... Крайне показательна история, о которой нам рассказали в Верховном Суде. В одном из маленьких американских городков Скоки штата Иллинойс американские антисемиты, протестуя против «еврейского засилья» в их штате, решили пройти с соответствующими лозунгами по улицам города. Городские власти запретили им это. Устроители демонстрации подали протест в Верховный Суд, и тот разрешил им провести шествие. Кстати, права «демонстрантов» демонстративно защищал адвокат еврей.

Однако это по закону, ибо лицемерное фарисейство американской жизни постигается не сразу. Во всяком обществе есть, кроме закона, свод сложившихся обычаев, правил и внеюридичесиой, но достаточно жесткой системы отношений. И этот свод правил бывает порой гораздо более влиятелен, нежели правовой фасад. Известный в Америке противник сионизма Альфред Лилиенталь (еврей по национальности) по этому поводу так сказал в одном из своих интервью:

В Соединенных Штатах ситуация такова, когда просто нет свободы дискуссий по вопросу о сионизме. Люди боятся.

Не обязательна даже прямая угроза со стороны сионистов. Когда вы об этом говорите, то вы уже знаете, что угроза существует. Сионисты шантажируют и элементарно затыкают рот каждому, кто хотел бы наладить свободный и открытый диалог об их деятельности. При этом о христианах тотчас же утверждают, что они антисемиты, а о нас, евреях, чьи взгляды схожи с моими, заявляют, что мы ненавидим собственную принадлежность к еврейству...

С фарисейством «антитоталитарной» и «свободной» американской демократии мне пришлось столкнуться при весьма забавных обстоятельствах...

На другой день после нашего прибытия в Вашингтон, ранним апрельским утром я вышел в спортивном костюме и кроссовках из гостиницы и, вдыхая всей грудью свежий воздух самой свободной в мире страны, побежал к зеленым лужайкам Белого дома. На почтительном расстоянии от него я увидел несколько спальных мешков на дощатых помостах. В них спали бездомные люди, американские бомжи, весь скарб которых умещался в сумке или картонной коробке и которых впоследствии я встречал лежащих, как громадные коконы, в скверах, на лавочках, газонах Нью-Йорка, Питсбурга, Сан-Франциско. Вопреки мнению покойного актера Зиновия Гердта, заявившего однажды в печати: «В Америке есть богатые и бедные, но нищих и бездомных нет».

Подбежав к двум таким коконам, я, разминая плечевой пояс, стал разглядывать какие-то плакаты, стоявшие у их изголовий. Между тем из маленьких отверстий в спальных мешках высунулись руки, и синей струйкой потянулись сигаретные дымки. Затем одна из рук выползла на свет с банкой пива, а потом тишину утра огласили слова, по которым я понял, что в спальниках находятся мои соотечественники. На плакатах, стоявших у их изголовий, как я с трудом разобрал, были изложены на ломаном английском языке протесты против ущемления прав человека в благословенной Америке.

Но вот из отверстий в спальниках вылетели пустые пивные банки и за ними высунулись две взлохмаченные головы...

— Привет соотечественникам! — весело крикнул я, продолжая разминку.

— Привет, привет, а ты откуда?

Вылезли, еще раз закурили, разговорились. Один из них, бывший механик торгового флота из Одессы, сошел на берег и остался в Штатах по доброй воле. Свободу захотел посмотреть! Другой, весь украшенный российскими татуировками, не стал особенно распространяться о своем прошлом. Как бы то ни было, два русских невозвращенца встретились, подружились и начали новую жизнь на американской земле. Для начала через какую-то фирму по трудоустройству нашли работу. Однако спустя несколько месяцев выяснили, что в стране правовой рыночной экономики им платят гораздо меньше, чем стоит их труд, ибо немалая часть заработка уходит на содержание фирмы, подыскивающей для работодателей таких вот бедолаг-иммигрантов. Они, возмущенные, пришли к своим посредникам, устроили шумный русский скандал. Дело дошло до полиции. Судить не судили, но в участке несколько дней продержали и с работы выгнали. Друзья поняли, что на Атлантическом побережье им правды не найти, и завербовались на Аляску — валить лес... Там они тоже начали борьбу за какую-то социальную справедливость, опять дело дошло до полиции, опять их выгнали с работы, а еще, после одного-двух подобных случаев борьбы за права человека, их фамилии попали, как они говорят сами, в компьютер.

— Это что?

— А это хуже любого КГБ!

Информация о тебе, о твоих привычках, послужном списке, характере, о твоих конфликтах с хозяевами закладывается в компьютерную сеть, и когда ты, допустим, пытаешься поступить на работу, то хозяева, прежде чем принять тебя, знакомятся с этой компьютерной характеристикой.

— Мы этого не знали — ткнешься куда-нибудь, а нам от ворот поворот. В другом месте то же самое. Не сразу догадались, что теперь в Америке нам ничего не светит, словно.

мы какие-нибудь пуэрториканцы. Вот и пришли к Белому дому, плакаты нарисовали и живём здесь целый месяц.

— А пиво и сигареты?

— Ну, подработать везде можно. Где машину разгрузим, где общественный туалет вымоем.

Оба уже вылезли из спальников — жилистые, худые, загорелые, с клочьями пуха в крепких нечесаных волосах...

— А ты кто?

— Я писатель!

— Ну вот и напиши, как русским людям в Америке живется!

Осенью этого года ко мне в редакцию зашел весьма модный в конце восьмидесятых годов кинорежиссер Александр Аскольдов, с которым я когда-то учился на филологическом факультете МГУ. Разговор у нас зашел о спецслужбах.

— Да что сравнивать! — усмехнулся он. — Я уже много лет живу на Западе и знаю, что ЦРУ похлеще бывшего КГБ. В Америке встретил своего давнего товарища, работавшего на радиостанции «Свобода». Обнялись, обрадовались... Когда увидимся? А он смущается, глаза отводит и говорит: «Телефона и адреса дать не могу. Моя жена работает в Военно-морском ведомстве США. Мы подписку давали, что не имеем права без разрешения встречаться с иностранцами».

О циничном тоталитаризме западной демократии и бесцеремонности ее спецслужб свидетельствовало объявление, открыто напечатанное в дни нашего путешествия по Америке в русскоязычной газете «Новое русское слово»:

> Федеральное бюро расследовать, снова обращается к русскоязычной общественности США и новоприбывшим эмигрантам из СССР с призывом помочь своей новой стране.
>
> Многочисленные функции и обязанности ФБР по соблюдению законности в США включают сферу контрразведки. На протяжении многих лет эмигранты из СССР оказывали содействие ФБР в его контрразведывательной деятельности. Некоторые эмигранты обладают непосредственной информацией о методах и деятельности КГБ в СССР и за его пределами, в особенности в США.

ФБР просит лиц, располагающих вышеупомянутой информацией, сообщить об этом в ближайшее отделение бюро.

Тем лицам, которые проживают в пределах города Нью-Йорка, в ФБР следует звонить по новому номеру телефона: (212) 335-2700, добавочный 3037, или обращаться по адресу: 26 Федерал-Плаза, Нью-Йорк 10278.

Вся полученная информация будет содержаться в строгом секрете.

Федеральное бюро расследования
Министерства юстиции США.

Наше КГБ вербовало сотрудников секретно, тайно, а тут через газету предлагают: «Стучите, доносите, помогайте!»

Вот и началось по всей прессе доносительство на русских писателей, приехавших в Америку.

Русские националисты исповедуют фашизм...

За счет американских налогоплательщиков восемь махровых шовинистов совершают путешествие с одного берега Америки на другой...

Приглашение этих лиц выглядит так же, как, допустим, выглядело бы приглашение группы куклусклановцев для обсуждения этнического многообразия на американском Юге...

Русские националисты всех оттенков стремятся слиться в одну сплоченную группу. Их объединяет тоска по «сильному кулаку», ненависть к евреям и панический страх перед демократией...

Я читал всю эту злобную галиматью и понимал, насколько права русская женщина Нина Бахтина, письмо от которой я получил в номере вашингтонской гостиницы недели через две после того, как мы ступили на американскую землю.

Нина приехала в Америку из России еще в середине 70-х годов, хорошо разобралась в американской жизни и в нравах третьей эмиграции, и ее письмо открыло мне глаза на многое, чего мы не успевали понять и осмыслить:

Вы должны знать, что вас пригласили сюда с заранее сложившимися предубеждениями и даже ненавистью. Исходит это от сионистов. Они хотят добиться статуса бежен-

цев для советских евреев, на этом собрать и получить большие деньги. В залах, где вы выступаете, постоянно присутствуют группы евреев, цель которых — заставить вас выйти из рамок приличия, в которых вы должны находиться, будучи в гостях...

Они также хотят знать, насколько вы их серьезные противники и смогут ли они, поборов русских, стать единственными хозяевами на русской земле... Евреи пытаются дать вам тест на стойкость духа и твердость мышления. Не раз уже в «Новом русском слове» назывались даты сфабрикованных погромов. Последняя была намечена на 5 мая с. г. «Новое русское слово» писало, что уже сформированы еврейские оборонительные отряды, чтобы дать отпор погромщикам. Когда-то они кричали о погромах в Германии. Гитлер посадил их на пароход и отправил в Америку, но только почему-то их здесь не приняли и отправили обратно. Кому-то было это не выгодно, а может, для того, чтобы потом кричать о «шести миллионах».

К тем, кто оскорбляет вас, относитесь, как к психически больным людям. Они без бранных слов не могут.

Ни в коем случае нельзя дать им чувствовать нашу слабость в чем-то. Они только и ищут наши болевые точки. Помните — они верят только в деньги и силу.

Верят только в деньги...

Об этом нам напомнили на второй или третий день нашего визита в Америку, когда делегация была приглашена в какой-то нью-йоркский финансовый центр. В уютном полутемном зале, спроектированном и по интерьеру и по размерам для узкого круга людей, серьезные, лощеные специалисты прочитали нам не то чтобы несколько лекций, а скорее, несколько правил, на которых зиждется со дня основания финансовая мощь Америки. Главным правилом было, по их словам, благоговейное, почти религиозное отношение к доллару, как к иконе. Голос человека, рассказывавшего о том, что изображено на долларе — и всевидящее ветхозаветное око ревнивого Господа Израиля, и вершина пирамиды, олицетворяющая власть над миром, и лики пророков золотого тельца — Джексона, Франклина, Гамильтона, — подрагивал от волнения —

он читал нам не лекцию, а произносил проповедь, служил своеобразную литургию, зачитывал наизусть священное писание...

Ну, конечно, я, как всегда, не удержался и испортил впечатление от этой «песни песней» в честь золотого тельца, когда попросил слово и сказал нечто совершенно бестактное, вроде того, что в России никогда деньгам не поклонялись и, видимо, никогда не будут, а потому нам такого рода изыскания чужды и ничего дать не могут...

Однако на уровне абсолютно бытовых отношений в американской жизни я не раз убеждался в том, что жрец и толкователь из масонского клуба знал, что говорил.

В городе Феникс, когда мы собирались из гостиницы ехать в аэропорт, укладывая чемоданы и выбрасывая в мусорную корзину ненужные, накопившиеся в дорожной сумке бумаги, я случайно выбросил авиабилеты от Феникса до какого-то города, куда мы вылетали. Я это обнаружил в аэропорту перед посадкой... Все уже пошли к самолету, а мы с переводчицей Татьяной Ретивовой все выясняли отношения с администрацией аэропорта. Я горячился:

— Ведь билеты были заранее заказаны на мою фамилию, посмотрите в компьютере — там все должно быть, вот мой паспорт, никто по этому билету, кроме меня, полететь не сможет, так что вы вполне можете пропустить меня на посадку. Вот, кстати, компьютер и мое место выдает на экране!..

Но строгий, худой администратор был неумолим. Аргументы его были железными и абсолютно непонятными для меня.

— Вы потеряли билеты, а это значит, что вы потеряли деньги! — Тут он начинал волноваться и негодовать, не в силах объяснить мне, что потеря денег — своего рода нарушение высших моральных и религиозных догм общества. Больше всего, как я теперь понимаю, его возмущали мои легкомысленные оправдания происшедшего: «Ну потерял и что такого! Все равно же — я в компьютере, а значит, можно посадить меня и без билета...» Такие речи, в его сознании, были издевательством над высшими ценностями жизни, над здравым смыслом, над верой в сверхчеловеческую силу денег...

Пришлось мне второй раз брать билет и снова заплатить двести долларов. Когда аэропортовский администратор добился этого, на его лице выразилось полное удовлетворение, как будто он принудил грешника к раскаянию и спас его заблудшую душу.

Свидетелем нашей мировоззренческой схватки был Леонид Бородин, с которым бок о бок я прожил целый месяц нашего путешествия.

— Станислав Юрьевич! — сказал он мне. — Ты их не переубедишь. Они не понимают, о чем ты говоришь, да не просто говоришь, а богохульствуешь...

Вся наша восьмерка для проживания в гостиницах была разделена на пары, и мы с Бородиным как-то, не сговариваясь, выбрали друг друга. Мне сразу же понравился этот подтянутый, сдержанный, немногословный человек.

О Бородине в еврейском альманахе «Панорама» было написано так:

> При Брежневе он был диссидентом и подвергался репрессиям. Его русский национализм всегда носил не просталинский, как у Кожинова или Куняева, а антисталинский характер. Однако можно думать, что эти различия остались в прошлом: в годы гласности и перестройки русские националисты всех оттенков стремятся слиться в одну сплоченную группу...

Однажды на обеде у священника Виктора Потапова мы встретились с нашим «бывшим» журналистом, носившим комическое имя — Гарри Табачник. Весь вечер он жаловался нам на государственный антисемитизм, от которого «страдал в Союзе». В руках у Гарри была его книга под названием «За вашу свободу, сэр!» Мы с Бородиным посмотрели на обратную сторону обложки. Под портретом Гарри Табачника было несколько абзацев из его биографии:

> Работал корреспондентом радиостанции «Маяк». Писал и сам читал у микрофона свои передачи об интересных людях, литературе, музыке, искусстве. Вел интервью со

многими знаменитостями, среди которых были и маршал Жуков, и Ю. Гагарин...

Печатался во многих московских газетах и журналах, включая «Юность», «Огонек», «Молодой колхозник», «Вокруг света»...

Страну изъездил от залива Посьет до Минска, от Петрозаводска до Ашхабада.

Закончил факультет журналистики Московского университета, юридический институт, аспирантуру факультета журналистики. Получил степень.

И все это при махровом государственном антисемитизме!

— Забавный народ! — сказал Бородин, глядя на Табачника, который тут же понял, что в своих жалобах на жизнь хватил лишку, и стушевался, растворившись в толпе гостей.

А об известном еврейском диссиденте Алике Гинзбурге, с которым они сидели в мордовских лагерях, Бородин отозвался холодно и отчужденно:

— Ему это для биографии было нужно!

Мы только что опубликовали в «Нашем современнике» замечательную повесть Леонида «Третья правда», после которой читающая Россия узнала Бородина как писателя. Он был благодарен мне за это, но благодарность свою высказывал ободряющей улыбкой в минуты жарких дискуссий с нашими оппонентами, доброжелательной шуткой по поводу моего утреннего похмелья, скупой похвалой в адрес Распутина, Кожинова или Белова.

Два лагерных срока, выпавших на его жизнь, научили Бородина быстро и точно оценивать людей, он хорошо изучил типы и характеры диссидентов, в том числе и из еврейской среды, и понимал, как с ними надо разговаривать.

Зная его судьбу, они несколько придерживали языки и не решались при нем нагло и демонстративно расписывать свои страдания во время жизни в Союзе...

Вскоре по возвращении на родину я получил из Рима письмо соратника Бородина по политическому процессу Евгения Ватина, которого я однажды мягко упрекнул в том, что он, боровшийся за свободу России от коммунизма, не возвращается на «освобожденную» родину. Ватин отвечал мне:

В конце своего письма Вы пишете о «странности» того, что часть из нас (впрочем, не столь уж и значительная количественно), которые «боролись, страдали, сидели», находимся за границей сейчас, когда появилась возможность «работать и бороться на родине». Я вспомнил Л. И. Бородина (с которым нас когда-то связывала одна судьба): представляя недавно в «Лит. России» очерк В. Осипова, он с содроганием признается: «...я даже (!) допустил мысль об эмиграции». Но я-то помню наше с ним прощание — и ведь были уверены, что навсегда, — если и возникли у него такие мысли, он гнал их от себя... Я смотрел на вещи несколько иначе; и сейчас моя позиция еще далека от «возвращенческой». Смущает меня и то, сколь многочисленная «шпана» — не только литературная, но и политическая, роем устремилась обратно, в «страну» (как они называют нашу родину), где естественно смыкаются со шпаной местной, типа Коротича. Представляю, между тем, что ожидает русского изгнанника, вернувшегося к родным осинам...

В последние годы патриот Евгений Ватин, православный человек, работал на радио «Ватикан». Какой бесславный конец судьбы, некогда начинавшейся так дерзко и самоотверженно...

Поездка наша по Америке продолжилась в атмосфере любопытства и ненависти, дружелюбия и провокаций.

Из «Нового русского слова» от 11 мая 1990 года:

В интервью с корреспондентом «НРС» 28-летний Леви, который характеризует себя как «бухгалтер и отчасти революционер», заявил: «Пока евреи не могут ходить в безопасности по улицам Ленинграда, русские нацисты не будут ходить в безопасности по улицам Нью-Йорка!»

Вчера утром Леви и четверо членов Организации защиты евреев попытались, по его словам, сорвать встречу делегации писателей и представителей Национальной конференции христиан и евреев. Пятеро демонстрантов с лозунгами «Куняев — нацист», «Нацистов — вон!» и «Евреи не должны встречаться с нацистами» поднялись на 11-й этаж здания, где проходила встреча, и сделали попытку прорваться в конференц-зал, но были остановлены дверью из толстого стекла. Как говорит Леви, во время этого инциден-

та демонстранты ударили кого-то по лицу, хотя пострадавший оказался не одним из русских писателей, а американцем. Леви замечает на это, что «двуличные американцы, якшающиеся с нацистами», еще хуже последних.

— У вас большой список врагов», — заметил автор этих строк.

— Да, он растет не по дням, а по часам!» — засмеялся Леви.

Но бог с ними, этими, как писала мне в письме Нина Бахтина, «больными людьми». Что говорить о них, если в «Лос-Анджелес таймс» от 4 мая 1990 года мы прочитали слова раввина Ицхака Гинзбурга, защищавшего четырех убийц палестинской девушки в одной из арабских деревень: *«Должно признать*, — писал Гинзбург, — *что еврейская кровь и кровь неевреев имеют разную цену».* Эти слова я вспоминал в самых разных, вполне цивилизованных и респектабельных еврейских аудиториях, где нам пришлось побывать — в еврейском этническом центре в Питсбурге, на кафедрах различных провинциальных университетов при встречах с профессорами и преподавателями, в казенных офисах министерств и радиостанции «Свобода». Там все было хоть порой и напряженно, но вежливо, прилично, цивилизованно. И, однако, снова в суть такого рода встреч, визитов и разговоров мне помогал вникнуть великий американец Томас Вулф.

В его романе Джейк Абрамсон в кругу своих племянниц рассуждает об английской кухне, издеваясь над капустой, рыбой и безвкусными соусами:

— Такая еда годится только для несчастных христиан.

Это упоминание об иноплеменниках, в котором сквозила пренебрежительная усмешка, как-то по-особенному соединило всех троих, и внезапно они предстали в новом свете. На губах старика играла чуть заметная умная и холодная улыбка, женщины веселились безмерно, и все они отлично понимали друг друга. И теперь видно было, что они по-настоящему заодно — дети древнего, одаренного, всезнающего племени, — и со стороны отчужденно, с насмешливым презрением глядят

на темных и невежественных людей иной, низшей породы, не причастных к их познаниям, не отмеченных той же печатью. И тотчас оно миновало — мгновенье, в котором сказалась их извечная обособленность. На лицах женщин теперь светилась лишь спокойная улыбка, все трое вновь принадлежали всему миру.

Поистине, читая это, поверишь, что «еврейская кровь и кровь неевреев имеют разную цену».

Для них. Но не для нас.

СТАРЫЕ КОНТРПРОПАГАНДИСТЫ

В августе — сентябре 1991 года, когда демократическая писательская хунта, ворвавшись в «толстовскую усадьбу» на улице Воровского, торжествовала свою победу, делила кабинеты и вертушки, громогласно закрывала «очаг гэкачепевщины» — Союз советских писателей, одной из первых уничтоженных и разрушенных структур Союза стала его Иностранная комиссия.

Верхушка хунты, возглавляемая Евтушенко, Черниченко и Оскоцким, крутилась вокруг возникающей новой власти — Ельцина, Гавриила Попова, Музыкантского, а мародеры помельче шныряли по флигелям старинной усадьбы, выпивали в захваченных кабинетах, копались в шкафах и архивах, срывали с дверей таблички с фамилиями, выбрасывали во двор уже никому не нужные, на их взгляд, папки и документы. Двери Иностранной комиссии были распахнуты настежь, ветер гулял по коридорам и шуршал в грудах бумаг, подлежащих уничтожению... Один из уже уволенных сотрудников, уходя из опустевшего флигеля в другую жизнь, склонился над грудой пожелтевших от времени скоросшивателей и папок, лежавших на полу, взял наугад несколько из них и засунул в сумку... Интереса и любопытства ради.

Через десять лет он вспомнил об этих папках у себя на даче, пролистал их и позвонил мне.

— Станислав Юрьевич! А в них есть кое-что любопытное. Не хотели бы посмотреть?

Таким образом малая толика этого архива и попала мне в руки...

Но перед этим надобно сказать, что Иностранная комиссия в системе Союза писателей была в советское время одной из самых притягательных структур. В нее постоянным потоком втекали заявления, жалобы, письма, доносы, предложения писателей, желающих посмотреть мир. О, если бы только посмотреть! Во время этих вояжей можно было наладить связи со своими зарубежными коллегами по перу, очаровать какого-нибудь издателя (лучше американского или французского!), а если повезет — заключить какой-нибудь договор и даже получить аванс в валюте... Я уже не говорю о мелких радостях, как-то: пожить в хороших гостиницах, поесть экзотических блюд, с толком потратить свои командировочные на какие-нибудь куртки, джинсы, подарки. Словом, времяпрепровождение это было весьма приятным и полезным во всех отношениях. Что и говорить — бескорыстные натуры, мечтавшие поглядеть и потрогать «священные камни Европы», среди писательской публики попадались редко.

Многие писатели в документах, обнаруженных в папках Инкомиссии, выглядели порой весьма пикантно.

Помню, как я возмущался воспоминаниями Юрия Марковича Нагибина «Тьма в конце туннеля», вышедшими вскоре после октября 1993 года, когда он неожиданно для своих читателей предстал как давний, яростный и непримиримый враг советской власти, хуже того, как человек, жаждавший поражения своего Отечества в борьбе с фашизмом.

А в заявлении, написанном в Иностранную комиссию в 1982 году, Нагибин вот так продекларировал свои советские убеждения, изобразив себя патриотом, отстаивающим интересы Родины в капиталистической Америке:

В секретариат Союза писателей СССР

Уважаемые товарищи!

В 1979 г. по инициативе главного редактора журнала «Русский язык» д-ра Мунира Сендича 25 американских университетов пригласили меня для выступлений о советской литературе, с уклоном в малую прозу, которой я и сам занимаюсь. Итоги подвел журнал «Русский язык», посвятив Вашему коллеге более половины XXXIII номера; здесь были и

развернутые отзывы университетов о моих выступлениях — более чем лестные. В свое время я передал номер журнала вместе с письмом-отчетом Георгию Мокеевичу Маркову.

Путевой дневник я опубликовал в «Нашем современнике» (отрывки в «Новом времени», «Литературной России», по радио и телевидению). Материал получил хорошую оценку партийной печати (статья в «Правде»), тов. Черноуцан[1] поблагодарил меня от лица Отдела культуры. Несмотря на сильную критическую струю, этот дневник вышел отдельным изданием в США (книжка у меня есть).

Но, пожалуй, самой примечательной оценкой поездки явилось новое приглашение, присланное профессором Сендичем от лица четырнадцати университетов — ныне их число приблизилось к тридцати.

Мне не хочется витийствовать по этому поводу. Скажу просто: советскому писателю в нынешнее трудное, тревожное время дается возможность два месяца хорошо говорить о его Родине, народе, культуре и литературе в стране, где сейчас говорится столько плохого и вздорного. Как старый контрпропагандист (год служил во время войны в системе 7 отдела политслужбы Советской Армии) я думаю, что такой возможностью следует воспользоваться. Надеюсь, что и секретариат Союза писателей согласится с этим. Полагаю, что принесу пользу нашему общему делу.

С уважением *Юрий Нагибин.*

1 марта 1982 г.

В то время Ю. Нагибин был преисполнен поистине советской смелости. Когда его следующая поездка в США несколько задержалась, он написал гневное письмо Георгию Мокеевичу Маркову, в котором стыдил генсека СП СССР за то, что он плохо использует его, Юрия Нагибина, в идеологической борьбе:

Почему мы должны оставлять площадку за В. Аксеновым, который катается по всей Америке, почему мы сами себе затыкаем рот? А ведь я доказал в предыдущей своей поездке, что умею заставить американцев прислушиваться к своим словам. Иначе, при их финансовых трудностях, они не пригласили бы меня вторично... (Найдено в тех же папках. — *Ст. К.*)

---

[1] В те годы — консультант Отдела культуры ЦК КПСС

В 1982 году представителем делегации Украины на 37-й сессии ООН был секретарь Союза писателей СССР Виталий Коротич. В те дни он встретился с одним из идеологов американской «демократической общественности» Гарри Солсбери, бойким журналистом и опытным политическим функционером. Этого Солсбери еще в 1960 году высек в газете «Правда» Михаил Шолохов, после того как еврейский журналист попытался доказать, что Шолохова заставили завершить вторую книгу «Поднятой целины» не так, как ему, Шолохову, хотелось бы. Заканчивая статью в «Правде», автор «Тихого Дона» писал:

> Я поступил бы, как чеховский Игнат из рассказа «Белолобый»: вздохнув, я сказал бы в адрес Солсбери: «Пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых!» И, поручив наказывать мистера Солсбери какому-нибудь плечистому американскому учителю, я бы лишь мягко и назидательно говорил: «Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!»

Но к 1982 году Солсбери научился «ходить в дверь», поднаторел и возмужал, о чем свидетельствует запись беседы с ним В. Коротича, которую будущий главный редактор «Огонька», как опытный карьерист и функционер, разослал тогда по нескольким адресам: в МИД СССР, в ЦК коммунистической партии Украины, в Союз писателей СССР и четвертый, как написано, «в дело», видимо, на Лубянку.

ДЕЛЕГАЦИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
29 октября 1982 года
НА 37-й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ

Исх. № 573 экз. № 2 г. Нью-Йорк, США

Из дневника В. А. Коротича.
Запись беседы с писателем
и журналистом Г. Солсбери.

30 сентября 1982 года встретился с Гаррисоном Солсбери, известным и влиятельным американским журналистом и литератором. Человек по опыту своему и характеру приученный к сдержанности, Солсбери довольно откровенно высказал мне свои опасения по поводу нынешней идеологической ситуации в США. Не вдаваясь в оценки отноше-

ний между СССР и США, он сказал, что ужесточение отношений между Америкой и всеми в мире, кто думает иначе, чем она, ведет к подавлению инакомыслия в стране самым резким образом. По словам Солсбери, если республиканская партия не потерпит поражения на частичных выборах 2/XI-82 года, это может привести — и считает он, приведет — к новому маккартизму в стране, к «чисткам» и «запретам на профессии». Солсбери считает, что контакты между представителями наших стран и продолжение политики разрядки способствовали бы выживанию либеральной интеллигенции в его собственной стране. (! — *Ст. К.*)

Он подтвердил, что Университет штата Калифорния на будущий год уже имеет деньги для проведения большой (примерно по десять участников с каждой стороны) встречи писателей СССР и США. Солсбери подчеркнул, что они готовятся к этой встрече, как чрезвычайно важной, но едва ли не ультимативно потребовал, чтобы американская сторона могла влиять на состав советской группы участников, добиваясь того, чтобы в советской делегации были люди, достаточно хорошо известные в США. Он же высказал опасение, что, если тон советской делегации будет «очень наступательным», встреча может сорваться, превратившись в очередную конфронтацию. Он предложил, чтобы стороны уже сейчас начали переговоры о составе и руководителях делегаций, приемлемых для обеих сторон.

Обратите внимание на то, что 18 лет тому назад, как и осенью 2000 года, в США шла жестокая внутренняя борьба между республиканцами и демократами... Опытный американский «контрпропагандист» Солсбери подробно и откровенно раскрыл своему советскому коллеге и единомышленнику суть этой борьбы, дабы верхушка советского либерального еврейства понимала, в каких сложных условиях живут и борются их «демократические собратья» в Америке.

Все происходило как бы по сценарию знаменитого стихотворения Юрия Кузнецова «Маркитанты»:

Маркитанты обеих сторон,
люди близкого круга,
почитай, с легендарных времен
понимали друг друга.

Через поле в ничейных кустах
к носу нос повстречались,
столковались за совесть и страх,
обнялись и расстались.

Расстались, конечно, предварительно сделав свой обычный гешефт: договорились об обмене писательскими делегациями — «американцы» присылают в Советский Союз взвод своих маркитантов, а мы им, в благодарность, десяток своих «старых контрпропагандистов», «достаточно хорошо известных в США»... По всяческого рода резолюциям, поставленным на документе, видно, что запись беседы попадает сначала в руки сотрудника Иностранной комиссии Союза писателей Мирры Салганик, которая знакомит с текстом Фриду Лурье, а Фрида передает документ дальше, дальше, дальше. А в итоге все складывается так, как в стихах, написанных когда-то молодым Игорем Шкляревским:

Отец играет на баяне,
Мамаша гонит самогон,
Сестра гуляет на бульваре —
Деньжонки прут со всех сторон...

А вот письмо будущего «архитектора перестройки» и ренегата «всех времен и народов» А. Н. Яковлева, в котором он, тогда посол СССР в Канаде, бывший шеф Отдела пропаганды ЦК КПСС, комментирует гастроли поэта А. Вознесенского по Стране кленового листа:

ПОСОЛЬСТВО СССР В КАНАДЕ
01 ноября 1982 г.
г. Оттава Исх. X 900

СЕКРЕТАРЮ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР
тов. ФЕДОРЕНКО Н.Т.

Уважаемый Николай Трофимович.

Выступление поэта Андрея Вознесенского на международном фестивале Харборфронт в Торонто было успеш-

ным и полезным. Положительные для нас репортажи о выступлении передавались по телевидению, радио и в прессе. В фестивале не участвовали эмигрантские писатели, которые в предыдущие годы выступали в чтениях с антисоветских позиций. По существу направление А. Вознесенского в этом году на фестиваль закрыло его для антисоветских эмигрантских писателей.

А. Вознесенский выступил также с чтением своих произведений в Макгилъском университете (Монреаль) и на встрече с группой поэтов в г. Оттаве.

В беседах с советскими представителями организатор фестиваля Грег Гэтенби высказал заинтересованность в приезде советского поэта на очередной фестиваль 1983 года.

Учитывая успех нашего участия в фестивале 1982 г., считал бы целесообразным предусмотреть в планах Союза Советских Писателей СССР направление советского поэта на фестиваль 1983 г. Кроме того, представляется полезным передать Г. Гэтенби приглашение посетить Советский Союз, желательно для участия в одном из литературных мероприятий, проводимых в СССР. Конкретные соображения на этот счет имеются у поэта А. Вознесенского.

Посол СССР в Канаде *А. Яковлев.*

Вообще, эти и некоторые другие документы чрезвычайно интересны... Они в первую очередь свидетельствуют о том, кто в прежние времена цензуры, тоталитаризма и диктата КПСС чаще всего ездил заграницу и почему. Конечно, никакой Николай Рубцов или Анатолий Передреев и мечтать не могли, чтобы посмотреть мир. Настоящими невыездными (в том смысле, что их никогда не включали ни в какие зарубежные делегации) были русские — Дмитрий Балашов, Владимир Личутин, Николай Тряпкин, Владимир Бондаренко, Виктор Лихоносов, Федор Сухов, Татьяна Глушкова, Александр Вампилов, Глеб Горбовский, Валентин Курбатов, Виктор Коротаев, Владимир Крупин, Сергей Семанов, да и многие другие. Талантливые, умные русские поэты, прозаики, критики. Особенно живущие в провинции. В документах я нашел немало отказов на зарубежные поездки, в частности, К. Лагунову из Тюмени, Б. Зиновьеву из Куйбышева, Н. Банникову, А. Маркову из Москвы с одной неотразимой формулировкой: «в связи с ограничением валютных средств». Зато Роберт Рождест-

венский и Расул Гамзатов всегда ездили за границу с женами, Белла Ахмадулина с мужем и т. д. Что говорить. представителям «левого крыла» советской литературы, как свидетельствуют документы, предоставлялись для путешествий по миру за народные деньги неограниченные возможности. А теперь еще несколько выдержек из документов:

> Посольство поблагодарило за хорошую работу участников делегации, находящейся в Париже — советских драматургов Г. Горина, Э. Радзинского, В. Славкина. Л. Зорина, В. Гуровского. (Наше посольство во Франции. — *Ст. К.*)

Из телекса на имя Р. Рождественского:

> Приглашаем В. Коротича — главного редактора журнала «Огонек» на Второй международный салон книги и прессы в Женеве. Были бы рады, если В. Коротича будет сопровождать переводчица из комиссии Р. Генкина.

Телефонограмма в Иностранную комиссию:

> 15.04.88. Звонила тов. Степанова из Посольства СССР во Франции, сообщила, что Р. Товернье хочет видеть в составе делегации Д. Гранина. Г. Боровика, А. Рыбакова. Товернье спрашивает, может ли А. Рыбаков заехать во Францию перед своим отъездом в другую страну в мае.

Вот так и жила в те времена международная компания маркитантов. Они приглашали к себе наших гориных и коротичей, а мы в благодарность принимали то и дело их соплеменников из Старого и Нового света — Г. Солсбери, Г. Гэтенби, Ф. Саган, Лию Сегал, племянницу Шолом-Алейхема Бел Кауфман и т. д.[1]

---

[1] Из книги Р. Орловой-Копелевой «Воспоминания о непрошедшем времени»: «Встретил меня на вокзале Зимовит Федецкий, переводчик русской поэзии... Как сразу выяснилось, он знал наши дела и общие, и литературные лучше меня... Сказал, что поляки хотят пригласить Усиевич, Щеглова, Огнева, Туркова, Кардина. В 1956-м этот список советских критиков звучал как отважнейший вызов. Огнев и Кардин с тех пор много раз ездили в Польшу».

Многие заявления и ходатайства представителей «выездного народа» восхищают изощренностью аргументации, красотами стиля и смелостью запросов.

Из заявления драматурга М. Сагаловича:

> Сейчас я работаю над биографическим романом о Галине Евгеньевне Николаевой, чье творчество, как показало время, глубоко корреспондирует с проблемами, которые решает после XXVII съезда КПСС наш народ во всех областях жизни. (Каков стиль! — Ст. К.)
>
> Последние годы жизни тяжело больная писательница по советам врачей в осенние и зимние месяцы проживала во Франции (Париж, Ницца, Канны, Антиб, Монте-Карло, Биот) и в Италии (Рим, Венеция, Неаполь, Сорренто, остров Капри). До сих пор живы люди, окружавшие ее вниманием в чужих краях. Для написания глав, относящихся к этому периоду ее жизни (и в экстремальных условиях моя покойная жена плодотворно работала), мне необходимо поехать в названные страны, что позволит правдиво воссоздать все памятные места...
>
> 18 августа 1986 г.

М. Сагалович, муж Г. Николаевой (Волянской), не был даже членом СП СССР, но на заявлении, конечно же, положительные резолюции Маркова, Верченко, Р. Рождественского...

Перестройка набирала темпы, советский народ «решал во всех областях жизни проблемы», а любители путешествий заваливали Иностранную комиссию шедеврами эпистолярного жанра.

> В июне 1987 г. было принято решение о моей поездке во Францию сроком на год. Поездка мне необходима прежде всего для ознакомления с важными материалами о Пушкине, декабристах и их окружении, которые, как мне известно, за последнее время выявлены в парижских архивах, но ожидают своего исследователя (! — *Ст. К.*).
>
> Знакомство с этими документами имеет для меня особое значение в связи с работой над двумя договорными книгами...
>
> *Н. Эйдельман.*
>
> 8 марта 1988 г.

Надо сказать, что вокруг Натана Эйдельмана в Инкомиссии всегда царила оживленная свистопляска, особенно когда запросы о нем шли на высшем уровне.

ПОСОЛЬСТВО СССР В США Экз. № 1
г. Вашингтон 3 сентября 1982 года
Исх. № 1572

СЕКРЕТАРЮ ПРАВЛЕНИЯ СП СССР
тов. ФЕДОРЕНКО Н.Т.

Уважаемый Николай Трофимович

Участие члена Союза писателей СССР Н. Эйдельмана в Международной Пушкинской конференции в Чикаго в декабре с. г. было бы, на наш взгляд, полезным.

Временный поверенный в делах СССР в США

А. Бессмертных.

Тут же на документе через несколько дней появляется резолюция Н. Федоренко:

Тов. Лурье Ф. А. Наверное пора его оформлять.

Ну как не оформить наших «маркитантов», когда за них сплошные послы ходатайствуют! Моментально все оформили, сообщили в США о своем решении и вскоре получили телеграмму:

Председателю Иностранной комиссии
Александру Косорукову.

Все готово к приезду Натана Яковлевича Эйдельмана. Билет Монреаль — Чикаго — Монреаль оплачен нашей стороной. Жду его лично чикагском аэропорту Охоре Интернейшнл 27 декабря. Отвечаем за его благосостояние до 6 января. Благодарю заранее

профессор Майклсон.

Понимая, что в Инкомиссии для них создана обстановка «наибольшего благоприятствования», «контрпропагандисты» просто изощрялись, придумывая поводы для поездок за границу.

От литературоведа Михаила Эпштейна:

> У меня возникла насущная необходимость обсудить ряд теоретических проблем с видными современными литераторами и мыслителями Франции... кроме того, в связи с работой над темой «Литературный и живописный образ» мне необходимо побывать в ряде парижских музеев, выставляющих новейшие образцы концептуального искусства.
>
> В связи с вышесказанным прошу Вас предоставить мне командировку во Францию.

От члена СП СССР Самария Израилевича Великовского, знатока коммунистического движения на Западе:

> Прошу направить меня в творческую командировку во Францию сроком на два месяца, для встреч в редакциях таких органов французской левой печати, как «Революсьон», «Либерасьон», «Деба», «Комментер», «Пуэн де ля Роз» и др. и бесед с деятелями французской культуры ради пополнения материалов, предназначенных для моих очерков о состоянии умов и гражданских самоопределениях французской интеллигенции сегодня.
>
> 8.2.1988 г.

А вот это план работы еще одного специалиста по международному коммунизму и Лениниане Гастона Самуиловича Горбовицкого, который решил пройти ленинскими тропинками, протоптанными до него Егором Яковлевым, Анатолием Кузнецовым, Михаилом Шатровым и другими единомышленниками.

> 1 день. — Посещение советского посольства и уточнение конкретных деталей выполнения намеченной рабочей программы командировки, определение наиболее удобной и экономичной по времени последовательности ознакомления и изучения памятных и исторических мест, связанных с жизнью и деятельностью В. И. Ленина в Париже.
>
> 2 день. — Посещение квартиры-музея В. И. Ленина на улице Мари-Роз, 4, где он жил с 1909 по 1912 год. Изучение собранных в музее материалов и документов.

3 день. — Посещение Лонжюмо — памятного места, где размещалась партийная школа, организацией и работой которой руководил Ленин. (В Лонжюмо вслед за Вознесенским.— *Ст К.*)

4 день. — Посещение в Дравейле дома Лафаргов, где состоялись известные встречи Ленина с Полем и Лаурой Лафаргами.

5 день. — Посещение мест, связанных с революционной деятельностью Ленина во время его пребывания в Париже (1895 год, 1908—1912 годы), в соответствии с адресами, полученными из аннотированных справок Биографической хроники «Владимир Ильич Ленин». (Список адресов приведен подробно в моей творческой заявке.)

6 день. — Изучение городских маршрутов Ленина по Парижу (в сохранившейся части города), посещение и знакомство с общественными зданиями, которые Ленин посещал, излюбленные места отдыха, прогулок, а также места встреч и бесед с известными историческими деятелями (по свидетельствам мемуарного характера и историческим документам).

7 день. — Если это представится возможным — желательна ознакомительная поездка в Бретань, где провел отдых Ленин (г. Лилль — 1909 г. — период подготовки ко Второму съезду РСДРП, Порник, 1910 г.)

Ну просто ползали они все со слюнями умиления по следам Ленина!

А вот этот шедевр стоит того, чтобы его процитировать целиком.

По договору с журналом «Дружба народов» я работаю над романом о Николае Бухарине и его времени. Рукопись должна быть представлена в сентябре сего года.

Одним из ключевых моментов жизни Бухарина является период его пребывания в Париже после написания им проекта Конституции, которую вскорости назовут «сталинской».

Говорят, Сталин сам предложил Бухарину «прокатиться».

Почему он «выпустил» Бухарина после убийства Кирова и накануне процессов Каменева и Зиновьева?

Роковые взаимоотношения вероломного Сталина с прямодушным Бухариным представляют собою тягчайшую драму нашего века, драму, которая в определенной мере

дает разгадку восхождению Сталина к чудовищной власти, о которой говорил и от которой предостерегал умирающий Ленин.

Известна странная привязанность Сталина к Бухарину, к «Бухарчику», как он его называл. Возможно, это была та самая ситуация привязанности палача к жертве.

Возможно, Сталину было нужно, чтобы «Бухарчик» остался на Западе вместе с семьей. Это дало бы Сталину возможность держать Бухарина в постоянном страхе, поскольку руки Сталина все удлинялись, и Бухарин не мог не знать об этом. Но главное — Сталину совершенно необходимо было, чтобы Бухарин, которого он вскорости сделает главою Правотроцкистского блока, «бежал, спасая свою шкуру от гнева народа, и бежал к своему хозяину Троцкому». Сталин был весьма примитивен в построении своих пропагандистских схем. Бегство Бухарина дало бы ему возможность воочию доказать некое единство этих двух необъединяемых и разномыслящих лидеров и оказаться в желательной для Сталина роли доверчивого и обманутого благородного вождя. Кроме того, это дало бы Сталину возможность еще раз подчеркнуть свою прозорливую настороженность к Бухарину (цитат для этого было предостаточно), прозорливую настороженность, отвергнутую Каменевым, Зиновьевым, Пятаковым и вообще старыми вождями, готовящими «ликвидацию советской власти».

Сталину нужно было, чтобы Бухарин не вернулся.

Для Сталина «спасение собственной шкуры» казалось важнейшим фактором человеческого поведения. Он презирал людей.

Однако для Бухарина важнейшим фактором человеческого поведения были совсем другие мотивы. Революционная преданность его социализму, как строю цивилизованных кооператоров, надежда окоротить власть Сталина оказались сильнее личных мотивов. Бухарин был очень органичен в своих поступках. В романе я пытаюсь проследить именно эту черту его характера. Трагические парижские дни дают, как мне кажется, немало объяснений решению Бухарина вернуться на верную смерть.

Я прошу Комиссию предоставить мне командировку в Париж для ознакомления с деталями и реалиями, совершенно необходимыми для достоверности романа. Прошу Комиссию ускорить свое решение, учитывая сжатые сроки, в которые я поставлен работой.

14. III. 1988 г.

Письмо подписано сатириком Л. Лиходеевым (он же Леонид Израилевич Лидсе).

Пушкину, когда он создавал свои «Маленькие трагедии», не нужно было писать заявление Николаю I, чтобы его за казенный счет послали в Испанию, Англию и Германию, а вот наши «старые контрпропагандисты» не могли, видите ли, лудить свою «нетленку», не побывав на берегах Гудзона или на Елисейских Полях...

НАДУВНЫЕ ФИГУРЫ

Время от времени, когда наступает пора сесть за очередную главу воспоминаний, я уезжаю в Калугу, открываю материнскую квартиру, обвожу взглядом фотографии родных, висящие на стенах, раскладываю на столе блокноты, папки, записи и потихоньку погружаюсь в сладостное рабочее состояние...

Время от времени, почувствовав усталость, я иду на кухню, чищу на обед картошку, кипячу чайник, завариваю чай либо варю пельмени. Словом, обживаю квартиру и в то же время, чтобы не скучать и соображать, какие события творятся в мире, включаю маленький радиоприемничек, висящий на гвозде, и слушаю одну-единственную программу, которая называется «Радио России» — «Настоящее радио», как аттестуют его всяческие ведущие, голоса которых я уже узнаю чуть ли не с первого слова.

Так меня за последние месяцы «достало» это радио, что я решил записывать по датам, когда и что они извратили, когда и в чем оболгали нашу прошлую жизнь, когда и как выплеснули в людские уши очередное помойное ведро пошлостей. Мы-то в Москве почти его не слушаем, но в провинции, где у многих людей другой связи с жизнью нету, «нормальное радио» — единственный источник, из которого волей-неволей им приходится хлебать пойло, приготовленное демократическими журналистами.

* * *

Третьего февраля 2001 года в одиннадцать ноль-ноль по «Радио России» выступал бывший сотрудник ЦК КПСС,

бывший посол России в Израиле, а ныне, видимо, пенсионер и желанный на радио публицист Александр Бовин. Я пил чай и от нечего делать слушал Александра Бовина. Вот что он говорил миллионам наших сограждан:

> ...надо возвратить японцам Курильские острова. Два обязательно, а остальные два желательно. Если это, с точки зрения некоторых политиков, территории спорные — все равно наш добрый жест, наша добрая воля окупятся...

Господин Бовин! Мы ушли из Восточной Европы, без дипломатического сопротивления уступили Западу наши позиции в ГДР, мы оставили в бывших странах Варшавского блока громадные материальные богатства — аэродромы, дороги, военные городки, культурные центры... И нечто большее — сотни тысяч наших солдат, похороненных в их земле. Проявили «добрую волю» — и что получили в ответ? Глумление над братскими могилами, приближение к нашим новым западным границам натовской военщины, небывалый накал советофобии и русофобии. «Лучше больная России, чем сильная», — как выразился Вацлав Гавел.

Выступил недавно по телевидению Ваш друг по демократическому разрушению Советского Союза, бывший председатель КГБ Вадим Бакатин, который выдал американцам все секреты нашей аппаратуры, вмонтированной советскими специалистами в стены американского посольства. Но как раз в день, когда Бакатин поздравлял с юбилеем своего подельника Горбачева, из Америки пришло сообщение о туннеле, который десять лет тому назад цэрэушники подвели под наше посольство в Вашингтоне. Так вот, господин Бовин, наши американские друзья, ахнув от подарка, который преподнес им Бакатин в 1990 году, не оценили его «доброй воли», не распустили слюни умиления, не покаялись в том, что туннель под нас подвели, и не впали в мазохистскую истерику, в которой пребываете Вы.

А что Вы говорили в этой передаче об Иисусе Христе?

> Иисус Христос был еврей. А кто такие христиане? Это диссиденты внутри иудаизма. Его распяли как еретика. Ведь христианская и православная церковь казнили еретиков. Если бы евреи не распяли Христа, то и христианства никакого бы не было... Католическая церковь признала, кстати, что, осуждая евреев за распятие Христа, она не права...

Сколько глупостей Вы намололи сразу в нескольких фразах — не счесть... Говорите, что Ватикан принес покаяние евреям за якобы «наветы на них», касающиеся распятия, а чуть раньше сами спокойно подтвердили, что иудеи распяли Христа, «как еретика» и «диссидента внутри иудаизма»... В середине передачи Вы признались слушателям, что являетесь внуком православного священника, крещеным человеком, и вдруг концы с концами свести не можете. Так кто же потребовал у Пилата казни Христа? Русские, что ли? Надо бы внуку священника и бывшему послу в Израиле знать простую истину, что у Божьего сына национальной принадлежности (пятого пункта) нет и быть не может, ни в паспорте, ни по существу. Еще одна Ваша глупость привлекла мое внимание. Рассуждая о «православном экстремизме», Вы сравнили наши гонения на раскольников с крестовыми походами и западноевропейской католической инквизицией. И это — на всю страну! А во время крестовых походов, свирепствования инквизиции и религиозных войн в Европе сотни тысяч мусульман, христиан и евреев (если иметь в виду изгнание евреев из всех цивилизованных стран Европы, сопровождаемое погромами) были уничтожены под знаменем борьбы за истинную веру. Так что не надо с больной головы на здоровую...

А как демагогически Вы на одну доску поставили (31 марта в 11.30) три исторических ситуации:

> Нас обвиняют в непропорциональном применении силы в Чечне. Македонцев — в том же и израильтян в том же.

Не надо передергивать. Чеченцы и албанцы — несколько поколений — живут в составе России и Македонии. А у пале-

стинцев есть международное право на создание собственного государства, для которого им нужны земли, оккупированные евреями. Так что здесь мы имеем две большие разницы.

По-моему, Вы все-таки что-то перепутали в своей биографии, ибо рассуждаете не как внук православного священника, а как отпрыск ветхозаветного фарисея...

А вот еще один пример радиолжи. Выступает 8 марта по «Радио России» вдова писателя, Андреева Алла Александровна Андреева, женщина с тяжелой судьбой — три замужества, «дважды вдова» (как она сама сказала), женский лагерь в Потьме, — и говорит:

> В потемском лагере была в нашем бараке женщина с номером на руке. Татуировку ей сделали в немецком лагере. Так наши, когда захватили немецкий лагерь, дали ей 25 лет за то, что она осталась жива в немецком лагере.

Я встречал за свою жизнь многих людей, побывавших в немецком лагере, — от львовского поэта Миколы Петренко до охотника с Нижней Тунгуски Романа Фаркова. Никто из них не получал никаких сроков за то, что «остались живы в немецком лагере». Четвертьвековые сроки получали только те, кто становился надсмотрщиком, помощником палачей, врачом, производившим опыты над заключенными, провокатором, выдававшим своих товарищей лагерным садистам...

И еще одна подлая ложь в той же передаче из тех же уст:

> ...вопреки советской власти, сопротивляясь ей, возникли такие люди, как Рихтер, Уланова и сотни других.

Да? А если продолжить: «такие, как Чкалов, Шолохов, Курчатов, Дунаевский, Твардовский...» А ведущая слушает, поддакивает и ни одним словом не желает поправить очень старую и, видимо, как говорят ныне, «неадекватно мыслящую» собеседницу.

23 февраля 2001 года. Устав от наглых, лживых и клеветнических монологов и диалогов, изрыгаемых «настоящим радио», я в очередную передышку включил телевизор и попал на «Глас народа», в то время когда представительница малого народа журналистка Евгения Альбац кричала в лицо космонавту Светлане Савицкой: «А вы знаете, что в семидесятые годы, пока Вы там летали в космосе, каждый четвертый ребенок в России рождался больным, детская смертность у нас была выше, чем в Занзибаре, чем в африканских и латиноамериканских странах, половина населения сидела в тюрьмах!»

А я лишь сегодня проходил мимо церкви, где в годы войны, да и в послевоенное время была так называемая детская кухня, в которой готовилось питание для маленьких детей — всяческие жидкие каши, кефиры, рисовые отвары. У меня и у моего друга Алика Мончинского были сестренки сорок первого года рождения, и для них мы имели право брать в детской кухне каждый день то ли бесплатно, то ли за какие-то копейки эти драгоценные бутылочки с едой. И такая система была создана государством в трудные годы по всей стране. Да я, уже став отцом, ходил на такую кухню в Москве в начале шестидесятых годов, и мы с женой, у которой не хватало молока, выкармливали из таких же бутылочек маленького сына. Разозленный и оскорбленный лживостью Е. Альбац, я достал справочник, называющийся «Положение детей в мире», изданный в 1991 году издательством «ЮНИСЕФ» при ООН, и тщательно изучил его. С клеветниками ведь тоже надо бороться умело. Все страны в таблицах справочника поделены на четыре категории: с очень высоким коэффициентом детской смертности, с высоким коэффициентом, со средним и с низким. СССР с 1960 по 1989 год находился в разделе «Средняя детская смертность» рядом с Югославией, Южной Кореей, Румынией, Ливаном, Объединенными Арабскими Эмиратами. Лучше, нежели в СССР, положение было в 40 странах, хуже в 88-ми. У большинства африканских, азиатских, южноамериканских стран (Мозамбик, Эфиопия, Бангладеш, Уганда, Боливия, Перу, Гондурас и т. д.) детская смерт-

ность, по данным ООН, была в 3—4 раза выше, чем в СССР. На острове Занзибар, в котором, по словам Альбац, «смертность была ниже, чем в СССР», коэффициент смертности был в 1960 году выше, чем у нас, в 5 раз, а в 1989 году в четыре раза.

Помню, как эта лгунья однажды очень досадила своими провокационными вопросами во время избирательной кампании Е. М. Примакову. А он ведь арабист и язык арабский знает прекрасно. И когда дама окончательно «достала» его, Евгений Максимович прямо-таки рявкнул: «А вы, Евгения Альбат...» Та аж взвизгнула от негодования. Я думал, что Примаков оговорился, но потом выяснилось, что словом «альбат» в арабском языке называют просто-напросто собаку женского пола, то есть суку.

Ну, облаяла эта Альбац в очередной раз Советский Союз, оклеветала историю. В суд подать невозможно — вроде бы лично никого не оскорбила, ответить по тому же ТВ — не дадут. Одно остается: посоветовать Е. Альбац, когда она соберется рожать какого-нибудь маленького шендеровича, то пусть отправляется на роды в Занзибар, где нет ни тюрем, ни заключенных и никакой тебе советской детской смертности...

Нет, нужен суд чести для профессиональных папарацци. Как только скажут, что в середине 70-х детская смертность у нас была похлеще, чем в Занзибаре, или что в те времена полстраны сидело в лагерях — сразу надо лишать права выступать, печататься, открывать на публике рот. Они больные. Их не судить, а лечить надо.

А вот мое впечатление о передаче Ирины Колесниковой, которую я услышал 3 марта 2001 года по радиостанции «Свобода». Речь шла об актрисах кабаре тридцатых годов. Вспоминала некая престарелая одесситка Мальвина Швидлер:

> Ну конечно, Крис-Гонорская была знаменита на всю Европу. Певица без голоса, но красива была, как бестия, и такой уверенности в себе, что голос ей был не нужен. Она в ожидании номера всегда сидела за кулисами в одних тру-

сиках. Во время войны в Киеве сделала блестящую карьеру, вышла замуж за какого-то очень важного немца.

А блистательная Клара Юнг! Она была еврейской актрисой сначала в США, потом в Восточной Европе и, наконец, в России. В то время все увлекались футболом, и за одну ее песенку Клару буквально носили на руках. «Я футболистка, с мячом играю, ножки раздвину — гол пропускаю!» Однажды эта Клара Юнг, которой не разрешил в России гастролировать какой-то крупный чиновник, пришла к нему в шубке. Он ее принял, она скинула шубку, а под шубкой — ничего! Через пятнадцать минут она получила право гастролировать по всей России!

Ах, если бы вы слышали, с каким нутряным придыханием и благоговением ведущая передачи слушала откровения Мальвины!

Да, племя Моники Левински остается верным себе... Впрочем, почему Моники Левински? И сама Моника, и Клара Юнг, и Крис-Гонорская, и Мальвина Швидлер, и все остальные «футболистки» — дочери их древней праматери Эсфири, очаровавшей варвара Артаксеркса и спасшей еврейский народ от очередных гонений... Отсюда и праздник Пурим, отмечаемый евреями в числа, близкие к 8 марта, и все передачи о кабаретных женщинах были посвящены этому женскому дню.

5 февраля 2001 года. На экране ТВ Немцов: «Долги надо платить, иначе мы будем страной-кидалой». Бывшему картежнику из Сочи (как говорит Жириновский) близка такая терминология.

Но разве мы уже не есть страна-кидала? А вернее всего — наша власть, которая все эти десять лет только и ломает голову над тем, как кинуть свой народ. В 1992 году Гайдар кинул всех граждан России, отпустив цены. Через два года Лифшиц, Уринсон и Геращенко кинули большую часть населения во время «черного вторника». В течение этих же лет Чубайс кинул весь трудящийся люд, провернув ваучерную аферу... Они поставили крест на утопической идее справедливого раздела общенародной собственности среди населения России.

В 1998 году Кириенко, Гайдаром и верхушкой либеральной экономической мысли был организован дефолт — и страну кинули так, что она переломала себе все косточки.

Ну а разве сам Немцов, будучи вице-премьером, когда он участвовал в продаже всей российской связи (операция «Связь-инвест») за смехотворные полтора миллиарда долларов, — разве он не кинул всех, кто эту связь создавал в течение нескольких поколений? А наши внешние так называемые советские долги? Почему мы не поделили их между всеми странами СНГ? Тогда бы они были на несколько десятков миллиардов долларов меньше, нежели сегодня.

А не смогли расстаться с ними потому, что наша российская элита захотела владеть всей зарубежной собственностью, бывшей в распоряжении Советского Союза. (Ее в противном случае тоже пришлось бы поделить.) Я ездил в 60—80-е годы за границу и представляю, о чем идет речь. Это особняки наших посольств, консульств, торгпредств, обществ культурной связи с различными странами. Это целые ухоженные и благоустроенные территории, с бассейнами, теннисными кортами, садами, парками, гаражами, гостиницами, жилыми домами, спортивными залами... Все, чем когда-то владел за рубежом Советский Союз, ныне досталось российскому зарубежному чиновничеству. То есть концентрация зарубежных благ для него, этого чиновничества, для этой хищной элиты заметно увеличилась. Как же можно было от всего этого отказаться! А долги? А долги все равно народ будет платить — за счет урезания бюджета, за счет невыплаты заработной платы и детских пособий, за счет сокращения всяческих социальных программ, за счет того, что с него будут драть последнюю шкуру за электричество, газ, воду, тепло... За счет вымирания народа вы будете плавать в этих зарубежных бассейнах, играть на этих теннисных кортах, гулять в этих парках и садах... Вот так-то, кидала Немцов.

Но что можно ответить всяческим демагогам, которые говорят: «Не нравится слушать или смотреть нас — нажми

кнопку, выключи телевизор, вытащи из розетки вилку. Информация — это обычный товар. Хочешь — покупай, хочешь — отказывайся». Хотел было я сообразить, почему это оправдание — лживая уловка, но открыл газету «Завтра» — и увидел, что ответ на этот вопрос в номере сформулирован очень точно:

> Это чушь, которая давно уже разоблачена в самой же западной философии. Информация, особенно представленная телевидением с его мощными художественными средствами, не является обычным товаром. Это такой тип товара, от которого человек при его потреблении становится зависим. А значит, он теряет свободу «покупать или не покупать». Торговля подобными товарами везде строго регулируется государством

Вопрос напомнил одну старую дискуссию. Тогда США потребовали от Колумбии военной силой уничтожить посевы коки и готовы были предоставить для этого технику и напалм. А то, мол, наркотиками травится молодежь в городах США. Кто-то из колумбийских писателей, кажется, Габриэль Гарсиа Маркес, ответил, что пусть в ответ США уничтожает корпорации, что производят духовную отраву для Латинской Америки — эти подлые фильмы насилия и лживую пропаганду. Или хотя бы поставят на своих границах заслоны для этой отравы. На это возразили именно так: пусть колумбийцы не смотрят эти фильмы, это просто товар. Это было явно слабое возражение, ибо и наркотики — тоже товар, причем чистый экологический продукт. Пусть американские юноши его не покупают.

5 февраля 2001 года. Передача «Воскресная лапша». Ведут некие Ксюша и Дима. Дима рассказывает на всю страну, как ему приснился страшный сон: какое-то существо катилось по полу к щели. Он от страха отпрянул, ударился коленкой, проснулся и увидел, как упал с кровати. Ксюша сочувствует, в ужасе восклицает «Ах!»

...Скоро они начнут рассказывать о своих нервных и телесных отправлениях. Рассыпаются в комплиментах друг другу: «Вадим, у вас волшебный голос», «Вас слушают интеллектуалы». Их речь пересыпана всяческими наглостями, амикошонством, вульгарным кокетством, пошлым высокомерием: «культовый хит», «то, что было, уже неинтересно», «интересно только прогрессивное». Но это еще пустяки. Помню, когда прогремел взрыв на Пушкинской площади, и ТВ передавало кадры с изображением обугленных и изуродованных тел, я ехал в машине и услышал по «Авторадио»:

Эти замечательные (!) кадры уже увидела вся страна.

Вот каких монстров посадили нам на шею.

23 февраля 2001 года. В этот армейский день «Свобода» заявила о том, что «чеченская война больше всего нужна российским солдатам и генералам». Мол, наживаются на войне и те и другие. Как на ней «наживаются солдаты», мы знаем. Сколько их лежит в российской земле — хорошо если на родных погостах. Да и семеро генералов потеряли на этой войне своих сыновей. Хороша нажива. Но если кто и нажились на чеченской войне, так это наши наглые известные папарацци: Елена Масюк, Анна Политковская, Андрей Бабицкий, уже издавший в Париже книгу о своих чеченских похождениях.

Хорошо бы узнать, какие гонорары в «зеленых» получили они за свои репортажи, за свои изыскания зинданов в расположении российских частей. Все это уже было. Вспомним, как один из фоторепортеров (кажется, «известинец») года три тому назад продал в немецкую газету снимки, на которых были изображены российские военные грузовики, волочащие на проволоке в ямы убитых мирных чеченцев. Какой был скандал! Но все лопнуло, когда выяснилось, что это похоронные команды очищают места боевых схваток. А за хорошие деньги немецкий репортер купил эти снимки у российского собрата по профессии!

13 марта 2001 года. Выступал известный актер Игорь Дмитриев и вещал:

> О Павлике Морозове, который продал своего отца и родных (!), я не читал. Я читал книги Пушкина, которые собирал мой отчим, за что, видимо, и отправили в лагерь...

Вроде бы человек много моложе вдовы Вадима Андреева, а ведь не стесняется излагать вкрадчивым баритоном эту глупую ложь. Не знает невежда, что в 1937 году, когда страна отмечала столетие смерти Пушкина, все книжные магазины были завалены его книгами.

26 апреля 2001 года. Утро. 7 часов 56 минут. «Би-би-си» объявила, что его эксперты признали «лучшими голосами XX века голос Фрэнка Синатры, на втором месте Элла Фитцжеральд, на третьем Барбара Стрейзанд». Ну конечно, ни Энрико Карузо, ни Федора Шаляпина, ни Монтсеррат Кабалье в XX веке не существовало.

А вот такую шутку я слышал по «Радио России» *1 апреля 2001 года:* «Создан клуб Вампиров, Оборотней, Вурдалаков, сокращенно — «ВОВ». Как будто ведущая Татьяна Визбор не знает, что героическая аббревиатура ВОВ означает в нашей памяти — Великая Отечественная Война... Но лишь бы куснуть лишний раз из подворотни.

«Радио России» от *27 апреля 2001 года. 11 часов утра.* Хрипло, с натугой, с кряхтеньем, словно бы человек, произносящий слова, страдает тяжелым запором, актер выдает в эфир: «Так закаляется сталь». Оказывается, рекламируется кинопремия — «так выковывается Ника». За какие-то жалкие нынешние российские фильмы. Мы ведь теперь, подражая американцам, свели наше кино к тусовочной суете вокруг премий, и ради этого балагана ну как же не плюнуть еще раз в героическую эпоху Николая Островского!

А статуэтку «киношной Ники» надо, конечно, отливать не из стали, а из какого-нибудь позолоченного дерьма.

«За стеклом», «Последний герой», «Слабое звено» — их создатели и апологеты кричат на всех перекрестках, что рейтинг этих передач крайне высок, а значит, они любимы народом и нужны ему..

А знаете рейтинг каких зрелищ в средневековой Западной Европе был самым высоким? Аутодафе и публичные казни. В них участвовали тысячи, десятки тысяч обывателей, к ним готовились, их сценарии расписывались ловкими режиссерами, в них принимали участие самые высокие особы — даже королевской крови. Бывало, что они, особенно в Испании, — первыми поджигали хворост в кострах, на которых, корчась, умирали в муках «ведьмы», мараны, евреи, еретики, дерзкие естествоиспытатели вроде Джордано Бруно, народные вожди, подобные Яну Гусу... Такого рода развлечения западноевропейской черни с веками трансформировались в самые грязные, античеловеческие и разрушительные для души и совести зрелища. На Руси они тоже были. Но популярностью, а тем более любовью никогда не пользовались. Народ молчал, крестился, отворачивался, глядя на казни стрельцов и бунтовщиков вроде Степана Разина и Емельяна Пугачева. А на Западе, глядя на черное пламя костра, пожирающее очередную жертву, народ пил вино, веселился, танцевал, участвовал в карнавальных шествиях. Да и самих осужденных одевали в балахоны, шутовские колпаки, маски, и в таком карнавальном наряде, со свечами в руках они всходили на костры под смех и улюлюканье толпы... А какими массовыми зрелищами — с пением «Марсельезы», с рукоплесканьями и с восторгами черни — проходили казни королевского семейства, аристократов, а потом и самих якобинцев на Гревской площади! С каким восторгом встречали парижские люмпены изобретение доктора Гильотена!

Двенадцать лет меня не приглашали на отечественное телевидение. Ни на одну программу. И вдруг — звонок. С программы, которую ведет министр культуры Михаил Швыдкой.

«Михаил Ефимович приглашает вас принять участие в нашей передаче». — «А тема?». — «Тема такая: патриотизм как последнее прибежище негодяев». Меня аж передернуло. Я же — патриот. Но на всякий случай перед тем, как отказаться, я спросил: «А кто кроме меня приглашен?» — «Анатолий Приставкин и Юрий Черниченко». У меня отлегло от сердца, есть удобная возможность отказаться без резких слов. «Ну что вы! С этими людьми, после того как они подписали в 1993 году письмо, призывающее к репрессиям, я встречаться не могу. Извините. Может быть, в другой какой-нибудь передаче — пожалуйста». Швыдкой был настойчив и не заставил себя долго ждать. Через месяц опять звонок. «Станислав Юрьевич, в нашей программе «Культурная революция» будет передача на тему: «Разрушает ли телевидение национальную культуру?» Мы вас приглашаем, Вы обещали...»

И я согласился. Думал, соображал — что я скажу. Дело ответственное. Да за двенадцать лет я как-то разучился выступать в телевизионных жанрах. А соображений много. Что выбрать? Ну, например, я должен сказать, что прежде всего мы разрушаем национальную культуру, когда десятки миллионов людей слышат с телеэкрана прямую и бесспорную неправду. Неправду о нашей истории, о нашей культуре, о нашей судьбе. Ложь всегда разрушительна. Недавно, к примеру, выступал в программе у Швыдкого кинорежиссер Андрей Смирнов. Ну не в себе человек. С яростью, с искаженным от бушующих в нем страстей лицом кричал в зал с подиума: «Разве можно простить советской власти ее преступления! Мы кичимся нашей победой в войне. А какова цена этой победы? На каждого немецкого солдата приходилось семеро наших убитых солдат. Вот какое антинародное бесчеловечное руководство у нас было при Сталине...» Я все ждал, что ведущий — министр культуры, человек знающий и образованный, вежливо скажет: «Ну что вы, Андрей Сергеевич! По самым разным объективным источникам и военно-историческим исследованиям, в том числе и зарубежным, прямые военные потери немецких войск были чуть больше семи миллионов че-

ловек, а наши около девяти миллионов. Значит, на каждые десять немецких солдат мы теряли всего лишь тринадцать. А если верить вам, то наши военные потери должны были быть около пятидесяти миллионов. Такого быть не могло, потому что мужчин призывного возраста в Советском Союзе за годы войны было всего лишь около тридцати миллионов. И половина из них работала в тылу...» Ну в крайнем случае, если бы Швыдкой не сообразил такого варианта восстановления исторической истины, можно было отшутиться:

— Андрей Сергеевич! Вы же ставили фильм «Белорусский вокзал». А там звучит замечательная песня на слова Булата Окуджавы: «А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим!» Чего ж теперь вы цену этой победы до таких лживых высот подымаете? Нехорошо!

И словно заразившись истерическим припадком Андрея Смирнова, депутат Госдумы Владимир Рыжков (Рыжков-молодой) тут же закричал: «Конечно, у нас была бесчеловечная власть — десятки тысяч священников были живьем закопаны в землю в двадцатые годы» (цитирую буквально).

Я обомлел от такой цифры, но вспомнил, что у меня на полке стоят две книги: одна «Новые мученики российские», изданная в 1949 году в Джорданвилльском монастыре, составленная протопресвитером М. Польским, и вторая — «Трагедия русской церкви 1917—1945» Льва Регельсона (ИМКА Пресс, 1997 г.). Обе о том, когда, как и сколько погибло в России во времена воинствующего атеизма высших иерархов церкви, священников, монахов.

Я внимательно перечитал их. Да, в эти трагические времена за антисоветские проповеди с амвона, за сопротивление изъятию церковных ценностей и даже за отказ от воинской службы молодая и жестокая власть, боровшаяся за свое существование, беспощадно карала всех сопротивлявшихся ее воле.

Как повествуют две эти книги, в 1918 году на территории бывшей Российской империи было убито пятнадцать митрополитов, расстреляны крестные ходы в Харькове и Туле, Воронеже и Шацке (погибло 13 человек).

В 1919 году погибли один митрополит, восемнадцать архиереев, сто два священника, сто пятьдесят четыре дьякона, девяносто четыре из монастырской братии.

В 1920 и 1921 годах, если верить этим книгам, жертв среди служителей церкви не было.

Но в 1922 году, после письма Ленина об изъятии церковных ценностей, за сопротивление 11 человек было приговорено к расстрелу, расстреляли, правда, четверых, во главе с митрополитом Петроградским Вениамином.

В 1923 году двух католических священников приговорили к смерти, но один из них был помилован. На стр. 320 книги Льва Регельсона подведен некоторый итог — с января 1918-го по март 1922 года «погибло в России мученической смертью 28 православных епископов и 1215 священнослужителей». После 1923 года – по завершении гражданской войны нравы начали смягчаться — расстрелы, и самосуды, и карательные меры постепенно были сведены к арестам, ссылкам на Соловки и Север, к закрытию церквей и монастырей, ко всякого рода издевательствам в печати

Так что шизофреническое заявление депутата Госдумы Рыжкова-младшего о «десятках тысяч заживо закопанных в землю» было сделано по геббельсовскому принципу: чтобы обыватели поверили в ложь — она должна быть чудовищной.

А впрочем, ложь и Евгении Альбац, и Владимира Рыжкова, и Андрея Смирнова может иметь иное происхождение. Когда я приехал по приглашению Михаила Швыдкого на передачу в его роскошную телестудию на Волхонке, то меня доброжелательные помощницы тут же отвели в особую комнату, где стол ломился от водок, коньяков и вин, от изысканных бутербродов с икрой, ветчиной, сырами и колбасами, от ваз с фруктами.

За столом сидели приглашенные на действо шоумены, политики, актеры — Николай Сванидзе, Леонид Якубович, Эдуард Сагалаев, Борис Ливанов и многие другие, калибром помельче. Они непринужденно общались, тусовались, выпивали, каждый сколько хотел, атмосфера в комнатке царила приподнятая, многословная, свойская.

Я, двенадцать лет — с 1990 года — не бывавший на новом демократическом телевидении, несколько опешил: чтобы в советские времена вот так, перед самой передачей, опрокидывать рюмку за рюмкой! Я уж молчу о немалых расходах, потраченных на застолье, но ведь разгоряченные участники так все что угодно могут наговорить десяткам миллионов обывателей, вперившихся в экран...

Так вот, видимо, в чем истоки клеветы или глупости, вылетавших в предыдущих передачах из уст Евгении Альбац, Владимира Рыжкова, Андрея Смирнова (помимо их исторического невежества), — скорее всего все сенсационные откровения о детской смертности в СССР, о наших военных потерях, о «десятках тысяч закопанных заживо священников» рождались в нетрезвых головах фигурантов. А может быть, нынешние закулисные нравы на ТВ другими уже быть и не могут? Без этого антуража, без этого допинга знаменитости, может быть, уже и не мыслят своего участия в шоу? ...Впрочем, наша передача прошла без особых сенсаций и потрясений. Министр культуры, пришедший перед началом шоу и не принимавший участия в застолье, был энергичен, целеустремлен, трезв. Он сразу же взял ход действия в опытные руки, и передача пошла, как по маслу. Правда, когда она закончилась, мной овладело сильное чувство недовольства самим собой: готовился я к ней не так, как надо бы, сделал несколько слишком серьезных домашних заготовок, половину которых обнародовать не сумел. Не та атмосфера была. Слишком легкомысленно игровым оказался для меня стиль передачи, где надо было остроумничать, шутить, смешить публику и партнеров, и всякая попытка быть серьезным тут же пресекалась умелой репликой, нарочитым удивлением, легкой шуткой.

Сидит рядом со мной на подиуме Познер и снисходительно цедит через губу, что телевидение — это бизнес, деньги, реклама и большего от него требовать невозможно. Какая «национальная культура»? Зачем? О чем разговор?

Выступает актер Ливанов и рассказывает «бородатый» анекдот о Сталине — я его слышал еще в 60-е годы — все смеются... Встает всеобщий любимец Якубович, изображает шуточную пикировку со Швыдким и под одобрительный шум зала разыгрывает сценку из своего «Поля чудес»... Пытался я было два-три раза затеять реальный разговор о том, что, воспитывая «человека игры», мелкого авантюриста и потребителя шоу, наши «воспитатели чувств» играют с огнем, что киллер, застреливший основоположника жанра Влада Листьева, тоже ведь был по натуре игроком, что убийство — высшая кульминация, развязка в «игре жизни», насаждаемой сидящими в зале, что Сталин не зря с мистической точностью сказал про авантюриста Гитлера, когда узнал о его самоубийстве, — «доигрался подлец». Но все мои попытки свернуть в «мировоззренческую», глубокую колею пресекались, как нечто нарушающее правила игры, как что-то почти неприличное и даже нецензурное, как досадно чуждая всем им, пришедшим сюда потусоваться и ощутить свою естественную и приятную общность друг с другом...

В один из моментов этого идеально организованного, отлаженного шоу я огляделся и увидел по периметру зала резиновые надувные фигуры, изготовленные в форме человеческих тел. Они, как бы смонтированные из громадных разноцветных презервативов, раскачивались под потоками воздуха в разные стороны. Бороться с этими безглазыми надувными монстрами было бесполезно! Они колыхались, уклонялись от моих ударов, гримасничали, дразнили меня: попробуй попади в нас, сбей с ног, нанеси удар — мы тени, мы существа виртуального мира!

«Где-то подобную сцену о бесполезности борьбы с существами иного мира читал из классики», — подумалось мне, а когда я пришел домой, вспомнил: «Это из Гоголя!» Полез на книжную полку, открыл «Пропавшую грамоту», нашел место, где наивный малороссийский казак в поисках заветной грамоты попал в застолье к нечистой силе: «придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины, взял вилку, мало чем

поменьше тех вил, которыми мужик берет сено, захватил ею самый увесистый кусок, подставил корку хлеба и — глядь, и отправил в чужой рот. Вот-вот, возле самых ушей, и слышно даже, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол. Дед ничего; схватил другой кусок и вот, кажись, и по губам зацепил, только опять не в свое горло. В третий раз — снова мимо. Взбеленился дед; позабыл и страх, и в чьих лапах находится он. Прискочил к ведьмам: — Что вы, иродово племя, задумали смеяться, что ли, надо мною?»

А если говорить серьезно, то не раз от невозможности сказать все, что я хочу, во время передачи у меня буквально пересыхало во рту, И половина моих заготовок от отчаяния улетела из моей головы.

Я жаждал сказать о том, что никакого достойного уважения к культуре и ее творцам у наших папарацци нет. Даже к людям, нужным им в политической игре, они относятся с циничным пренебрежением. Когда умер столь милый демократам несчастный ниспровергатель советской жизни Виктор Астафьев, российское «Настоящее радио» 30 февраля 2001 года в 9 часов утра объявило, что «умер писатель, на которых держится Россия, всемирно известный Виктор Астахов». Три раза в тексте некролога мелодичный женский голос повторял: Астахов. Не поперхнулся, не поправился. Не извинился. Зато, когда в том же феврале одновременно шла многодневная теле- и радиопанихида по одному из битлзов Харрисону, наши папарацци, произнося сотни раз его не самую простую фамилию, не ошиблись и даже не споткнулись не разу.

Хотел я еще спросить моего спарринг-партнера по подиуму Познера, уверявшего, что ТВ — это прежде всего коммерция:

«Владимир Владимирович, программа «Намедни» недавно рекламировала украинский фильм о Мазепе, в котором гетман, естественно, герой, а Петр I — выродок и педераст. Как Вы думаете, для чего это делается? Чтобы гривны заработать или хоть немного, но растлить наше понимание истории, Пушкина, Карамзина, Ключевского?» Но когда я постарался вкли-

ниться в монолог Познера о коммерции, он резко клацнул зубами: — Не мешайте! Я Вас не перебивал! — что, впрочем, было истинной правдой. «Зачем я здесь сижу?» — подумал я. В этом гоголевском, надувном, пересмешническом мире свойской сплоченной компании мне ничего подлинного сообщить не дадут: ни вклиниться, ни нарушить течения событий, и, конечно же, никого не переубедить. Один, правда, Михаил Леонтьев вдруг неожиданно поддержал меня, сказав из публики, что он боится за свою дочь и запрещает ей смотреть телевизор... На секунду возникла неловкая пауза, но опытный Швыдкой какими-то фразами быстро исправил положение и вырулил на прежнюю игровую колею.

К нему, кстати, у меня нет никаких претензий.

Он не диктаторствовал, был вежлив и улыбчив, и, когда передача вышла в эфир, я увидел, что никаким сокращениям или искажениям слова, сказанные мною, не подверглись...

Но разве в этом дело? Дело в том, что когда я был в 1990 году в Америке, то один из американских папарацци в ответ на мои упреки о тенденциозности, а порой и неправде, исходящей из-под пера людей его профессии, сказал мне фразу, о которой я уже упоминал и которая многое мне объяснила: «Хорошие новости — неинтересны». Может быть, следуя этому мерзкому закону, по еще горячим следам страшного взрыва в переходе под Пушкинской площадью летом 2000 года один из папарацци и воскликнул, с восторгом глядя на картины смерти, крови, искаженных лиц несчастных людей: «Вы видели эти замечательные кадры!» О, подлое племя!

Выходя из игрового зала, я остановился, оглянулся... Я выходил последним. За мной в глубине колебались, шевеля пухлыми резиновыми ногами и руками, женские фигуры. Невольно вспомнилось: «Я футболистка, в футбол играю, ножки раздвину — гол пропускаю». Фигуры колыхались вправо-влево, пропуская между пухлых, надутых ног виртуальные голы после ударов непревзойденных мастеров шоу-футбола —

Сагалаева, Сванидзе, Якубовича, Познера... Один из таких голов даже заколотила темнокожая Ханга...

Потом опять было застолье, во время которого ко мне подошел Сагалаев и откровенно сказал:

— Вы человек неопытный в нашем деле, и я скажу вам прямо: искусство, актеры, литераторы, композиторы нам иногда бывают нужны, но в особых обстоятельствах. В каких? Ну, допустим, могучая фирма производит стиральные порошки, ставит себе целью резко увеличить на них спрос и заказывает нам рекламный клип. Мы приглашаем Алена Делона и Мадонну за баснословные гонорары. Сочиняем сценарий, в котором Ален Делон хочет, простите меня, трахнуть Мадонну, увлекает ее на опушку леса, на изумрудную влажную траву — он в роскошных белых брюках, она в кремовом платье... Ну а после всего — зеленые, чудовищные несмываемые травяные пятна спокойно отстирываются новым гениальным стиральным порошком.

Вот для чего нам нужны великие имена кино и эстрады, песни и литературы. А так, без этого, без фирмы, производящей порошки, — зачем вы нам?

Действительно, зачем мы им!

«Четвертая власть», «властители дум», «борцы за права человека» — какими только высокими званиями не награждали себя наши папарацци. Но на Западе, который, в сущности, и породил это племя, им знают настоящую цену. Когда за их спинами не стоят истинные хозяева с подлинной властью, с деньгами, с непререкаемым авторитетом, то к ним относятся так, как они того заслуживают — как к «обслуживающему персоналу», как к наемным шестеркам, как к ручным псам. Я окончательно убедился в этом, когда увидел телевизионный репортаж с базы Гуантанамо на Кубе, где в железных клетках сидят якобы боевики Аль Кайды, плененные в Афганистане. Наши папарацци, узнавшие, что в числе заключенных есть и российские граждане, каким-то образом проникли на базу, чтобы повстречаться с ними. Но американские охранники бы-

ли непреклонны и никакого «права на информацию» не признавали, вели себя надменно и сурово. «С заключенными все контакты и разговоры запрещены, подходить к клеткам — нельзя, фотографировать — ни в коем случае». Чуть что — они с каменными мордами разворачивались к журналистам грудью, на которой висел автомат.

Журналистам только и разрешили, что посмотреть тюремную одежду, в которую обряжают пленников. Да и то лишь поглядеть на нее, расстеленную на полу, но ни в коем разе не прикасаться! И ничего! Стерпели наши голубчики унижения и улетели не солоно хлебавши обратно в Россию. Поняли, что Гуантанамо это ведь не Чечня, где бабицкие, масючки и политковские творили все что угодно, издевались над русскими офицерами, врали, провоцировали, проникали нелегально в самые запретные места военных расположении с криками о «праве на информацию». А когда однажды один из офицеров сделал наглому папарацци замечание, что военные объекты фотографировать нельзя, то молодой представитель второй древнейшей профессии закричал на офицера, который ежедневно рискует жизнью, выполняя свой долг, как на подчиненного, и бедный майор стушевался, замолк, отошел в сторону, повесив голову.

Как мне тогда, помнится, захотелось закричать, чтобы услышало все униженное российское воинство: ребята, будьте, как американцы, суньте паршивцу ствол автоматный в зубы, разбейте камеру, выгоните в шею за пределы своей воинской части, будьте мужчинами!

ЧАСТЬ II

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — ЮДОФИЛ И ЧЕРНОСОТЕНЕЦ

Во времена моей литературной молодости самым многотиражным и популярным считался, конечно, журнал «Юность».

Его главный редактор Валентин Катаев — блистательный стилист, умный и расчетливый человек, был кумиром левой молодежи. Евтушенко, Вознесенский, Рождестсвенский, Аксенов, Гладилин, Амлинский — не без основания считали журнал своим домом, а Катаева отцом родным, называя его уважительно и почти душевно: «Валюн»...

Но и я всегда читал его прозу с интересом, а иногда и с восхищением. До сих пор помню героев его суровой повести «Сын полка», прочитанного еще подростком во время войны. А «Белеет парус одинокий» — как не пересматривай ныне историю, по моему убеждению, одна из лучших повестей для юношества, как, впрочем, и «Школа» Аркадия Гайдара. И даже совершенно забытая ныне повесть «Шел солдат с фронта» до сих пор помнится мне яркими картинами, сильными характерами, увлекательным сюжетом. Что и говорить — талантливый был человек, под стать другому замечательному писателю-авантюристу Алексею Толстому. О них обоих, кстати, не зря была сочинена хлесткая эпиграмма:

Я стих свячу Тоской,
Читая негодяев,
Как Алексей Толстой
И Валентин Катаев.

Лично с «Валюном» я познакомился в 1967 году в Переделкино. Я тогда был составителем юбилейного (50 лет советской власти!) сборника «День поэзии» и, узнав, что Катаев всю жизнь пишет стихи, поехал к нему на дачу: чьи же еще стихи печатать в таком номере, как не одного из немногих свидетелей и участников революции! Кстати, недавно, перелистывая этот юбилейный номер, нашел в нем много забавного. Как лакейски-восторженно в тот год нынешние ренегаты от литературы воспевали власть Советов!

Ну что тебе гражданская война!
Отечественной, что ли, не хватило?
Но почему-то сызнова она
Кавалерийской лавой накатила.

Это тихий и вечно себе на уме Константин Ваншенкин, ныне осмелевший и всячески пинающий мертвого советского льва в своих недавно изданных мемуарах.

Эти гении рубок и митингов жарких,
Комиссары далекой гражданской войны,
В сапогах из кирзы
и в скрипучих кожанках
наполняют мои беспокойные сны.

Это феноменально бездарный Владимир Савельев, в августе 1991 года первым запустивший в газеты лживую весть о том, будто бы Союз писателей СССР — осиное гнездо гэкачепистов, и сделавший себе на этом доносе карьеру при новом режиме. Римма Казакова, до сих пор жадно ищущая местечко в демократическо-тусовочном истеблишменте, в 1967 году славила во все горло «красное это пространство на карте».

Но бог с ними, с мелкими ренегатами, речь не о них, речь о человеке куда более крупном — о Валюне...

Он принял меня в Переделкине с радушием человека, привыкшего к восхищению молодых литераторов, но одно-

временно умеющего понимать молодость, подлаживаться к ней, подпитываться ее энергией.

— Ха-ха! Вспомнили, что Катаев начинал как поэт? А Катаев всю жизнь стихи пишет! Его Иван Алексеевич Бунин еще благословил на сей подвиг!

Он был в какой-то изысканной фланелевой рубашке, чисто выбритый, благоухающий дорогим одеколоном.

Его глаза озорно поблескивали, а крючковатый нос с хищно вырезанными ноздрями как будто принюхивался к новому посетителю. Как бы желая уяснить его сущность. И весь он излучал некое сияние лоска, комфорта, успеха. Победитель, да и только! Он пригласил меня за широкий письменный стол и, покопавшись в книжных полках, достал папку со стихами.

Стихи были написаны явно талантливой руной и выгодно отличались от мертвой революционной риторики всяческих Безыменских и Антокольских, впоследствии напечатанных в том же «Дне поэзии».

Мы с ним отобрали из папки несколько стихотворений, и я уехал.

Главный редактор сборника Ярослав Смеляков, когда узнал, что у нас есть стихи Катаева, удивился, но остался чрезвычайно доволен.

Второй раз мне пришлось поговорить с Валентином Петровичем через десять с лишним лет, когда он, один из секретарей Московской писательской организации, позвонил из Переделкина и, не найдя Феликса Кузнецова, с раздражением сорвал свою досаду на мне:

— Я не приеду на ваш секретариат, и вообще моей ноги в Московской писательской организации не будет. Кого вы там принимаете в Союз писателей? Ивана Шевцова? Ваш секретариат войдет в историю, как исключивший из своих рядов Василия Аксенова и принявший Ивана Шевцова. Так и передайте мои слова вашему шефу!

Я не удивился, поскольку знал окружение Валюна, национальный состав сотрудников редакции «Юности» в его редакторскую бытность. Как было ему иначе откликнуться на

прием в Союз писателей Ивана Шевцова? Только так. Недаром же Евтушенко в своих мемуарах пишет, что «Катаев был крестным отцом всех шестидесятников». Но каково было мое изумление, когда буквально через несколько месяцев в июньском номере «Нового мира» за 1980 год я прочитал трагическую катаевскую повесть «Уже написан Вертер».

Террор еврейского ЧК в Одессе, революционный палач Макс Маркин, местечковый вождь еще более крупного масштаба Наум Бесстрашный, бывший террорист эсер Серафим Лось — он же Глузман, и целая армия безымянных исполнителей приговоров, расстрелы в гараже, юнкера, царские офицеры, красавицы гимназистки, которых заставили раздеться перед смертью — все это в 1980-м году, задолго до того, как мы прочитали «Щепку» В. Зазубрина или мельгуновский «Красный террор», буквально потрясло читающую и думающую Россию.

Как стыдливо вспоминает Анатолий Гладилин в статье к 100-летию Валюна: «Помнится, после «Уже написан Вертер» страсти опять разгорелись». Однако о том, что пожар вокруг Катаева, нарушившего табу на «русско-еврейский вопрос», разгорелся нешуточный, свидетельствует письмо, пришедшее от читательницы на адрес Московской писательской организации летом 1980 года. Оно было обращено к Катаеву, но я не рискнул передать столь оскорбительное послание восьмидесятидвухлетнему старику. Письмо анонимное. Стиль и орфография — как в подлиннике.

Пишу, прочтя книгу «Уже написан Вертер» и думаю, что это жгучая зависть, что Вы просто хороший советский писатель, но и только, а курчаво-шепеляво-слюнявые Эренбург, Пастернак, Гейне, гении, которые останутся в веках. Вообще я думаю, что такая ненависть может быть объяснена только завистью. Какое имеет значение, какие губы, какой нос! Главное это нутро человека, его душа и его дела. А дела Курчавого Маркса бессмертны и сейчас, преклоняясь перед ним, миллионы людей совсем не интересует шепелявил он или картавил. И когда он писал свой великий лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», то он не думал, что его заменят на «Бей жидов, спасай Россию», а

по вашему, по интеллигентному, как написано в вашем бреде сивой кобылы «Будьте Вы все прокляты». Троцкизм[1] хоть и безусловно ошибочное течение, но в таком тоне о нем писать просто глупо и изображать евреев как гитлеровцев это значит быть им самому. Всем честным русским людям (Короленко, Горький, Маяковский, Толстой, Евтушенко) всегда был чужд и ненавистен антисемитизм и шовинизм, которым так и дышит Ваше писание. А как же быть с картавым Лениным? Ведь мать у него была Бланк, это потом она стала Ульяновой и подарила миру своих четырех таких прекрасных детей.

Хотя сейчас в наше время Ленина бы не только не приняли в партию, его даже не взяли бы на работу в полурежимное предприятие, ведь сейчас проверяют родство до третьего колена, как при Гитлере. Так что можете гордиться. Ваша так называемая повесть в духе времени.

Да сколько бы евреев не жгли, не резали, не убивали физически и духовно, они могут и должны идти с гордо поднятой головой. Этот народ дал миру таких гениев, как Эйнштейн, Бор, Маркс, Гейне, Фейхтвангер. Эренбург, Левитан, Пастернак, Мандельштам, Маршак и многие другие. И хоть у вас вполне арийское лицо, через 50—100 лет вы канете в вечность, а они, губастые, носастые, останутся в веках пока будет существовать этот мир. Их имена будут стоять рядом с именами тысяч честных гениев всех национальностей. И никакие плевки подонков вроде вас не сотрут их с вековой летописи.

Я все думала, почему единственный отрицательный тип в повести — русская женщина (остальные все евреи), а потом поняла, как же аристократ может унизиться до того, чтобы лечь с жидовкой. А вы знаете Витте унизился, но он все равно останется Витте, а вы Катаевым.

Жидовка с лошадиной-лосиной физиономией[2].

Возмущенная читательница не знала, что жена «антисемита Катаева» была женщина с библейским ветхозаветным именем Эстер и что зятем Валюна является главный редактор журнала «Советише Хаймланд» Арон Вергелис. Да, да, тот

---

[1] В предисловии к повести редакция объясняет факт ее публикации необходимостью бороться с «охвостьями троцкизма».

[2] Слова из катаевской повести, характеризующие одного из ее персонажей.

самый Вергелис, который в 1949 году написал письмо в партийную организацию Союза писателей с требованием очистить литературные ряды от сионистов, буржуазных националистов и просто бездарных писателей еврейского происхождения. Не знала он, наверное, и то, что стихи Пастернака и Мандельштама в повести вспоминаются много раз…

Работая над этой главой, я решил перечитать повесть, чтобы освежить в памяти многое, по поводу чего негодовали в 1980 году анонимная поклонница Маркса и Ленина. Я пошел в областную библиотеку имени В.Г. Белинского, нашел в каталоге среди десятков изданий Валентина Катаева два, в которых была напечатана повесть, и спустился в абонементный зал.

Мы с женщиной, бывшей на выдаче книг, прошли в книгохранилище, нашли полку с изданиями Катаева, пересмотрели их все, однако ни одного, ни другого издания с повестью на полке не было.

— Книги пропадают, — с огорчением ответила библиотекарша на мой вопрос.

Тогда я пошел в соседний читательский зал периодики и попросил выдать мне июньский номер «Нового мира» за 1980 год, но, открыв его, я ахнул. Страницы 122—158 журнала были аккуратно вырваны, что называется, под корешок.

Видя мое огорчение, сотрудница библиотеки пришла на помощь:

— У нас есть еще один контрольный экземпляр, который вообще-то не выдается, но раз вам очень нужно...

Я сел за стол, перечитал повесть и выписал несколько отрывков из нее, которые и возмутили двадцать лет тому назад «жидовку с лошадиной-лосиной физиономией» и которые, наверное, послужили причиной того, что с библиотечных стеллажей исчезли две книги Катаева, а из «Нового мира» было вырвано 28 страниц.

О Науме Бесстрашном:

> Стоял в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был буденновский шлем с суконною звездой.

О чекистах одесской «чрезвычайки»:

Юноша носатый... черно-курчавый, как овца.

О бывшем эсере-террористе Серафиме Лосе:

Ему не нравилось, что Маркин назвал его Глузманом.

О главном чекисте:

У Маркина был неистребимый местечковый выговор. Некоторые буквы, особенно шипящие, свистящие и цокающие, он произносил одну вместо другой, как бы с трудом продираясь сквозь заросли многих языков — русского, еврейского, польского, немецкого.

— У тебя сидит один юноша, — начал Лось.

— А ты откуда знаешь, что он у меня сидит? — перебил Маркин, произнося слово «знаешь», как «жнаишь», а слово «сидит», как «шидит».

— Ты просишь, чтобы я его выпустил?

Он произнес «выпуштиль».

— Я застрелю тебя на месте.

«На месте» он произнес как на «мешти».

О юнкере Диме, ненадолго вышедшем из ЧК, в то время как его фамилия уже была напечатана в списке расстрелянных:

Увидев его, квартирная хозяйка; жгучая еврейка... вдруг затряслась, как безумная, замахала толстенькими ручками и закричала индюшачьим голосом: — Нет, нет, ради бога нет. Идите отсюда! Идите! Я вас не знаю! Я о вас не имею понятия! Вы расстреляны и теперь вас здесь больше не живет. Я вас не помню! Я не хочу из-за вас пострадать!

Еще о Науме Бесстрашном:

Теперь его богом был Троцкий, провозгласивший перманентную революцию... У него, так же, как и у Макса Маркина, был резко выраженный местечковый выговор и курчавая голова, но лицо было еще юным, губастым, сальным, с несколькими прыщами.

И наконец, о них всех предсмертная записка русской дворянки Ларисы Германовны, увидевшей в расстрельных списках имя своего сына юнкера Димы: «Будьте вы все прокляты».

...Да, не прост был Валюн, «крестный отец всех шестидесятников», бывший юнкер, из рода русских офицеров и учителей, дворянин по происхождению, участник первой мировой войны... Наверное, его настолько потрясли кровавые ужасы еврейско-чекистского террора, развернувшегося по воле Троцкого, Землячки (Залкинд) и Бела Куна, что всю оставшуюся жизнь, с одной стороны, он подлаживался к советской власти «страха ради иудейска», а с другой — тайно мечтал написать всю правду о кошмаре, свидетелем которого юный Катаев стал в 1920 году.

И можно было себе представить, как, лелея и воспитывая шестидесятников, демонстративно разыгрывая истерику против принятия в Союз писателей «антисемита Ивана Шевцова», соглашаясь с расхожим мнением критиков, что он, Катаев, является представителем знаменитой «одесской школы», вместе с бывшими чекистами Бабелем и Багрицким, вместе с Олешей и Львом Никулиным, как Валюн ждал своего часа, чтобы посчитаться со всей этой братией и сказать когда-нибудь (лучше перед самой смертью, чтобы у них не оставалось времени затравить его!) всю правду — как бы это ни ошеломило шестидесятников — всю правду об их местечковых дедах и отцах.

Но надо отдать должное и либералам-шестидесятникам: выдержка и партийная дисциплина у них, детей профессиональных революционеров, террористов и подпольщиков, оказалась на высочайшем уровне. Никто из них в том 1980 году не посмел разрушить в глазах читательской общественности образ своего вождя и вольнодумца Валюна: ни одной статьи, ни одной рецензии, ни одной речи на каком-нибудь партсобрании не появилось в те годы. Лишь далекие от партийной, дисциплины читательницы с «лошадиными физионо-

миями» и местечковым акцентом, негодуя, посылали письма в редакции газет и журналов да в Союз писателей. Но письма эти складывались в архив. Утечки информации относительно взглядов Валюна не должно было быть!

То, что Катаев сознательно и продуманно осуществил план своего исторического реванша, что такого рода национальные соображения не были случайны для него, подтверждается весьма любопытным фактом.

В 1913 году «Одесский вестник» — орган губернского отдела Союза русского народа опубликовал следующее стихотворение:

ПРИВЕТ СОЮЗУ РУССКОГО НАРОДА
В ДЕНЬ СЕМИЛЕТИЯ ЕГО

Привет тебе, привет, привет,
Союз родимый,
Ты твердою рукой
Поток неудержимый,
Поток народных смут
Сдержал. И тяжкий путь
Готовила судьба
Сынам твоим бесстрашным,
Но твердо ты стоял
Пред натиском ужасным,
Храня в душе священный идеал...
Взошла для нас заря.
Колени преклоняя
И в любящей душе
Молитву сотворяя:
Храни Господь Россию и царя.

Стихи были подписаны пятнадцатилетним гимназистом Валентином Катаевым.

Но это еще не все. Полутора годами раньше тринадцатилетний подросток (!) напечатал в том же издании стихотворение, в котором были такие строки:

И племя Иуды не дремлет,
Шатает основы твои,
Народному стону не внемлет
И чтит лишь законы свои.

Так что ж! Неужели же силы,
Чтоб снять этот тягостный гнет.
Чтоб сгинули все юдофилы,
Россия в себе не найдет?

За такие взгляды выдающегося публициста Михаила Осиповича Меньшикова чекисты расстреляли на Валдае в 1918 году без суда и следствия. Валентин Катаев, видимо, понимал, что он в годы революционного террора также мог быть удостоен той же участи, и почти всю жизнь скрывал эту тайну своей судьбы. либеральничал, воспитывал аксеновых и гладилиных, ездил по миру с Эстер, юдофильствовал, а в своей рабочей келье на втором этаже переделкинской дачи с мстительным наслаждением сочинял поистине судьбоносную повесть «Уже написан Вертер».

В начале 90-х годов в одном из московских издательств вышел однотомник Катаева, в котором из сакраментальной повести тихо и подло то ли наследниками, то ли редакторами были выброшены все «юдофобские» цитаты, приведенные мной выше. Мародеры все-таки взяли реванш и надругались над последней волей Валюна. Но ведь что написано пером — не вырубишь топором, и «рукописи не горят».

Жаль, что я не собрался к столетию «Валюна» написать эти страницы. Юбилей его был по достоинству отмечен лишь публикациями Евтушенко, Вознесенского, Гладилина. Патриотическая пресса презрительно промолчала.

...Я только напоследок хочу вспомнить, что когда собрался со стихами уходить из его переделкинского дома, то он сказал «подождите», нашел в кипе машинописных страничек одну с коротеньким стихотворением и, заметно волнуясь, прочитал его вслух:

Каждый день, вырываясь из леса,
Как любовник в назначенный час,
Поезд с белой табличкой «Одесса»
Пробегает шумя мимо нас.

Пыль за ним поднимается душно.
Стонут рельсы, от счастья звеня,
И глядят ему вслед равнодушно
Все прохожие, кроме меня.

— Вот это стихотворение обязательно напечатайте! — каким-то особенно проникновенным голосом произнес Катаев. Может быть, в эти минуты он вспомнил себя юного, двадцатилетнего, похожего на юнкера Диму, расстрелянного чекистом Наумом Бесстрашным. А прообразом Наума Бесстрашного Катаеву послужил, конечно же, человек, сыгравший роковую роль в судьбе Есенина — Яков Блюмкин. Недаром в конце повести Валентин Катаев рисует сцену, взятую из реальной судьбы Блюмкина: Наум Бесстрашный привозит из Турции в Москву письмо Троцкого Радеку. Но письмо это попадает в руки Сталину, и Наум Бесстрашный, пытаясь спасти свою жизнь, ползает по полу, обнимая и целуя сталинские сапоги. Более потрясающей сцены, возвеличивающей Сталина, в нашей литературе я не знаю...

Наверное, великий Валюн ценил Сталина и многому учился у него. Терпению и умению ждать своего часа, потому он и сумел обмануть «юдофилов». Коварно и блестяще. Можно сказать, по-сталински.

СЛОМАВШИЙСЯ ВИКТОР АСТАФЬЕВ

Я подружился с Виктором Астафьевым по настоящему в трудное для него время, когда свора еврейских журналистов набросилась на него, как шавки на медведя, после его разборки с Натаном Эйдельманом.

Напомню тем, кто забыл или уже не знает этой истории, что после повести Астафьева «Печальный детектив» и рассказа «Ловля пескарей в Грузии» литературовед Эйдельман отправил писателю письмо, в котором обвинил его в антисемитизме, в глумлении над грузинами и монголами и в прочих великодержавных замашках. Астафьев не стерпел и ответил «пушкинисту» резким письмом. Тогда Эйдельман, действуя, как профессиональный провокатор, написал Астафьеву второе, еще более оскорбительное, послание и пустил частную переписку по белу свету, а вскоре опубликовал ее за рубежом.

Переписка Астафьева с Эйдельманом была в те годы, как бы сейчас сказали, знаковым явлением и ходила по рукам с приложением еще одного письма, авторство которого молва приписывала Владимиру Солоухину.

Я спросил однажды у Владимира Алексеевича впрямую: не он ли автор? Солоухин лукаво заулыбался, но предположение мое не подтвердил. До сих пор неизвестно, кто подвел итог знаменитой переписке. ныне опубликованной. Но поскольку анонимное, якобы солоухинское, письмо не публиковалось, то я привожу его текст. Все-таки неподцензурный и актуальный для нашего времени документ эпохи.

Н. Я. Эйдельману

Виктор Астафьев не счел нужным подробно отвечать на ваше провокационное письмо, хотя ответил он вам прекрасно. Вам этого показалось мало, и вы решили и дальше мусолить свой вонючий «еврейский вопрос». Но кто такой вы перед Астафьевым?! Теперь вы взялись распространять эту спровоцированную вами переписку. Что ж, для личной славы у евреев все средства хороши. Так вот, я отвечу более подробно за Астафьева. Да только, думаю, что это письмо вы обнародовать не захотите. А жаль...

Вы упрекаете писателя Астафьева за то, что он нелицеприятно написал о торгашах-грузинах, варварах-монголах и т. д., хотя о тех и других в русской литературе было написано много чего, в том числе и у Пушкина. Вам, как «пушкиноведу», это должно быть доподлинно известно. Но цитаты в еврейском литературоведении для доказательства каких-либо доводов всегда извлекаются те, которые более удобны...

«В наш век при наших обстоятельствах только сами грузины и могут о себе так писать...» — говорите вы. А коли так, кто, хочу я вас спросить, дал вам право судить и унижать русский народ? Уж судите в таком случае свой — еврейский! Да только у вас на это духу не хватит: кишка тонка, да и сионистские лидеры вам этого не позволят.

С каким наслаждением вы цитируете Пушкина и Толстого, когда они горько говорят о России и о русском народе. В том их и сила. Чьи писатели еще на такое способны? Что-то не знаю я ничего похожего ни у грузинских, ни у еврейских писателей.

В истории литературы были примеры осуждения писателями другого народа. Тарас Шевченко и Леся Украинка терпеть не могли «москалей», но то хоть было понятно, они болели за свою родину и они были великими писателями. А, скажите мне, отчего еврей Гейне в своих стихах и статьях жутко поносил немцев? Прочтите современную Юнну Мориц, дышащую презрением ко всему русскому. Ваши соплеменники оскорбляли более всех того, на чьей земле они жили. И, наверное, вам не надо уточнять, что о евреях думают палестинцы?

Лично вас заело у Астафьева не изображение спекулянтов-грузин (хотя они — действительность нынешней России, ведь они у нас торгуют, нас грабят). Кто же, как не рус-

ский писатель, должен об этом сказать? Но плевать вам на грузин! Вас оскорбило слово «еврейчата» из «Печального детектива». Вот тут-то вы и ухватились за «несчастных» грузин», чтобы отомстить писателю, выразить свое, видите ли, возмущение. Без вас тут никак не могло обойтись. Ругают грузин, а евреи тут как тут. Издалека чувствуют, где жареным пахнет. Из любого скандала они стараются для себя пользу выудить, на любой проблеме мечтают нажиться. И такой у них обиженный вид, как будто это их «торгашами» обозвали!.. Грузины уже давно успокоились, а евреи все галдят и воду в ступе толкут.

Да только всё это понапрасну. Авторитет Астафьева в русском сознании настолько высок, что никакие евреи и грузины с ним уже ничего не сделают. Правильно вам ответил Астафьев, что «кроме злобы ничего вы в себе не носите». Вы уже и на Белова рычите и набрасываетесь, как свора дворняг, на его роман «Все впереди». Но и с ним вы ничего не в силах сделать в своей дикой злобе. Уж слишком высоко наши писатели над вами стоят. Есть произведения, которые, как жгучая статья в газете, не являются шедеврами литературы и искусства (не для того создаются), но они открывают людям глаза, сильно влияют на общественное мнение. «Все впереди» — именно такой роман, он не что иное, как роман-поступок, к тому же напечатанный с большими сокращениями (редакционными, естественно). И не случайно он называется «Все впереди». А впереди предстоит очищение России от жидовского засилья. Татаро-монгольское иго длилось 300 лет на Руси. И казалось, что ему не будет конца. Придет конец и жидовскому игу в России.

Вы, как и другие псы от литературы, это четко почувствовали в романе Василия Белова и страшно испугались. Уже написаны разносные рецензии на роман. Да только русский народ ваших рецензий не читает. Он читает Белова, Астафьева. Распутина. Абрамова и многих других истинно русских писателей, радеющих за Россию, а не за ваш преступный иудомасонский космополитизм.

Что же касается вас как «литератора» и «специалиста по русской литературе», то я наслышан о вашей литературной нечистоплотности и более того — плагиаторстве. Так что не вам обращаться с претензиями к такому человеку и писателю, как Виктор Астафьев.

Теперь об уточнениях по конкретным фактам вашего письма. Лично руководил расстрелом и стрелял в царя еврей, действительно большевик и махровый сионист Яков Юровский. Вы это знаете лучше меня. Как знаете и то, что большевик — не значит нееврей. Общее руководство в Екатеринбурге осуществлял Шая Голощекин, тоже ярый сионист, председателем местного совета был Белобородое (Вайсбарт): «еврейчата» заменены на «вейчата» в отдельном издании «Печального детектива» именно вашей жидовской цензурой. Астафьев в Грузии не был «иностранцем», т. к. живем мы в одном государстве.

Вы притворяетесь наивным, говоря, что «сионисты преследовали... совсем иные цели — создание отдельного еврейского государства в Палестине». Это же детский лепет, который смешно слушать! На кого вы рассчитываете? Школьники и те рассмеются над вами. Уж кому-кому, а вам лучше других известно, что цель сионизма — власть над всем человечеством, над всем миром и превращение России в одну из «провинций» сионистского «Великого Востока», еврейский «рай земной» в Палестине давно создан, но что-то вы туда не торопитесь...

В любой стране любовь к родине вы называете шовинизмом и стремитесь притупить национальное самосознание народов. Вам в какой-то мере удалось это сделать в США, вы были близки к этому в России... Не дотянули. Народ наш вовремя проснулся.

Во Франции вышла книга под названием «Иудаизм и дух восстания», в ней, в частности, говорится о вечном духе восстания, которым всецело проникнуто еврейство, который придает еврейству страшную разрушительную силу, но в то же время не позволяет ему когда-нибудь успокоиться и заняться созидательным творчеством и устроить свое прочное еврейское государство. Это последнее обстоятельство — лучшее обоснование надежды на то, что при всех своих успехах сионизм в конце концов все же потерпит поражение и не овладеет миром.

Вы спровоцировали эту переписку, теперь не жалуйтесь, что русские люди вам начнут отвечать.

(Далее следовал домашний адрес Натана Эйдельмана[1]).

---

[1] Впоследствии я узнал, что автором этого письма был поэт Валерий Хатюшин.

Защищая правоту Астафьева, да и просто историческую истину, я в те дни написал большую статью, но опубликовать ее не смог. Вот отрывок из нее:

В начале первого своего письма Астафьеву Эйдельман писал о себе и своем отце: «Эйдельман Натан Яковлевич, историк, литератор. 1930 г. рождения, еврей, москвич; отец в 1910 году исключен из гимназии за пощечину учителю-черносотенцу, затем — журналист (писал о театре)...

Остановимся пока на этом. Изучая кровавую эпоху тридцатых годов, историю Беломорканала, читая речи больших и малых идеологов эпохи, я вдруг стал наталкиваться в прессе того времени на фамилию журналиста Эйдельмана, который иногда подписывался прозрачным псевдонимом Э. Дельман. О чем же он писал? О театре? Нет, не только...

Вот передо мной «Литературная газета» от 1 мая 1937 года. Восхваление громадного концентрационного лагеря, руководимого Л. Коганом, С. Фириным, Я. Раппопортом и Н. Френкелем, где, оказывается, можно не только хорошо жить и перевоспитываться, но, как утверждает борец с антисемитизмом Я. Эйдельман, где заключенным (а их там полегло костьми более 70 тысяч) можно еще было вдохновенно и свободно заниматься искусством и литературой, поскольку они воспевали «вдохновенный, всепобеждающий труд, черты которого они впервые постигли на строительстве канала...» Листаю подшивку «Литературной газеты» дальше, вот еще одна статья «Певец пролетарской ненависти» («ЛГ», № 33, 1937 г.). Цитирую:

Высшая мораль революции в том, чтобы враги народа, подло предающие его интересы, были начисто уничтожены...

Только на днях вся страна с яростью и гневом узнала о преступлениях подлейшей банды долго маскировавшихся шпионов, фашистских наемников — Тухачевского, Уборевича, Корка и других мерзавцев.

Да-а, хорош был искусствовед-папа, писавший, по словам сына, «о театре», — оказывается, он любил не только сцену МХАТа, но куда больше кровавые зрелища тридцатых годов!

Это далеко не все. Театровед Я. Эйдельман под псевдонимом «Дельман» освещал в «ЛГ» того времени сфабрикованный судебный процесс против выдающегося русского поэта Павла Васильева, который начался после клеветни-

ческого письма в газету «Правда» от 24 мая 1935 года, где Васильев обвинялся в «фашизме», «антисемитизме», «хулиганстве», «шовинизме» и т. д.

Поддерживая все эти клеветнические формулировки, Эйдельман-старший закончил свой донос следующей страстной филиппикой:

«Лжете, Павел Васильев! Нагло клевещете на советскую литературную общественность, которая мужественно борется за новый социалистический тип писателя, которая вышвырнула вас из своих рядов именно из-за ваших волчьих повадок, несовместимых с высоким званием советского писателя. Вам не удастся прикрыть свою уголовную сущность громкими фразами. Вам не удастся скамью подсудимых превратить в пьедестал для монумента самому себе. Вы разоблачены до конца[1]».

Вот такую эволюцию прошел театровед в штатском. От гимназиста, давшего пощечину антисемиту, до крупного идеологического погромщика и провокатора, раздувавшего репрессивное пламя тридцатых годов. Кстати, если за пощечину антисемиту-учителю Эйдельман-старший был всего лишь исключен из гимназии, то Павел Васильев за такую же пощечину (о, ирония судьбы!) Джеку Моисеевичу Алтаузену, которую он отвесил, защищая честь женщины, получил полтора года тюрьмы, куда ушел под улюлюканье Эйдельмана-старшего.

Времена проходят, а приемы, методы и, главное, цели провокаций остаются прежними. Яблочко от яблони недалеко падает. Театровед Эйдельман-старший травил выдающегося русского поэта Павла Васильева, пушкинист Эйдельман-младший, продолжая семейные традиции, тоже постарался найти себе крупную мишень — выдающегося русского писателя Виктора Астафьева... Если не посадить, так хоть облить грязью.

Я написал Виктору Петровичу о своих изысканиях и о том, что не таким уж кротким театральным критиком был Эйдельман-старший, каким попытался изобразить его сынок. В ответ получил письмо с просьбой:

---

[1] Эйдельман-старший обличал также в тридцатые годы замечательного русского поэта и прозаика Сергея Клочкова в статье-доносе «Куда идет Клочков?» («ЛГ», 22 января 1934 г.)

А ксерокопию с деяний Эйдельмана-старшего непременно пришли. Жиды все успокоиться не могут, все им кажется, что они всех перелукавили и могут уже торжествовать, танцуя на трупе русского мужика. Не думай, что это исключение нам такое, чем лишь бы лягнуть слабого и недужного, греков, например, они ненавидят еще больше нас, и арабов, и американцев так же, только перед американцами пока «смирно» стоят, но дождутся — и за это «смирно» отблагодарят их.

...А вся заваруха с грузинами началась в 1986 году на VIII Всесоюзном (последнем!) писательском съезде. Наши грузины, уже подогретые известной им перепиской, обидевшись на Виктора Петровича за его саркастический рассказ о грузинских нравах, всей делегацией покинули зал и с каменными лицами уселись в фойе. Мой друг Шота Нишнианидзе, не читавший рассказа, но из солидарности тоже хлопнувший дверью, подошел ко мне:

— Стасык! У тебя есть журнал этот? Дай почитать!

Мы подошли к братьям Чиладзе, и я попробовал пошутить:

— Вы что, как грузинские меньшевики партийный съезд покидаете?

Но никто, кроме ироничного Отара, на шутку не отозвался.

— Стасык! — сказал мне Отар. — Не надо русским в наши грузинские дела лезть, разбирайтесь в своих...

А в это время с трибуны Дворца съездов слышался голос Валентина Распутина, который говорил, что мы живем хотя и в отдельных квартирах, но в одном доме и каждый из нас может говорить о неблагополучии на любом этаже, ибо дом-то один на всех...

Мне на съезде слова не дали, Верченко и Марков знали, что я могу наговорить лишнего, но текст небольшого выступления, написанный прямо в зале после лакейской речи Гавриила Троепольского, сохранился в моем блокноте.

Вот он. Собственно, это и не текст, а так, небольшая реплика:

Употребил Виктор Астафьев слово «еврейчата» в «Печальном детективе» — что началось! Как будто это слово

принципиально отличается, допустим, от слов «татарчата» или «киргизята». Уже Эйдельман распространяет свою провокационную переписку, уже критик Е. Старикова в «Воп. литературы» пишет, что после Освенцима на эту тему и говорить нельзя. Упрек тем более бестактный по отношению к Астафьеву, что он — один из лучших писателей нашего времени — освобождал Польшу и спасал из фашистских лагерей смерти людей всех национальностей, в том числе и евреев.

Стыдно указывать Белову и Астафьеву, о чем им можно писать, о чем нельзя. Неловко видеть, как старик Троепольский извинялся за Астафьева перед грузинскими товарищами, неловко за газету «Московские новости», назвавшую Белова за повесть «Все впереди» «человеконенавистником». Когда я на эту тему заговорил с одним из идеологических работников, он мне сказал: «да не обращайте внимания, это ведь газета элитарная, для иностранцев». Значит, в глазах иностранцев шельмовать Белова можно. Хороша логика!

В конце 80-х и в начале 90-х годов литературная жизнь еще кипела, мы с Астафьевым встречались на журнальных вечерах и писательских собраниях. Он вел себя по-русски бесстрашно, размашисто, дерзко. Помню его выступление на симпозиуме советских и японских писателей осенью 1989 года в Иркутске:

Вот уже третий человек выступает и каждый ставит вопрос о «Памяти». Вопрос этот очень прост и очень сложен. Я ничего об этой «Памяти» не знаю сверх того, что знаете вы, то есть читал то же, что и вы. Мне знакомы несколько человек из Новосибирска, которые имеют какое-то отношение к «Памяти». Это люди глубоко порядочные, это люди с учеными степенями, которые, наверное, не всем зазря даются. Во всяком случае, те двое, которых я знаю, эти степени заработали, их почитают в обществе. И вдруг я читаю в газете, что одного из них называют проходимцем, с чужих слов все это. И вот я думаю: да когда же это кончится? Шельмование этого общества идет на уровне все того же тридцать седьмого года, то есть, как говорил тогда следователь: «Здесь вопросы задаю я, а ты не имеешь права задавать». Так и с «Памятью» обращаются — их поносят во

всех газетах, во всех журналах, но вы хоть читали о том, что они говорят, что у них за программа? Что они делают-то? Вы ничего не знаете, вы должны верить, как моя тетка говорит, «жюльнаристам»...

Я думаю, что партия, которая поощряет травлю «Памяти», а поощрение, конечно, исходит от ЦК, не надо тут этого замалчивать, ведь иначе бы они не наглели так — «Неделя», «Огонек» вдруг такими храбрыми стали (кто их редактирует? чьи они органы?) — так вот, ЦК, который сеет ветер, если только загонит «Память» в подполье, — пожнет бурю, уверяю вас.

И если хотите знать мою позицию в этой буре, если она грянет, — я буду с «Памятью»! Я, беспартийный Астафьев, участвовавший в Отечественной войне и получивший три ранения, боевую медаль и орден, — буду с ней. Я буду за правду! За народ!

Такие смелые и дерзкие выступления привлекали к Виктору Петровичу и читателей и писателей. Любое его интервью, любая речь обсуждалась, зачитывалась, распространялась...

Однако на рубеже девяностых с Виктором Петровичем исподволь стали происходить поначалу необъяснимые перемены.

Весной 1990 года, через несколько месяцев после своего прихода в «Наш современник» я неожиданно получил из Красноярска неприятно поразившее меня письмо.

Дорогой Станислав!

Еще осенью узнав, что Евгений Иванович Носов, мой друг и брат, выходит из редколлегии «Нашего современника», решил выйти и я, но сам же Евгений Иванович просил этого пока не делать, чтоб не получилось подобие демонстрации «массового выхода».

Сейчас, когда дела у журнала идут более или менее нормально, растет тираж, внимание к журналу, торчать моей фамилии в журнале ни к чему. Я перехожу в журнал, более соответствующий моему возрасту, и к редактору, с которым меня связывает давняя взаимная симпатия, — в «Новый мир».

В те времена короткого и предсмертного расцвета журнальной жизни уход из редколлегии Астафьева, одно имя кото-

рого привлекало читателей, был, конечно, ударом по «Нашему современнику». Но думаю, что дело здесь было не в Залыгине, а в том, что я ввел в редколегию журнала нескольких близких мне людей (В. Кожинова, И. Шафаревича, Ю. Кузнецова, В. Бондаренко, А. Проханова), к творчеству и направлению мыслей которых Виктор Петрович, чувствующий, что «демократы» одолевают, начал относиться с осторожностью.

Вскоре в ежеденедельнике «Аргументы и факты» Астафьев сказал нечто резкое и несправедливое по поводу «Нашего современника»:

> Я все время мягко и прямо говорю «Нашему современнику»: ребята, не делайте из второй половины журнала подворотню... Быть может, с этого и началось у меня охлаждение к журналу.

Но я был не согласен ни с его решением, ни с его упреками и, как мог, пытался отговорить Астафьева от разрыва с нами.

Из моего письма весной 1990 года.

> Дорогой Виктор Петрович!
>
> ...«Новый мир» фактически разрушен. По-моему, у редакции даже есть план не выпускать последние три номера за прошлый год, а сделать их под одной обложкой и в виде своеобразного дайджеста. Может быть, продолжишь сотрудничество с нами? Я ведь мотаюсь по бумажным комбинатам, пью водку с коммерческими и генеральными директорами, выступаю до хрипоты во Дворцах культуры бумажников, и только поэтому мы пока с бумагой... И вовремя выходим. Так что пообещай нам для подписки что-либо на вторую половину года, либо на начало 1991-го. Что хочешь — роман, повесть, рассказ, мемуары: нам пора анонсировать наши планы, и без Виктора Астафьева все эти анонсы и авансы будут неполноценными. Ты же знаешь, Виктор Петрович, что я тебя считаю и всегда считал самым значительным писателем со времен, как прочитал «Царь-рыбу» и «Последний поклон», я сам писал об этом, сам безо всякой дипломатии защищал твое имя после яростной кампании против тебя, развязанной Эйдельманом и прочи-

ми... Так что забудем о всяких «подворотнях» и сплотимся перед грядущими суровыми временами.

Твой *Станислав.*

Ответ Астафьева был неутешительным, подтверждающим мою догадку о том, что ни новое направление журнала, ни новые люди ему не по душе.

Дело совсем не в тебе, а в том, что я тебе уже писал, пришли в журнал другие люди, незнакомые мне, да и далекие во многом... Я не бываю в журнале годами, фамилию мою держать «для тонусу» не надо... Снимите мою фамилию с того номера, который сейчас сдается в производство. Я хочу дописать роман. Только на эту работу остались еще небольшие силы, а на «борьбу» уж нет сил, да и не за что бороться-то, спохватилась п... когда ночь прошла.

Сейчас все кругом «борются», а надо бы работать.

Может, и пригожусь еще русской литературе. Я же не Евтушенко, чтоб быть гвоздем в каждой бочке...

Однако в начале 1990 года он, памятуя о своей борьбе с Эйдельманом, еще взбрыкивал и еще находил в себе силы для борьбы с демократическими демагогами. Так, в ответ на предложение печататься в «Огоньке» он ответил Коротичу: «Я в желтой прессе брезгую печататься», а редактор «Огонька» в интервью киевской газете «Комсомольское знамя» (от 10.1.1990 г.) заявил об Астафьеве: «Больно уж он кокетничает, увлекается игрой в правдолюбие. Он мог быть гораздо интереснее, если бы не слишком шовинистическая нотка. Недавно, например, мы получили от него письмо. «Из еврейства, — написал он, — вы скатываетесь в жидовство...»

В очередной раз мы встретились с Виктором Петровичем на VII съезде писателей России.

— Виктор Петрович! — набросился я на него с места в карьер. — В этом году журнал опубликовал обращение к народу патриарха Тихона, несколько самых ярких речей Столыпина, главы из «Народной монархии» Ивана Солоневича, две прекрасных статьи Валентина Распутина, «Шестую монархию» Игоря Шафаревича о власти желтой прессы, изумитель-

ное исследование Юрия Бородая «Нужен ли православным протестантский капитализм?» А Ксения Мяло — размышления о немцах Поволжья — в защиту русских! Мы засыпаны благодарными письмами после этой статьи! Как же можно после этого говорить о том, что наша публицистика — «подворотня»?

Съезд проходил в театре Советской Армии. Он был бурным. Выборы начальства — тяжелыми и шумными. Благодаря поддержке делегатов из провинции председателем Союза писателей России был избран Бондарев. Я выступал и тоже был за него, памятуя два его ставших крылатыми изречения на партийных форумах — о сравнении перестройки с самолетом, поднявшимся в воздух, но не знающим, где ему нужно приземлиться, и об украденном демократами у народа «фонаре гласности».

При всех многих личных недостатках Юрия Васильевича — надо отдать ему должное — он раньше многих других понял, в какую пропасть мы катимся...

Астафьев же в те дни относился к Бондареву всего лишь навсего как к литературному генералу и был раздражен ходом съезда. Мы оба сидели в президиуме, и вскоре я получил от него в ответ на свои упреки злую записку:

> Станислав! Подворотня сзади этих статей. Жаль, что тебя не было вчера на выступлении, которое вел Викулов, ты бы воочию увидел и услышал действие этой подворотни. Я после вечера в Колонном зале хорошо подумаю, прежде чем иметь с вами дело.
>
> *В. Астафьев.*

А в Колонном зале, как мне потом рассказали очевидцы, произошло то, что и должно было произойти. Сергей Викулов, Владимир Бушин, Анатолий Буйлов да многие другие писатели в своих речах кто как мог высмеяли, осудили, не приняли разруху, мародерство, кощунство демократической революции, к ходу которой Астафьев уже относился иначе.

Как я понял позднее, причины его развода с журналом лежали в сфере, недоступной для нашего влияния. Осенью

1990 года в Риме состоялась встреча писателей Советского Союза с писателями-диссидентами, живущими на Западе. Думаю, что эта тщательно продуманная и дорогостоящая акция была спроектирована в кабинете А. Н. Яковлева, а параллельно, может быть, и в западных спецслужбах.

Цель, которую она преследовала, была подлой: расколоть ряды патриотической интеллигенции, получить от нее одобрение на развал «империи» и, естественно же, скомпрометировать известные всему народу имена Астафьева, Залыгина, Солоухина, Крупина в глазах русских патриотов.

К сожалению, ни один из них не разгадал этот замысел, и все они попались в коварную ловушку, когда вместе с такими русофобами, как Иосиф Бродский, Анатолий Стреляный, Эрнст Неизвестный, Григорий Бакланов, Владимир Буковский, подписали позорное «Римское обращение».

В глумливой радости «обращения» по поводу того, что «заканчивается существование одной из величайших империй в истории человечества», что этот процесс «уже необратим», в наспех замаскированной лжи о том, что будущая история невозможна «без полной и окончательной ликвидации тоталитарной системы и без высвобождения возможностей национально-исторического творчества народов теперешнего СССР», в провокаторских предложениях о том, что «основой решения национального вопроса в СССР, как и во всем мире, является реальное право на самоопределение путем референдума», уже просматривалась программа августовского переворота, лживых референдумов о суверенитете, беловежское расчленение державы. Я должен быть справедлив и потому свидетельствую, что точнее всех нас смысл зловещего римского фарса разгадала Татьяна Михайловна Глушкова. Ее выступление на VII съезде писателей России, уязвившее Астафьева и Крупина, было блистательным.

Вот центральный отрывок из ее речи:

> Не могу умолчать: меня глубоко покоробило так называемое «Римское обращение», которое странным образом среди совершенно ничтожных личностей (вроде Е. Аве-

рина, редактора «Книжного обозрения» и бывшего помощника Гришина) подписали четыре известных русских писателя: В. Астафьев, С. Залыгин, В. Крупин, В.Солоухин. И дело не только в том, что они почему-то взялись под русским небом, при шумном ликовании «всеевропейской» и заокеанской прессы решать проблемы «гражданской войны» или «гражданского мира» в нашей стране, решать «национальные вопросы в СССР». Дело в том прежде всего, что написали (или подписали) они вкупе и братском содружестве с эмигрантами «третьей волны», ибо «Римское обращение» демонстрирует такое отношение к нашей стране, которое до сих пор было свойственно только ее врагам, только клеветникам и злопыхателям России. «...Заканчивается существование одной из величайших империй в истории человечества», — пишут наши российские «римляне».

Видно, нетвердо помнят они эту самую «историю человечества». Ибо как можно назвать нашу страну империей? Разве нашим писателям неизвестно, что империя непременно предполагает ГОСПОДСТВО определенной нации, одной из наций, объединенных в империи?

Чье же имперское господство они подразумевают? Конечно же, русское! ТАК и только ТАК понимается это на Западе, да и среди здешних сепаратистов.

Я вынуждена напомнить этим русским патриотам, что честно и грамотно мыслившие люди даже относительно царской России не выражались сталь спекулятивно. «Россия — не просто государство, но целый особый мир, особый государственный и культурный мир, а вовсе не попросту «величайшая из Империй в истории человечества», — писали и разъясняли национально-государственный феномен нашей страны и Ф. Тютчев, и Н. Данилевский, и К. Леонтьев, и Ф. Достоевский.

И да будет стыдно тем, кто клевещет на русский народ, намекая с прозрачностью на имперское господство русских над другими нациями в СССР!

Я не удивлюсь, если кто-нибудь из этих «тихих» подпевал крушения «русской империи» будет вскоре выдвинут на какую-нибудь Нобелевскую премию. И уж во всяком случае, станет желанным гостем в любой «прогрессивной» стране Запада, враждебной нам, нашей суверенности.

Вот что вывело из себя Астафьева на съезде, вот что он имел в виду, когда писал мне в записке («Я после вечеров в

Колонном зале и вчерашнего»), вот что он имел в виду, когда со злобой выдавал из себя: «подворотня»! Словом, чуяла кошка, чье мясо съела...

Хотя к концу 1990 года он еще не превратился в того приближенного к власти корыстного старика, который предстал перед нами через два-три года. В беседе, опубликованной сразу же после римской встречи, он высказывался осторожно, поскольку, видимо, еще не решил, на чью сторону ему окончательно перейти. Коммунисты еще не были побеждены, до августа 1991 года оставалось восемь месяцев, и Астафьев не торопился. Он одновременно был как бы и за расчленение «империи», и за ее сохранение:

> Что касается меня лично, хоть как называй — шовинист. альтруист, я за то, чтобы дать России пожить самостоятельно...

И тут же:

> Друг без друга, без железнодорожных, водных, воздушных, родственных, наконец, связей мы не научены жить и просто не сумеем.

Роман «Прокляты и убиты» еще не был написан, телевидение еще было под государственным контролем, и Виктор Петрович еще по-советски осуждал всяческую вседозволенность:

> Очень много матерщинников появилось открытых. Считается тоже новаторством. Очень много скабрезников.

Я не поверил в те дни версии, будто бы в Риме Астафьев был куплен обещанием Нобелевской премии. Но дальнейшее развитие событий все убедительнее подтверждало догадку Глушковой.

На том же съезде, после какого-то очередного резкого обсуждения во время перекура я получил от него еще одну многозначительную записку:

Станислав! Я очень тебе советую внимательно перечесть все свои выступления последних лет и немного подумать над тем, кто ты есть?

Виктор Астафьев.

Мои выступления последних лет были о помоечной массовой культуре, о Высоцком, о судьбах крестьянских поэтов, о еврейско-чекистском терроре первых лет революции, о клеветнических выпадах демократической прессы против русских писателей, о диссидентстве и русофобии. Естественно, полагая, что такого рода взгляды близки ему, я в перерыве подошел к Астафьеву и начал разговор о его переписке с Эйдельманом. Он резко оборвал меня:

— А сейчас, Станислав, я такие письма, может быть, уже не стал бы писать!

Я замолчал и отошел от него...

Однако сор из избы выносить не хотелось, жалко было прежних своих чувств и слов, и на литературных встречах 91-го и даже 92-го года, когда мы еще собирали сотни и даже тысячи человек в залах Москвы, Ленинграда, Новосибирска, читателям, спрашивавшим о том, что за черная кошка пробежала между Астафьевым и журналом, я отвечал уклончиво, не веря до конца в то, что его в Риме «купили».

Вот что писала по этому поводу демократическая газета «Литератор», издававшаяся в Ленинграде, где мы выступили в декабре 1991 года.

На вопрос, почему из редколлегии «НС «вышел Астафьев, ответил Станислав Куняев. По его версии, «Виктор Петрович человек очень капризный и гордыни у него не меньше, чем у Льва Николаевича Толстого, который в свое время громил и церковь, и государство и даже заслужил то, что Ленин написал о нем статью как о «зеркале русской революции». Желание Астафьева стать превыше всего, можно назвать синдромом Льва Толстого». «Не надо так пошло!» — выкрикнул кто-то из зала. На что Куняев, не моргнув глазом, тут же признался в любви к писателю Астафьеву, заявив, что лучше него никто не пишет.

Мои друзья по-разному разгадывали загадку Астафьева. Что случилось? Почему? Но на такие мои вопросы Василий Белов отворачивался, скрипел зубами, досадливо махал рукой. Валентин Курбатов размышлял о сложности и противоречивости писательского таланта. Кто-то из друзей бормотал: «Да нет, это все случайное, наносное, он еще опомнится, вернется к нам». И лишь помор Личутин, сверля собеседника маленькими глазками-буравчиками, был неизменно беспощаден:

— Я ему, когда еще только прочитал «Царь-рыбу», однажды прямо сказал: «Виктор Петрович, а за что вы так не любите русский народ?»

Валентин Распутин, для которого разрыв с Астафьевым был, наверное, куда мучительнее, чем для Личутина, однажды с трудом, как бы нехотя, высказал такую мысль:

— Он же детдомовец, шпана, а в ихней среде жестокости много. Они слабого, как правило, добивают. Вот советская власть ослабела, и Астафьев, как бы обидевшийся на нее за то, что она его оставила, бросился добивать ее по законам детдомовской стаи...

Обида отпрыска из раскулаченной семьи? Психология детдомовского люмпена? Соблазн Нобелевской премии? Застарелый комплекс неполноценности? («Как человек долго унижаемый я был всегда в себе не уверен и писателем себя почувствовал, пожалуй, только на Высших литературных курсах, в 1961 г.» — из интервью 1999 г.) А может быть, все обстоит куда проще и куда банальнее?

При советской власти, увенчанный всеми мыслимыми орденами и премиями, трех- и четырехтомниками, баснословными гонорарами и обкомовскими квартирами, «кавалер Гертруды» Виктор Петрович с удовлетворением держался за нее, родимую... и не то чтобы покушался на ее основы — но и нас молодых одергивал, чтобы излишне не вольнодумствовали. Да и, честно говоря, сам эту власть и уважал и побаивался.

Помню, как в середине 80-х годов в Иркутске проходили литературные вечера «Нашего современника», тогда еще возглавляемого Сергеем Васильевичем Викуловым. В Большом зале Дома политпросвещения, переполненном народом,

выступали Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Алесь Адамович... Мы все сидели на сцене.

— Что будешь читать? — спросил Астафьев, повернувшись ко мне.

— Начну с «Коней НКВД», — сказал я.

— Ты что?! Я тебе не советую. Смотри, в первом ряду сколько начальства сидит, вон с краю двое из местной Лубянки...

Но как только советская власть закачалась, Виктор Петрович закручинился: на кого в случае ее крушения надеяться, от кого получать ордена, премии и прочие льготы, к которым он так привык. И первую ставку Астафьев сделал на новую возникающую силу русских националистов. Отсюда и отчаянная храбрость в переписке с Эйдельманом, и перепалка с грузинами и, наконец, прямая поддержка «Памяти», растущей тогда, как на дрожжах.

Но вскоре стало ясно писателю, что не на ту лошадку поставил, что никогда русским националистам не властвовать в России, и пришлось Виктору Петровичу давать задний ход и, начиная с 1989 года, постепенно разыгрывать еврейско-демократическую карту. Уж эти-то его поддержку оценят, они особенно щедро; награждают бывших врагов — перебежчиков и ренегатов. Эту историческую истину Астафьев понял вовремя, хотя и несколько позже, нежели Василь Быков, Юрий Черниченко или какой-нибудь Анатолий Приставкин. И не просчитался.

Перед самым августовским переворотом в июле девяносто первого в «Советской России» было опубликовано обращение, вошедшее в историю под названием «Слово к народу». Виктор Астафьев немедля дал интервью телевизионной программе «Вести», с яростью обрушившись на обращение и его авторов, несмотря на то, что среди людей, подписавших «разоблачаемое» им обращение, числились два писателя, которые, как он сам сказал, «были моими товарищами». Астафьев в своем интервью впал в настоящее неистовство: «Лицемерие, которое в общем-то свет не видел... обращаются

с грязными руками... они, вчерашние коммунисты, разоряли, унижали, расстреливали... старая коммунистическая демагогия... не верьте ни единому слову... это голый обман. Коммунисты, компартия наша на ладан дышит... Попытка защитить тонущий корабль»; «наглость от имени народа говорить. От имени народа может говорить избранный народом президент. Это «Слово» рассчитано на темную силу, которая есть в любом государстве»; «я не хочу сейчас давать оценку поступку Бондарева и Распутина, пусть это останется на их совести».

Он даже не подумал о том, что лишь меньшая часть деятелей культуры, подписавших «Слово к народу», — коммунисты, что Распутин и Проханов в компартии никогда не состояли.

Забавно было и то, что «Комсомолка», перепечатывая телеинтервью Виктора Астафьева, выбросила из его текста одну фразу, в которой он называл «черносотенцами» тех, против кого он выступал. Ну, как тут было не вспомнить Эйдельмана и его отца, который был исключен из гимназии за пощечину «учителю-черносотенцу»! Выступив против «Слова к народу», Виктор Петрович Астафьев как бы побратался со своим недавним врагом... Ну, кто бы мог предвидеть такое оборотничество?

Ребята из «Комсомолки», видимо, сообразив, что Астафьев, заклеймив «черносотенство», ставит себя в ложное положение, убрали эту фразу из газетного текста, но слова о том, что Валентин Распутин «ставит подписи под самыми черными документами», остались.

— А что особенного? — пожал плечами один из известных писателей. — В русской истории такое предательство дело не редкое. Разве казаки не были за одно с польской шляхтой в 1612 году? А разве русские бояре не присягали на верность королю Владиславу и Лжедмитрию? А вспомним Власова... Все хотят быть с победителями

В своем первом после «августовского переворота» интервью Виктор Астафьев, возвратившийся в те дни из Шотландии, заявил на всю страну:

Я не сомневался, что при другом исходе (если бы победило ГКЧП. — *Ст. К.*) меня бы взяли уже в Шереметьеве.

Вот так вот, ни больше ни меньше...

А дальше все уже покатилось словно бы под горку. От выступления к выступлению слова и мысли Астафьева становились все более жесткими, он с каким-то сладострастием пинал побежденных, не щадил и бывших друзей по «деревенской литературе». Его именем, как тараном, как в свое время именем Солженицына, демократическая пресса разрушала устои прежней жизни. Рвение его хорошо поощрялось новой властью, даже более щедро, нежели властью советской. То и дело он возникал на телевидении, откуда совершенно исчезли Распутин, Белов, Бондарев, Михаил Алексеев, Петр Проскурин. Все чаще и чаще его фамилия мелькала в числе лауреатов, получивших государственные и президентские премии, и всевозможные «триумфы», и «букеры», и «антибукеры», и «тэффи», и ордена нового режима.

Весна 1993 года. Широкошумный референдум «да-да-нет-да», кое-как выиграв который, Ельцин принял окончательное решение о разгоне Верховного Совета. Именно тогда, во время референдума, кремлевская власть поняла, что надо опираться на популярных людей, чьи слова действуют на сердца и умы. Ну, как же тут было Ельцину обойтись без Астафьева! И Астафьев, давно «уставший от борьбы», нашел силы для нескольких энергичных заявлений, стал, как Евтушенко, «гвоздем в каждой бочке».

Ничего другого не остается, как идти и голосовать за президента Ельцина — в нем пока единственная надежда на мир в России...

Есть люди, в первую голову воспрянувшие коммунисты, готовые на любую кровь, на любые жертвы, лишь бы вернуть себе власть...

Почему же не судят разнузданных воинствующих молодчиков — Зюганова, Проханова, ущербного умом депутата Михаила Астафьева, да и Эдичку Лимонова тоже?

Судебных процессов в преддверии референдума хотелось Виктору Петровичу. Задолго до «Письма 43-х» кровожадных своих коллег — творческих интеллигентов, он упрекал президента в мягкотелости, в нерешительности, поотечески журил его, называя «мямлей», и запугивал читателей «Литературной газеты» картиной будущего коммунистического мятежа:

> Если президент и его правительство будут и дальше действовать уговорами, увещеваниями, анкетами, восторжествует самая оголтелая, самая темная сила. И заговорит она пулеметами, танками, колючей проволокой.

В октябре 1993 года пророчества Астафьева наконец-то сбылись. «Темная сила» действительно восторжествовала. Но колючая проволока — «спираль Бруно», — была растянута в центре столицы по приказу Ерина, а не Проханова, танки и бронетранспортеры расстреливали сотни русских людей по воле Ельцина и его опричников, а не по воле Зюганова и Лимонова. Убитые похоронены неизвестно где, как в сталинские времена, а некогда любимый мною писатель Виктор Петрович Астафьев угодничеством перед кровавой властью опозорил свои седины в канун своего семидесятилетия... Двойной позор и двойное поражение России.

Ярость настолько помрачила разум Виктора Петровича, что он в упор не видел, как разворовывают Россию Березовский, Гусинский, Чубайс и прочие приватизаторы, как сотни миллиардов долларов уплывают из России, но зато с пеной у рта приводил фантастические цифры из бульварной пропагандистской брошюры «Золото партии» — сколько золотых рублей якобы украли в свое время у народа Ленин, Дзержинский и даже Андрей Жданов.

> Товарищ Жданов толканул за рубеж 400 тысяч фунтов стерлингов...

И это при Сталине, который не разрешил однажды Кирову лететь из Крыма в Москву на самолете (только на поезде!), дабы не тратить лишних народных денег!

Через несколько месяцев, когда сатанинский план ельцинского режима закончился кровопролитием 3—4 октября, когда Василий Белов и я, находясь где-то рядом с ним, укрывались от пуль спецназа в Останкино, когда на другой день танковые пушки наемников, которым Гайдар заплатил фантастические гонорары за расстрел парламента, послали первые снаряды в окна Верховного Совета, наш детдомовец по телефону (!) из Красноярска передал в «Литгазету» проклятия несчетным жертвам октябрьской бойни.

Его истерические крики можно было сравнить в те дни только с садистской радостью какой-нибудь Новодворской:

> Большевистские стервятники все же пустили еще раз кровь русскому народу...
>
> Созреть для кровавых дел им помогли разъезжавшие по стране вожди и моралисты Аксючиц, Анпилов, Стерлигов, Андреева, человек с ликом и ухватками Чичикова по фамилии Зюганов.

...Ельцин победил, премии и награды еще гуще посыпались на седую голову Виктора Петровича, и, конечно же, когда начались роковые и грязные выборы 1996 года, пришлось ему их отрабатывать. «Гарант Конституции» уже не мог обойтись без Астафьева, окончательно влившегося в команду «имиджмейкеров» — в компанию к Пугачевой, Хазанову, Зиновию Гердту, Марку Захарову и прочим, протянувшим свои лапки к чубайсовской коробке из-под ксерокса.

Дело с выборами пахло керосином, и всенародно избранный, чувствуя шаткость своего положения, прилетел аж в Овсянку на Енисей. Узнав, что к нему едет президент, Виктор Петрович от возбуждения наговорил много лишнего о русском народе, пристыдил его, желая доказать, что недостоин этот народ такого внимательного к нуждам людей президента:

> Привыкший кланяться бригадиру или мастеру в цехе, чтобы наряд «лучше закрыл», лебезя перед теми, от кого зависит прибавка к зарплате, очередность на квартиру и в детский садик, добавка к пайке, продление отпуска на неде-

лю, прирезка огорода на сотки, он, этот... трудяга, получил, наконец-то, возможность ораторствовать, материть власти, обличать «режим», да и просто пошуметь прилюдно...

Разгула вольности, дармового хлеба хочется...

В радость себе живут те люди, которые не боятся труда, надеются на свои руки, на свою голову, обрабатывают участки земли и приучают детей вместе с ними работать... Работать, работать! Все блага в мире и богатства в богатых государствах созданы вечным неустанным трудом. Они там и пишут: «мы сделаем», «мы вырастим», «мы построим». А у нас бездельники: «нам дайте», «нам сделайте», «нам постройте».

И это о народе, который в муках построил все, что приватизировано пятью процентами нынешних хозяев жизни, ставшими баснословно богатыми за какие-нибудь 2—3 года! Вот и сказали бы им, Виктор Петрович, что надо работать, а не воровать.

Писатель требовал от трижды во время «реформ» обобранного до нитки народа, чтобы он заново нарабатывал национальное богатство, свои сбережения, нормальные пенсии. И это в то время, когда миллионы безработных, то есть не имеющих возможности найти работу, уже погружались в безнадежное отчаяние. Поистине ни стыда, ни совести. И как тут не вспомнить слова Владимира Личутина: «Виктор Петрович, за что вы так не любите русский народ?»

В той же «Литературке» обалдевший от визита президента писатель сочинил целую сказку рождественскую, как Ельцин в Овсянке «подарил ребятам компьютерный класс, дал наставление хорошо учиться», как обещал пенсионерам, инвалидам и вдовам «бесплатный проезд на пригородном транспорте», как Ельцин сетовал, «что человеку с чисто русской речью и народной музыке почти нет места на экране», как «когда мы садили возле библиотеки рябинку, запел «Ой рябина кудрявая...» И народ наш деревенский, голосистый подпевал ему...»

Вот такая «мыльная опера» вышла летом 1996 года из-под пера автора «Царь-рыбы».

Но за это наш неудавшийся нобелевский лауреат получил от президента аж целых два миллиарда рублей на издание 15-томного (!) собрания своих сочинений.

У Алексея Толстого было десять томов. У Леонида Леонова — восемь, у Шолохова — шесть, у крупнейших функционеров советской эпохи — Маркова, Чаковского, Симонова — меньше десяти... Матерый человечище все-таки наш Виктор Петрович!

Всю свою переписку, все интервью, все чуть ли не черновички мобилизовал, но пятнадцать томов все-таки наскреб. Рекорд поставил. Правда, недавно пожаловался, что финансирование то ли задержалось, то ли прекратилось на 11-м или 12-м томе. Ну что делать, если положение в стране такое, что у президента даже на своих клевретов средств не хватало!

Но больше всего, я помню, меня потрясло то, что писатель в очередной раз требовал от народа, чтобы тот только работал и не смел «бегать по митингам».

> Оставьте это занятие политикам — они для того и существуют, чтобы за нас говорить, таким вот образом высвобождая нас и наше время для полезного труда...

«Работай, быдло, не смей думать, не лезь в политику, не смей протестовать, когда тебя берут за горло» — вот ведь что, в сущности, проповедовал слуга режима; даже не понимая того, что он говорит. Словно бы русские люди — это негры из Южной Африки во времена государства белых, или колумбийские крестьяне, или несчастные курды, не имеющие своего отечества.

После очередной победы Ельцина общество все-таки за последние два-три года как-то протрезвело, люди поняли, что наломали дров по тупости своей да по доверчивости, на глазах умнеть начали.

Но с Виктором Петровичем происходило нечто обратное. То ли от предчувствия греха лжи, в который он впал, то ли это возрастное, но читаешь все, что он говорил в конце 90-х, и другого слова, кроме как *деградация,* на ум не приходит.

> Великая Отечественная война не была обусловлена какой-то исторической неизбежностью. Это была схватка двух страшных авантюристов, Гитлера и Сталина, которые настроили свои народы соответствующим образом... Ведь человечество, напуганное Первой мировой войной, и не собиралось воевать.

В. П. в своем маразме даже забыл, что Вторая мировая началась задолго до 22 июня 1941 года, человечество начало воевать несколькими годами раньше.

> Я думаю, что все наши сегодняшние беды — это последствия войны. Тов. Сталин и его подручные бросили нас в этот котел .. Конечно, Сталин — это никакой не полководец! Это ничтожнейший человек.
>
> Если бы немцы не напали на нас, то через год-полтора мы бы напали на них и, кстати говоря, тоже получили бы в рыло... Мы сразу ввязались в «холодную войну» и света не видели...

Ну да, это Сталин в Москве, а не Черчилль в Фултоне объявил о начале «холодной войны»...

Вся эта паранойя — историческая и психологическая — была опубликована в майском номере «Аргументов и фактов» за 1998 год, приуроченном к очередному Дню Победы, как будто, сидя в Овсянке, читал Виктор Петрович только бывшего «грушника» — перебежчика Резуна-Суворова да начальника ПУРа Волкогонова и даже не подозревал о том, что «дранг нах Остен» начался еще на Чудском озере.

А то с каким-то старческим слабоумием вдруг начинал восхищаться тем, что жизнь стала лучше, потому что люди, которых он видел на кладбище на Радуницу, были одеты в кожаные куртки и, поминая близких, пили хорошие напитки, вместо всяческой дряни, какую пили в советские времена... И ведь не вспомнил несчастный писатель о том, что десятки тысяч людей умирают от поддельной водки, и что нередко в кожаной куртке можно увидеть бомжа, копающегося в помой-

ке. Понимание жизни на уровне Ельцина, если вспомнить, что Ельцин в доказательство того, что жизнь стала лучше, однажды привел тот факт, что на каждом углу можно купить «как его? — «Киви»!..» Словом, с кем поведешься, от того и наберешься.

В последние годы чтобы ни сказал Виктор Петрович из Овсянки, все нелепость какая-то получалась. То придумал, что немцы шли к нам с добром, поскольку на бляхах солдатских ремней у них были выгравированы слова «Готт мит унс» — «с нами Бог», то вдруг взбрело ему в голову, что Володя Бондаренко «видите ли, борец! А за что борец-то? За русский народ?! Ни больше ни меньше, являясь при этом ярко выраженным украинским националистом».

В то время в редакцию журнала пришло письмо от читателя, в прошлом детдомовца, у которого во время голодовок 1921— 1933 года умерло семеро старших братьев и сестер, были сосланы как кулаки в ссылку братья матери с семьями. Письмо, обращенное к Астафьеву, заканчивалось так:

> Сейчас наша Родина стала колонией сионистов и США. И в этом есть и доля Вашей вины. Вы перешли на сторону потомков тех, кто приказал раскулачить Вашу семью и миллионы других русских семей. Значит, Вы предали свою семью, свое прошлое. Я же, ненавидя сионистов-большевиков и их потомков сионистов-демократов, состою в русской КПРФ вместе с русскими патриотами А. М. Макашовым и В. И. Илюхиным.

Вот такой ответ был дан Виктору Астафьеву нынешним русским человеком...

«КОММУНИСТЫ, НАЗАД!»

В конце шестидесятых годов в Доме литераторов постоянно пьянствовала шумная парочка: маленький — полтора метра с кепкой — детский писатель Юрий Коринец, человек с бугристым смуглым лицом, ежиком волос и стоящими торчком усиками, и громадный, расхристанный, похожий на бабелевского биндюжника, старый лагерник Юрий Домбровский... Терять им было нечего, замечательный писатель Домбровский отсидел семнадцать лет, Коринец вырос в казахстанской ссылке, — и махнувшие рукой на всякие условности советской литературной жизни друзья постоянно напивались и вели себя, как душе было угодно...

В узком проходе, соединяющем пестрый зал с дубовым, величественно идут двое — впереди маленький Коринец с тарелкой, на которой закуска, а за ним, покачиваясь, мохнатый, словно снежный человек, с волосами чуть не до плеч, в расстегнутой до брючного ремня рубахе, с двумя фужерами водки в обеих руках. Юрий Домбровский. Навстречу им со стороны дубового зала появляется трезвый Межиров. Завидев его — благополучного вылощенного поэта, официально названного надеждой советской поэзии в тех же самых статьях и докладах 1947 года, которые выбрасывали из литературной жизни Зощенко и Ахматову, и, конечно же, не любя его, умного дельца и одного из влиятельнейших «боссов» переводческого клана, автора знаменитого стихотвореня «Коммунисты, вперед», — два бесстрашных литературных бомжа, не сговариваясь, рявкнули в два пропитых голоса: «Коммунисты, назад!»...

Александра Петровича как ветром сдуло, он шарахнулся куда-то за дощатую перегородку, отделявшую коридорчик от кухни, и затаился в ожидании, пока отчаянная пара, забыв о нем, не усядется где-нибудь в дубовом зале, к ужасу метрдотеля Антонины Ивановны...

С Межировым я познакомился в один из сентябрьских вечеров 1961 года в Коктебеле. Мы сидели на веранде его номера, глядели на синюю полоску залива, нас овевал сухой жаркий ветер, льющийся с черных громад Карадага... Межиров вздымал вверх подбородок, становясь чуть-чуть похожим на Осипа Мандельштама, имитируя искреннее самозабвение, и читал мне стихи:

Прилетела, сердце раня,
Телеграмма из села.
Прощай, Дуня, моя няня,
Ты жила и не жила.

Стихи были о России, о крестьянке Дуне, которая вынянчила в двадцатые годы маленького еврейчонка Сашу... Сверхзадачей стихов, талантливо и вдохновенно написанных, как я теперь понимаю, была цель — доказать, что и скромная интеллигентская еврейская семья, и выброшенная из деревни ураганом коллективизации молодая крестьянка Дуня жили одной жизнью, ели один хлеб, терпели одни и те же тяготы.

Межиров в этот период «болел русскостью», стремился убедить себя и других в том, что он:

...русский плоть от плоти
по жизни, по словам,
когда стихи прочтете —
понятней станет вам.

Проницательный, улавливавший в стихах любую фальшь, Анатолий Передреев, прочитав поэму о няне, которой, кстати, автор чрезвычайно гордился, обратил внимание на заключительные слова:

Родина моя Россия,
Няня, Дуня, Евдокия —

и холодно заметил:

— Россия — няня? Ну, слава богу, что еще не домработница...

Его слова прозвучали с неожиданной и жестокой прямотой. Но в те годы я еще не задумывался о всех сложностях русско-еврейского вопроса и надолго забыл реплику Передресва. Вспомнилась она мне много позже, когда я вчитался в стихи Межирова о своих родителях:

Их предки в эпохе былой,
Из дальнего края нагрянув,
Со связками бомб под полой
Встречали кареты тиранов.
И шли на крутой эшафот,
Оставив полжизни в подполье, —
Недаром в потомках живет
Способность не плакать от боли.

Ну как же я раньше не понимал, что он из племени профессиональных революционеров, нагрянувших из дальнего края в революционную эпоху то ли конца XIX, то ли начала XX века на обессилевшую Россию! Скорее всего, что из местечка Межиров, что в Галиции, — я как-то разглядывал карту и наткнулся на это слово — отсюда и псевдоним, так же, как Шкловский — от Шклова, Могилевский — Могилева, Слуцкий — Слуцка, Львовский — Львова, Минский — Минска... («Всю Россию на псевдонимы растащили», — мрачно шутил Палиевский.) Но зачем тогда было выдумывать: «был русский плоть от плоти»? Зачем разыгрывать этот театр? Ломать эту то ли трагикомедию, то ли мелодраму?

Как я понял позднее, приписывая своим предкам подвиги террористического самопожертвования, Межиров и тут самозабвенно мистифицировал читателя. Исполнителями тер-

рористических актов конца XIX — начала XX века, как правило, были русские люди: Софья Перовская, Желябов, Морозов, Халтурин, Каракозов — или поляки. Предки же Межирова могли быть идейными вдохновителями, организаторами террористических кружков, иногда вождями-провокаторами вроде Евно Азефа, часто изготовителями бомб и взрывных устройств... На эшафот же, выполнив их планы и указания, чаще всего шли другие.

Впрочем, и Межиров, и другие близкие ему по духу шестидесятники чуть ли не до первых лет перестройки оставались верны заветам революционных «предков», эмигрантов, «нагрянувших» в Россию «из дальних краев».

Уже в начале 80-х годов Александр Петрович еще раз поклялся в преданности представителям этой породы Смилге и Радеку, написав стихи, посвященные ихнему клану:

...Но сегодня Саня Радек,
Таша Смилга снятся мне...
Слава комиссарам красным,
Чей тернистый путь был прям...
Слава дочкам их прекрасным,
Их бессмертным дочерям.

Стихи органически вписывались в кровавое романтическое полотно, на котором красовались окуджавские «комиссары в пыльных шлемах», евтушенковский Якир, протягивавший в будущее «гранитную руку» из прошлого, где в дымке времени «маячила на пороге» целая когорта комиссаров — Левинсон из «Разгрома», Коган из «Думы про Опанаса», Штокман из «Тихого Дона», Чекистов-Лейбман из «Страны негодяев».

Впрочем, эти мысли сложились у меня гораздо позже, через несколько лет, а в тот коктебельский знойный вечер я с восхищением выслушал талантливо написанную, легко льющуюся поэму о няне, а Межиров, видя мой восторг, пригласил меня, начинающего бильярдиста, в бильярдную и с расчетли-

востью профессионала за несколько партий облегчил содержание моего кошелька наполовину.

Однако я не был на него в обиде. Мне нравился его артистический характер, его то восторженный, то скептический ум, его легкая, изящная манера письма, его демонстративное поклонение искусству. Увлеченный такими свойствами его натуры, я в 1965 году даже сочинил восторженную рецензию о его поэзии под названием «Она в другом участвует бою», — имелось в виду, что не в житейском, не в общественном, политическом, а в высоком, в том, о котором думал Пушкин, когда писал: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв».

Справедливости ради надо сказать, что на первых порах моей московской жизни Межиров был внимателен ко мне, с его помощью я наладил .связи с грузинскими и литовскими поэтами, стал получать заказы на переводы их книг, начал зарабатывать деньги. Но, тем не менее, выпивая с ним, или играя в бильярд, или размышляя о стихах Мандельштама, я всегда чувствовал на себе с его стороны какое-то особо пристальное внимание. Как будто бы он не забывал никогда, что, несмотря на наши дружеские отношения, за мной нужен глаз да глаз, что я не остановлюсь на этом рубеже пиетета и почтения...

Когда Межиров узнал, что я написал статью «Упорствующий до предела» о творчестве его друга Винокурова, которое я счел куда более ходульным, театральным и рациональным, нежели тогда было принято считать, он бросил на карту все свое влияние, лишь бы не допустить публикации этой статьи. Он звонил, настаивал, канючил, предупреждал. Он как будто бы предчувствовал, что с этого поворотного момента начнется мое окончательное охлаждение и к Слуцкому. и к Самойлову, и к нему, взявшему на себя роль моего учителя и покровителя. Статью о Винокурове я все же опубликовал В журнале «Наш современник». В 1966 году...

Подводя сейчас какие-то предварительные итоги литературной жизни 60—90-х годов, надо сказать, что Александр Межиров обнаружил за это время удивительные способности

к перемене своей сущности, своего «альтер эго», способности, столь свойственные породе людей, нагрянувших в свое время на Россию «из дальнего края». Он был куда более гибок и толерантен, нежели комиссар и государственник Борис Слуцкий, более сложен и загадочен, нежели прямодушный и наивный Наум Коржавин, более политизирован и социален, нежели эстет Давид Самойлов.

Вторая его ипостась, дополняющая коммунистическую, — «русская национальная», умелая мистификация, отчаянная попытка стать «русским плоть от плоти». Ради нее он шел на многое, увлекался Константином Леонтьевым, даже мне (спасибо ему, тем не менее!) со странной улыбкой передавал 8—9-й тома русского историософа, с наслаждением погружался в мысли «разочарованного славянофила», носился по Москве с книгами полузабытого и полузапрещенного в те годы юдофоба Розанова... В стихах же тех лет со скромным достоинством он писал:

Две книги у меня.
Одна «Дорога далека». Война.
Подстрочники. Потеря друга
Плюс полублоковская вьюга.

«Полублоковская вьюга», помню, и трогала, и забавляла нас с Передреевым и Кожиновым. Эту роль своеобразного еврейско-русского «почвенника» Александр Межиров играл сколько мог — талантливо и изощренно, до тех пор, пока судьба не определила ему его третью личину — разочарованного еврейского либерала, Однажды, когда мы проходили неподалеку от Кремля, он с характерным для него поэтическим завыванием вдохновенно прочитал стихи Осипа Мандельштама о кремлевских соборах:

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь,
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь... —

и с какой-то истовой провокаторской страстью вдруг спросил меня:

— А верите ли вы, Станислав, что рано или поздно в Успенском соборе возобновятся богослужения?

В ответ я прочитал ему стихотворенье не о возрожденном богослужении, а о неизбежном, как я считал, историческом возмездии всем разрушителям храмов, «нагрянувшим» «из дальнего края»...

Реставрировать церкви не надо,
пусть стоят, как свидетели дней,
как вместилища тары и смрада
в наготе и разрухе своей...

Реставрация трупов. Побелка.
Подмалевка ободранных стен.
Совершилась житейская сделка
между взглядами разных систем...

Межиров все сразу понял, резко повернул тему разговора, и я так и не успел напомнить ему его мрачные и по-своему кощунственные стихи о Троице-Сергиевой лавре, описанной им как некое зловещее, почти разбойничье гнездо:

Там в окладах жемчуг крупен,
У монаха лик преступен,
Искажен гримасой рот...
В дымке Троица Святая,
А под ней воронья стая
Раскружилась и орет.

Я понял, о чем он думал в ту минуту — о моем выступлении на дискуссии «Классика и мы», где я отважился вслух

сказать о революционной ненависти к России и ее истории поэтов карательно-чекистского склада наподобие Эдуарда Багрицкого. В эту секунду мы как бы прочитали мысли друг друга.

— Станислав! — с неожиданной резкостью, почти с угрозой остановил он меня, по-моему, возле стелы с именами великих революционеров всех времен и народов, что в Александровском саду, — неужели Вы не понимаете, что дело большевиков, как бы о нем сейчас ни думали, великое дело и рано или поздно мир в очередной раз, но обратится к их правде...

Он со страхом понимал, что такие люди, как я, хотят сделать советскую действительность более русской, настолько, насколько это позволит история, и в его глазах мерцала зловещая растерянность. В слово «большевики» он и я вкладывали совершенно разные смыслы.

Вечерело... Тонкая полоса кровавого заката загоралась над Москвой-рекой, над бассейном, пар от которого подымался, словно образуя колышущиеся призрачные очертания храма Христа Спасителя... Мы с Межировым знали, что недавно в бассейне было обнаружено тело поэта Владимира Львова, чьи строки: «Мои друзья расстреляны, мертвы и непокорны, и серыми шинелями затоплены платформы» — в те годы были широко известны в узких кругах. Скорее всего, что ему стало плохо во время плавания, а незаметно утонуть в адском облаке густого пара, смешанного со слепящим светом прожекторов, было легче легкого. Но злые языки распространяли по Москве слухи о том, что это возмездие иудею, чьи соплеменники разрушили храм Христа Спасителя и специально, чтобы надругаться над православными, построили на святом месте гигантскую купель для кощунственного плотского омовения.

Именно в это время Межиров написал мне письмо, в котором предпринял титанические усилия, чтобы не дать мне уйти из-под его влияния:

> Вы знаете, что я не хочу разрыва и душой болею, думая о внутренних изменениях наших отношений. После получения «Рукописи» перечитывал Ваши книги, из которых она составлена. Находил любимые стихи, радовался. Все

же заметил и совсем иное: дарственные надписи — от сыновье-влюбленных, до последних, почти надменных, во всяком случае, почти отчужденных. И вдруг подумал, что в наших беседах с некоторых пор часто мелькают эвфемизмы. Хочу написать без них.

Сами по себе слова Достоевского (в одной из бесед я в доказательство своей правоты вспомнил какие-то слова Достоевского. — *Ст. К.*), конечно, прекрасны и в чьих-то похвалах не нуждаются. Но любой самый средний западник более прав в вопросе о Константинополе и Польше, чем Достоевский, впадающий порой в пошлые стереотипы («французишки», «жиды»). Истина есть ложь, когда Достоевский начинает говорить от имени народа-Богоносца, то есть... Христа. Существуют свидетельства, что Достоевский ждал конца мира (через десять лет), — значит, не верил в «почвенность». Всякая партия относительно права в борьбе со злом. Страшен дух ненависти в сраженьях за правое дело. Достоевский доходил в борьбе с бесами до бесовщины, до оправдания доноса, до доноса на Тургенева, как Шевцов. И все это там, где Петр разрушил основы понятий о чести, а новые — утверждает Шевцов — из Сергиева города, почти из Лавры. И борьба чистой идеи с «Багрицким» незаметно переходит в кооперативно-квартирно-автогаражную статистику.

Розанов, Мережковский в конце жизни думали и об этом. «Живите», — говорил Розанов. «Семиты создают религии, арийцы их разрушают. Слово «жид» кощунственно над плотью Господа, «ибо плоть его оттуда», — писал Мережковский в сороковые годы. Простите мне, Станислав, это напоминание. Все сказанное известно Вам и так. И писал я только ради надежды на действительное «воссоединение людей», на спасение нашей дружбы.

Ваш *А. Межиров.*

Январь 1978 г.

Письмо написано через месяц после дискуссии «Классика и мы»...

Мне не хочется задним числом подробно рассматривать, где в этом письме передержки, где тонкое лукавство, где нарочитое упрощение Достоевского, Петра Великого, Василия Розанова. Скажу только о том, что странно было читать в письме высокое слово «честь», поскольку все, кто близко знал

Межирова в те годы, считали его не просто мистификатором, но изощренным интриганом, светским сплетником и просто лжецом. «Шурик-лгун» — под этим прозвищем он был известен всей литературной Москве — и еврейской и «антисемитской».

Помню, когда я читал упрошенные до идиотизма размышления Межирова о Достоевском, то с горькой улыбкой вспоминал его же рассказ об одном профессоре, который преподавал ему литературу в стенах Литинститута в конце сороковых годов:

> Профессор, когда размышляя о Толстом, время от времени повторял:
>
> — Ну, в этом вопросе старикашка заблуждался!
>
> И однажды я на семинаре, набравшись храбрости, — продолжал Межиров, — поднял руку, встал и озадачил профессора:
>
> — Объясните нам, как может так случиться, что Толстой заблуждался, а вам, профессор, все на свете ясно?

Ах, Александр Петрович, Александр Петрович! Как же так, старикашка «Достоевский заблуждался», а вам, средненькому русско-еврейскому поэту, ясны все «заблуждения» гениального русского провидца! И не стыдно?

Письма наши друг к другу в конце 70-х годов с упреками и объяснениями становились все жестче и жестче и, объективно говоря, отражали раскол, окончательно оформлявшийся в русско-еврейских отношениях. В некотором смысле наша переписка затрагивала многое из того, что в середине 80-х вспыхнуло в эпистолярной войне между Виктором Астафьевым и Натаном Эйдельманом.

> Вы за последние годы ничего не поняли и ничему не научились, — писал я Межирову. — Мне жаль книг, подаренных Вам. Я ошибся, говоря о том, что Вы любите русскую поэзию. Это не любовь, скорее ревность или даже зависть. Не набивайтесь ко мне в учителя. Вы всегда в лучшем случае были лишь посредником и маркитантом, предлагающим свои услуги.

Межиров не оставался в долгу. В ответном письме осенью 1980 года он негодовал, осуждал, клялся, становился в благородную позу.

> Станислав! Вы ответили мне злобной площадной руганью. Я не хотел обидеть Вас. Значит, обидела правда. Когда-то Вы подарили мне книги с надписями «с любовью, одному из немногих близких». Я мог бы вернуть их Вам, но не сделаю этого. Я *прожил* жизнь и умру в России. На миру да в надежде и смерть красна.

Но судьба не дала ему до конца сыграть непосильную для него роль русского человека. Последние годы его жизни в нашей стране были постыдны, смешны и унизительны. Сначала он чуть не тронулся умом оттого, что от его дочери ушел муж, молодой поэт, которого я хорошо знал. Еврейское чадолюбие Александра Пинхусовича ударило ему в голову, как хмель. Он прибегал ко мне, в Московскую писательскую организацию, где я работал секретарем и где стоял правительственный телефон «вертушка», умоляя меня позвонить начальникам из Спорткомитета СССР, где работал его зять, чтобы те подействовали на молодого человека, дабы он вернулся к постылой жене. Я с брезгливостью выслушивал его, звонил, но, естественно, какой-то из начальников спорта поднял меня на смех. ..

Потом, когда из этого плана ничего не вышло, Межиров помчался в Тбилиси. Отец его зятя работал завкафедрой в каком-то грузинском институте. Межиров добился свидания с Шеварднадзе, умолял его подействовать на бедного отца, чтобы тот, в свою очередь, заставил сына воротиться к межировской дочке. Надо отдать должное Шеварднадзе, который выслушал шизофренические монологи Межирова и, вспомнив, что он, Шеварднадзе, все-таки грузин, сказал по-сталински:

— Пусть молодые поэты спят с теми женщинами, с которыми им хочется спать...

Окончательно наши отношения испортились после одного ночного разговора. Как-то раз в полночь мне позвонила Татьяна Глушкова:

— Волк, — сказала она, чрезвычайно волнуясь, — Вы должны немедля приехать ко мне. У меня сидит Лангуста (так она звала Межирова. — *Ст. К.*) и ведет всякие гнусные речи, запугивает, шантажирует... У меня нет сил возражать ему. Помогите...

Через полчаса я вошел в квартиру Татьяны Михайловны... Разъехались мы только на рассвете. Словно посланцы двух потусторонних сил, мы сражались с ним за ее душу, а Татьяна, еще колебавшаяся, стоит ли ей прибиваться к русскому стану, ждала исхода поединка. О чем только не было переговорено в эту роковую ночь. О ветхозаветном израильском Боге возмездия, об Амане, Мордохае и Эсфири, о десяти заповедях, о русскости и еврействе Мандельштама, о еврейском чадолюбии и о русском разгильдяйстве, об антисемитизме Розанова и юдофильстве Владимира Соловьева, о том, кому из нас должно каяться, а кому принимать покаяние. Словно еврейский ангел смерти Малхамовес, Александр Петрович кружил над душой несчастной Татьяны, а я то крестным знамением, то стихами Есенина, то меловой чертой, то просто крепким русским словом отгонял его и с удовлетворением наблюдал, как его атаки становились все более неуверенными. А Татьяна всю ночь сидела почти молча и непрерывно курила, не зная, в чьи руки — русские или еврейские — попадет ее судьба.

К рассвету крылья нашего Малхамовеса окончательно отяжелели и сникли, он допил последнюю рюмку, докурил последнюю сигарету, мы попрощались со спасенной для русского дела хозяйкой, сели в его автомобиль и поехали домой. Всю дорогу молчали, лишь когда я выходил из машины, серый от усталости Межиров произнес:

— Не радуйтесь... Она и от вас тоже когда-нибудь уйдет, как сегодня ушла от меня...

Из моего дневника от 8 января 1978 г.

> Говорили о доносе Гофмана, о Гофмане младшем и вообще об отце и сыне. Межиров, как за последний якорь спасения, хватался за Библию: «Откройте пророка Иону —

там все сказано!» (когда я призвал его к раскаянию). На другой день я «открыл Иону» — а там о раскаянии ни слова.

В ответ на мое предложение поглядеть, как по-разному относились к своему народу Пушкин, Гете и Гейне, залепетал что-то невразумительное об «исторических обстоятельствах.

Утром он позвонил опять:

— Глушкова (а она одна из лучших) говорит: «У всех евреев есть машины, а у меня нет». Станислав! Я люблю Сергея Маркова и не люблю Сергея Острового! Станислав! Ну кто правит бал? Ганичев, Лесючевский, Осипов — где же евреи? где? Петр Первый, Станислав, делал тоже самое, что Багрицкий.

...Он взвизгивал, искал сочувствия, вымогал уступки, добивался льгот и послаблений, а когда я к этому остался холоден, вернулся в накатанную колею и стал симулировать погромные настроения.

— Что же остается? Депортация? .

Я отвечал: не впадайте в панику. Русский народ ужился с семьюдесятью языками, и с евреями уживется, если они откажутся от своего высокомерия, от претензий на то, чтобы быть новым русским дворянством, и покаются за все злодеяния своих «революционных отцов.

А в начале 80-х годов Александр Петрович, не раз употребивший в письмах ко мне слова «честь» и «благородство», будучи за рулем, сбил глубокой ночью в зимней Москве актера Юрия Гребенщикова из театра им. Станиславского. По иронии судьбы произошло это в январе, когда в компании актеров, где был Гребенщиков, и в каком-то дружеском кругу, где был Межиров, поминали Высоцкого в его день рождения.

А Высоцкий был кумиром Александра. Петровича, я помню, как в начале 60-х годов немолодой уже Межиров буквально носился по всей Москве с записями песен Высоцкого и в любом доме, куда он приезжал, тут же включал магнитофон, заставлял всех слушать «Охоту на волков», «Их было восемь», «Я “Як”-истребитель», вздымал очи небу и бормотал: «Гениальный мальчик, гениальный».

Но в ту роковую ночь он оттащил еще живого товарища Высоцкого в кусты (несчастный актер после этого целый месяц

пролежал в коме и умер) и подло сбежал с места преступления, потом спрятал машину в укромном месте... Словом, сплошной позор. На его беду одна старая женщина, страдавшая бессонницей, увидела все происшедшее из окна, запомнила номер машины. Бесчестного и трусливого «фронтовичка» вскоре разыскали. Милиция в те годы еще работала толково. Пользуясь своими связями и деньгами, ревнитель «воссоединения людей» замял дело. Но, видимо, страшась будущего возмездия, понимая, что невозможно жить в России с такой репутацией, принял решение уехать в Америку...

Врет, что покинул родину от страха перед погромами. Уезжали расчетливо, не торопясь, как и положено у людей его племени. Сначала отправили дочку с внучкой, обжили небольшой семейный плацдарм, потом уехал Межиров — глава семьи, и после всех — его жена Леля, завершившая все дела по продаже квартир, дач, гаражей и прочих атрибутов, о которых с такой иронией писал Александр Петрович в одном из писем ко мне («Борьба чистой идеи с «Багрицким» незаметно переходит в кооперативно-квартирно-автогаражную статистику»). На деле же в «кооперативно-квартирно-автогаражную статистику» перешла межировская «полублоковская вьюга». «Дорога далека» — так называлась его первая книга 1947 года... Напророчил. До Америки довела Межирова его далекая дорога. Впрочем, может быть, не из Восточной Европы «нагрянули» в Россию его предки, а из Америки?

Вспомним, что после февральской революции в Россию для окончательного ее покорения прибыл корабль «американских революционеров», укомплектованный самим Львом Троцким. Знаменитый американский публицист Джон Рид, похороненный в Кремлевский стене, однажды с удивлением встретил в Моссовете той эпохи одного такого «нагрянувшего из дальнего края» пассажира с этого корабля, который в Нью-Йорке работал часовщиком, а тут сразу стал комиссаром и крупным чиновником, и описал эту встречу в книге «Десять дней, которые потрясли мир»: «Через зал шел человек в потрепанной солдатской шинели и в шапке... Я узнал

Мельничанского, с которым мне приходилось встречаться в Байоне (штат Нью-Джерси). В те времена он был часовщиком и звался Джоржем Мельчером». Видимо, вот такие «мельничанские» и были предками Александра Пинхусовича.

Однажды, году в 84-м или 85-м, заикаясь от хорошо разыгранного волнения, Александр Петрович обратился ко мне в поисках сочувствия:

— Станислав! Вы же читали огоньковские статьи Андрея Мальгина. Вы понимаете, что этот бесстрашный юноша бросил вызов многим сильным мира сего: Михаилу Алексееву, Бондареву, Проскурину! Он же на амбразуру ложится! Да они же его затравят и убьют, как Лермонтова!..

Литературная судьба этого «Лермонтова» сложилась в годы перестройки вполне естественным образом. Он стал главным редактором журнала «Столица» в эпоху идеолога взяточничества Гавриила Попова, за заслуги в борьбе с красно-коричневой опасностью, видимо, фантастически разбогател, потому что Сергей Есин в своих дневниках, опубликованных в «Нашем современнике» в 2000 году, так пишет об этом «идеалисте» рыночной демократии:

> Вечером за мной заехал и повез на дачу Андрей Мальгин. Я уже традиционно смотрю его новую дачу — третью — и по этим крохам представляемой мне действительности изучаю новую жизнь...
>
> В «мерседесе» нет шума, потому что в окнах сильнейшие стеклопакеты. Машина не покатится с горки, потому что включится один из восьми ее компьютеров и включит тормоза. При парковке компьютер не даст коснуться другой машины...
>
> На первом конном заводе у Андрея стоит своя лошадь, на которой ездит его ребенок, поэтому новую его дачу не описываю... Андрей Мальгин решил строить у себя на последнем этаже дома зал-библиотеку в два этажа...

Жаль, что Александр Петрович Межиров не увидел всего, что увидел Есин. Как бы он порадовался за бескорыстного, бесстрашного юношу, боровшегося в восьмидесятые годы с

литературными генералами Алексеевым, Бондаревым, Проскуриным...

Беседуя с тем же Сергеем Есиным, я узнал, что когда Межиров уехал в Америку, то литературное окружение, ему близкое, целых два года держало Сергея Есина, ректора Литературного института в напряжении: «Межиров уехал не навсегда, он вот-вот вернется, поэтому отчислить его из штата преподавателей нельзя, неудобно...»

И целых два года жена Межирова Леля аккуратно приходила в кассу Литинститута в труднейшие времена, в начале девяностых — и ежемесячно получала «заработную плату» за своего мужа... Словом, «русский плоть от плоти» Александр Пинхусович до конца-таки сумел попользоваться последними благами советской родины. («...Родина моя Россия, Няня, Дуня, Евдокия»).

Ну как тут не вспомнить строчки из «Василия Теркина»: «Ну не подлый ли народ!»

Правда, это у Твардовского сказано о немцах...

Сейчас Межиров доживает свой век в каком-то нью-йоркском пригороде, по слухам, подрабатывает на жизнь бильярдной игрой, даже стишки еще какие-то пописывает, в которых борется с национализмом Николая Тряпкина и, естественно, с «антисемитизмом», и какие-то книжонки издает. Вот уж воистину, человек, сменивший не только кожу, но и душу.

Если бы он не дрогнул в последний момент, не уехал, сыграл бы свою роль до конца, я бы не стал писать этих страниц. Но он сорвался, погубил пьесу, не доиграл, обнаружил, что слова «был русским плоть от плоти по жизни, по словам» — остались поэтической фальшивкой. Так же, как и его роковая и неосторожная фраза из последнего письма: «Я прожил жизнь и умру в России». Умрет он в Америке. В России умру я. А значит, в нашем историческом споре я прав.

Впрочем, даже сейчас, когда мне почти все ясно в этом споре, я не рискую все-таки сделать окончательный вывод о глубинных причинах его отъезда. Ведь евреи люди не только скрытные и таинственные, но их драма заключается в том, что

они, по крайней мере, большинство из них, сами себя не знают или знают не до конца, и знание самих себя к ним приходит в течение всей жизни.

Вот актер Михаил Козаков в своих мемуарах «Третий звонок» излагает любопытные откровения:

> Один замечательный актер старшего поколения той самой пресловутой национальности, фронтовик, прошедший Отечественную, часто говорил: «Запомни, Миша! Мы здесь, в России, в гостях. Запомни: в гостях. И перестань чему-либо удивляться». Я возражал: «И это говоришь ты, фронтовик? Актер, которого любят миллионы?!» — «Да. все это так, Миша, и все-таки мы в гостях».
>
> Признаться, я так не думал, по крайней мере, тогда, лет пятнадцать назад, когда впервые услышал от него эту фразу. А вот сравнительно недавно задумался...
>
> («Знамя», 1996, № 6).

Может быть, и Александр Межиров задумался о том же, как задумался некогда историк литературы Михаил Гершензон.

В 1920 году в «Переписке из двух углов» он писал:

> Я живу подобно чужеземцу, освоившемуся в чужой стране; любим туземцами и сам их люблю и радуюсь их радостью, но и знаю себя чужим, тайно грущу о полях моей родины, о ее иной весне, о запахе ее цветов и говоре ее женщин. Где моя родина? Я не увижу ее, умру на чужбине.

И это писал абсолютно ассимилированный еврей, исследователь творчества Пушкина и Чаадаева, Огарева и Ивана Киреевского, автор книг «История молодой России», «Грибоедовская Москва», «Мудрость Пушкина». Тот же самый мотив я нашел в книге современного поэта Михаила Синельникова, изданной в 80-е годы: «И слову не внемлют, и ждут меня, помнят упрямо в отеческих землях, в зеленых шатрах Авраама».

Примеров такого «состояния души» можно приводить много — из стихов С. Липкина, Ю. Мориц, Я. Вассермана, который прислал мне такие строки:

Я лишен национальной спеси,
Рос от той проблемы вдалеке.
Так случилось — ни стихов, ни песен
На родном не слышал языке.
Но бывает — будто издалече
Слышу я гортанный, древний крик,
Бронзою мерцает семисвечье,
И в ермолке горбится старик.

Со всеми с ними я спорил, встречался, переписывался в прежние времена, пока не понял, что напрасно трачу время и чувства... Опасные и непредсказуемые особенности еврейского менталитета в том, что он автоматически, инстинктивно, стихийно изменяется в зависимости от изменения жизненных обстоятельств.

В русской среде еврей становится русским, в советской эпохе — советским, но попади он в окружение соплеменников — сразу же из состояния анабиоза в нем оживают еврейские гены, и, забывая всю свою прошлую жизнь, он начинает чувствовать себя евреем. Как Протей, он меняется на ваших глазах, не испытывая никакой особенной драмы, слома, угрызений совести, боли, линьки души или убеждений. Это — «человек-толпа», род пойкилотермного организма, у которого температура тела всегда равна температуре окружающей среды.

Думаете, не был искренен Даниил Гранин, принимавший в советские времена премию имени Гейне и радовавшийся от всей души тому, что его «чествовали как писателя в свободной, идущей по пути социализма Германской Демократической Республике...»

С той же искренностью и естественностью тот же Гранин позже издевался над социализмом.

С той же искренностью и естественностью Александр Галич одновременно сочинял советские комсомольские и антисоветские лагерные песни, а на вопрос Юрия Андреева в 1967 году «Как же так можно?» — с улыбкой ответил: «Так ведь жить-то надо!»

Даже творчество «лучших и талантливейших» из них отмечено этой уникальной особенностью. Вы помните величественное и несомненно искреннее прославление Ленина Борисом Пастернаком в поэме «Высокая болезнь», созданной к 10-летию Великого Октября?

Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому страной...

Но ведь тот же несравненный Борис Леонидович всего лишь за несколько лет до «Высокой болезни» нарисовал совсем другой образ вождя всемирного пролетариата, сидящего в немецком пломбированном вагоне на пути в Россию:

Он. — «С Богом, — кинул, сев;
и стал горланить,— к черту —
Отчизну увидав,— черт с ней, чего глядеть!
Мы у себя, эй жги, здесь Русь да будет стерта!
Еще не все сплылось; лей рельсы из людей,
Лети на всех парах! Дыми, дави и мимо!
Покуда целы мы, покуда держит ось.
Здесь не чужбина нам, дави, здесь край родимый.
Здесь так знакомо все, дави, стесненья брось!»

Эти, увы, косноязычные стихи, рисующие Ленина как патологического русофоба, тщательно и не зря скрывались публикаторами Пастернака вплоть до перестройки, до 1989 года... Да не смутит читателя то, что я в один ряд ставлю посредственного беллетриста Гранина и талантливого поэта Пастернака. Я ведь говорю лишь о том, чем они похожи друг на друга — их способностью приспосабливаться к историческим обстоятельствам. Ведь не случайно же, что создателями фильма «Ленин в 1918 году» были сценарист А. Каплер, режиссер М. Ромм, оператор Б. Волчек.

Вот что писал журнал «Огонек» о Ромме, будущем создателе кинобестселлера «Обыкновенный фашизм»: «Он говорил в те годы, что совершенно по-другому поставил бы теперь оба ленинских фильма, и сдержанно оценивал свой новый монтажный вариант (после XX съезда КПСС Ромм выбросил из фильмов шестьсот тридцать метров «культа», все эпизоды со Сталиным Ромм безболезненно вырезал в 1956 году)».

Видите, как все просто, вырезал — и все. Не то что в литературе, где «что написано пером — не вырубить топором». А кинопленка, да еще под рукой такого мастера, все стерпит. («Не вырезал» только из своей судьбы все ордена, звания, гонорары и премии, полученные за эпохальный фильм.) Вполне закономерно и то, что первые камни в фундамент сталинской всемирной славы с формулировками «вождь всех народов», «вождь всемирного пролетариата», «лучший друг детей» и т. д. вложили своими статьями, речами и целыми книгами еще на рубеже 20—30-х годов самые яркие пропагандистские умы той эпохи — Карл Радек, Михаил Кольцов-Фридлянд, Емельян Ярославский-Губельман. Обижаться на них за это так же бессмысленно, как обижаться на изменение погоды. В этой способности и безболезненной для себя смене образа мыслей и убеждений их органическая суть, как писал их же Хазанов: «Замечательная особенность нашего земляка состоит в том, что он всегда действует в соответствии с обстоятельствами»...

ПРОГУЛКИ С МАНДЕЛЬШТАМОМ

Время от времени по радиостанциям «Голос Америки» и «Свобода» выступает бывший советский, русско-еврейский, а ныне русско-еврейский американский, живущий в Штатах писатель Аркадий Львов.

Он ведет, как правило, передачи о культурной и литературной жизни, они гораздо объективнее передач Юреннена, Вайля и Гениса, и потому слушать их можно без раздражения, а иногда и с интересом.

А я тем более слушаю их с интересом, поскольку знаком с Аркадием Львовым. Несколько лет тому назад он появился в «Нашем современнике», представился, подарил мне книги своей прозы и предложил себя в авторы журнала.

— У меня есть две книги — о Мандельштаме и Пастернаке,— сказал Львов, — в которых я убедительно доказываю, что по своему генезису, по глубинной духовной сути они никакие не русские, а еврейские писатели. По пониманию жизни, по мышлению, по своей онтологической сущности... Ну а то, что писали на русском языке, что из того? Власть духа сильнее, чем власть языка.

Он зачастил в журнал, приходя, как правило, с бутылкой хорошей водки и закуской, мы садились с ним в моем кабинете, спорили, размышляли, находили в каких-то вопросах взаимопонимание, а в каких-то расходились окончательно. Меня подкупала искренность наших разговоров, да и сам облик высокого, крупного, жизнерадостного одесского еврея, словно бы сошедшего со страниц одесских рассказов Бабеля, был мне во многом симпатичен. В конце концов я, прочитав

его книгу о Мандельштаме под названием «Желтое и черное», решил напечатать ее, но, как сказал Львову, обязательно со своим предисловием и со своими размышлениями о творчестве Осипа Эмильевича. Мой собеседник чрезвычайно обрадовался моему решению.

— Вы, Станислав, даже не предполагаете, какой это будет прорыв в журнальной жизни к пласту читателей, отстраненных от «Нашего современника». Я ведь в своей работе персты в раны вкладываю. Меня многие еврейские интеллигенты за эту книгу антисемитом объявили.

— Ну совсем интересный поворот у нас получается, — подумал я и вскоре написал свое вступление к «Желтому и черному», отрывки из которого далее приводятся:

Исследование еврейского русскоязычного писателя Аркадия Львова вроде бы ставит все точки над «и» и развязывает все узлы в эпохальной загадке. В сущности, автор («один из виднейших писателей евреев, пишущих на русском языке», как сказано о нем на обложке книги) нарушает последние оставшиеся в русско-еврейском вопросе «табу», даже те, о существовании которых русские умы и не подозревали. Многие из его толкований стихов, строчек, идей, снов поэта неожиданны и глубоки в первую очередь потому, что это пишет еврей, обладающий литературным талантом и интеллектуальной дерзостью. Я думаю, что порой он в припадке откровенности выбалтывает нам такие глубины и тайны еврейского духа, в которые, честно говоря, неудобно да и страшновато заглядывать православному русскому человеку.

Да и неловко — словно в замочную скважину. Подобное бесстрашие в истории бывало свойственно многим еврейским интеллектуалам, начиная от ветхозаветных пророков, кончая Спинозой, Уриэлем Акостой или дедом поэта Ходасевича Яковом Брафманом, с его знаменитой в свое время книгой о тайнах кагала. Откровения Львова кажутся настолько интимными, настолько носят они религиозно-племенной, казалось бы, не должный открываться чужому взору характер, что, по-

нимая свое щекотливое положение, Аркадий Львов для того, чтобы преодолеть внутреннее табу, живущее в еврейской душе, часто впадает в нарочито легкомысленную, одесскую, хохмаческую манеру разговора, что и позволило мне назвать свое предисловие к его работе «Прогулки с Мандельштамом».

Ну посудите сами: «еврей, который чуть ли не всю жизнь ломал перед собою и перед миром эллина»; или «у маленького Оси нюх был, как у собаки; он, различал миллионы запахов и по запаху мог взять любой след. И будьте спокойны, нос его длинный — даже по еврейской мерке длинный, никогда не ошибался» (автор, конечно, знает книгу В. Розанова «Осязательное и обонятельное отношение евреев к крови»). Или еще красноречивый пример: «Ах, сорванец, ах, шалун, ах, жиденок — пардон, это не мое: проходил Ося в те времена среди петербургских поэтов под кличкой «Зинаидин жиденок» (не надо говорить «пардон», Аркадий Львович, это и Ваше, а не только «Зинаидино»); или: «маленький Ося сделался русским империалистом», а вот еще: «Ну, как Вам нравится этот бывший иудей с тоской библейского Иосифа», и т. д. и т. п.

Словом, читая книгу, где автор на каждой странице именует Осипа Эмильевича Мандельштама «Осей», вспоминаешь одесскую песенку «А Саша Пушкин тоже одессит», конечно же, вспоминаешь Абрама Терца, у которого «Россия — сука», а Саша Пушкин «паркетный шаркун», ну чем не брат «сорванцу», «шалуну», «жиденку» Осе! Словом, «Желтое и черное» и «Прогулки с Пушкиным» как бы книги-близнецы, но все-таки надо оговориться, что под ерничеством и амикошонством Аркадия Львова скрываются куда более глубокие толкования и чувства, нежели в иронических пассажах Синявского, от которых явно попахивает интеллектуальным мародерством...

Еще один упрек автору; в книге есть несколько исторических мифов, противоречащих фактам. Так, например, вспоминая стихи Мандельштама о Сталине, Львов пишет: «Кто на Руси, кроме еврея Мандельштама, который, как по-

следний трус, бежал в Александрове, на Суздальской земле, от потешного бычка одногодка, отважился сочинить да пустить в люди такой стих? Никого не назвать, ибо никого не было».

Но тут я хочу вступиться за честь русской почвенной литературы. Да помилуйте, Аркадий Львович, Вы хорошо знаете жизнь и поэзию Осипа Эмильевича, но гораздо хуже историю всей литературы тех лет. Мандельштам прочитал стихи о «кремлевском горце» в узкой дружеской компании единомышленников и единоплеменников, пришедших в ужас от дерзости поэта. И кто-то в конце концов из них не выдержал и от страха «стукнул» куда надо. Остальные, кто не стукнул, тряслись в ожидании ареста. А в это время или даже чуть раньше русские поэты, бывшие друзья Есенина, — Сергей Клычков, Николай Клюев, Петр Орешин, Василий Наседкин — на всех углах поливали последними словами вождя народов. То в ресторане Дома Герцена, то просто на улице среди случайных людей, не стесняясь, кричали о том, что Сталин тиран, что кругом еврейское засилье, «что Каганович сволочь»; Николай Клюев в разных домах читал совершенно антисоветский цикл «Разруха» и «Погорельщину». Павел Васильев — двадцатидвухлетний мальчишка (в то же время) написал убийственную и оскорбительную эпиграмму на Джугашвили и, не таясь, читал ее где угодно по первой просьбе своих друзей и поклонников. Так что русские поэты в начале тридцатых годов вели себя куда как более вызывающе и дерзко, нежели Осип Эмильевич. Обо всем этом я узнал, прочитав их уголовные дела, хранящиеся в архивах ЧК — ОГПУ — НКВД...

Я понимаю, что для многих читателей «Нашего современника» публикация «Желтого и черного» будет неожиданна. Может быть, даже кто-то осудит нас и скажет: зачем в русском журнале обсуждать еврейские дела? Ну, а мне, думаете, не жаль избавляться от своих юношеских увлечений и от своих иллюзий, отдавая окончательно и бесповоротно Осипа Мандельштама в чужие руки? Но что делать! Русско-еврейский вопрос, видимо, будет в ближайшем будущем разрешаться только на пути потерь, утрат и разочарований.

«Когда погребают эпоху — надгробный псалом не звучит»... А потому и звучат вместо него одесские хохмы и панибратские ужимки, в которых доселе русский поэт предстает евреем, всю жизнь ломавшим «перед собою и миром эллина». Можно добавить «и русского». Но не хочется.

Да и развязность эта напускная, порой несколько вульгарная, все-таки, кажется мне, кое-где прикрывает собою ни с того ни с сего внезапно набегающую на глаза слезу. Так что не только мне одному тяжело прощаться с эпохой. Жалко мне навсегда расставаться с Вами, Осип Эмильевич. Тащит Вас обратно в «иудейский хаос» Аркадий Львов, как еврейский ангел смерти Малхамовес...

Прощайте, Осип Эмильевич...

Когда Россия была центром мира, то и Вы были русским поэтом. А когда Россия стала провинцией, то упаковывают Вас и увозят от Москвы и Петербурга, от сосны, которая «до звезды достает», то ли в тот самый «иудейский хаос», от которого Вы, по собственному признанию, «бежали», то ли в Иерусалим под Стену Плача... Словом, из поэта, рожденного в великой России, превращают Вас в какой-то племенной тотем. Обидно, Осип Эмильевич, после русских просторов, снегов и небес, укрывших Ваши останки, снова завернуться в черно-желтый талес. Обидно. А что делать? История-то кончается, и перед ее концом суетливые потомки наши пытаются расставить все и вся по местам; как посуду в буфете...

ИЗГОЙ АЛШУТОВ

На темной площади Сыктывкарского вокзала меня встретил круглолицый, покачивающийся местный поэт Витя Кушманов и худой с иконописным лицом бородатый художник. Едем к моему товарищу Александру Алшутову. С утра, встречая меня, он напился и встретил нас богатырским храпом. Я не видел его лет пятнадцать. Он лежал на диване — седой, курчавобородый, с громадным носом, поджав ноги — диван был ему короток. Его живот свешивался с дивана. С трудом растолкали, сели в тесной кухоньке. Кушманов достал бутылку коньяка. Алшутов оживился:

— Ты добрый человек Витя, у тебя стихи хорошие, раздавленной травой пахнут, но пластики мало...

Пошли разговоры об Аксенове, Гладилине, Максимове, Солженицине, как будто сегодня он жил еще всем этим, как будто лишь вчера, а не пятнадцать лет назад загнала его, непутевого еврея, судьба на окраину города Сыктывкара. Рванул он однажды, спасаясь от каких-то неприятностей, на Север, шатался в тундре с оленеводами («мои фотографии во всем чумах висят»!) Потом получил участок в поселке Максаковка, построил времянку на берегу, обшил изнутри вагонкой, камин выложил, бамбуковые занавески повесил. Заложил фундамент еще одного громадного дома — десять на десять. Зимой ловил налимов на крючья и мечтал принимать друзей в новом дому. Женился на полукровке (полурусская-полукоми), она родила ему девочку Ксюшу. Словом, пустил корни, черт бородатый. Местные зовут его здесь Борода и Будулай, думая, что он цыган. Я поражаюсь его способностям ставить жизнь на карту —

Москва, Сахалин, Астрахань, Сыктывкар — ломать ее, начинать все заново, и как она судьба неблагодарна к нему, бесталанному, никак не водрузит ему на голову лавровый венок, не наградит за преданность Музе... Все ведь ради нее...

Алшутов (псевдоним) — Бейлин (по отцу) — Голицын (по матери) был представителем любопытной, сегодня вымершей породы советских поэтов, которых мой иркутский друг Вячеслав Шугаев называл «морозоустойчивыми евреями»... Их можно было встретить на всех необозримых просторах Сибири: во Владивостоке — Ян Вассерман, в Хабаровске — Роальд Добровенский, в Иркутске Марк Сергеев или Сергей Иоффе, в Красноярске — Зорий Яхнин, в Омске — Вильям Озолин... Все они были советские люди, чаще всего полукровки, жизнь в те времена еще не дошла до развилки, после которой надо было выбирать либо русскую, либо еврейскую судьбу... Алшутов выбрал русскую...

Сидим, выпиваем. И опять разговоры: Высоцкий, Галич, Окуджава. Две жизни — одна призрачная московская, другая реальная сыктывкарская с плотницкой работой, с дочкой Ксюшей, с дровами, с зимой.

Жена обиделась на него за какое-то грубое слово и исчезла из-за стола. Мы остались втроем — третий — его отец. Тихий старый еврей — инженер по авиастроению. К застолью вышел, надев на лацкан пиджака орден «Знак Почета».

«Я о политике с ним не разговариваю, — тихо заметил отец. — Мы друг друга не понимаем».

Заполночь отец с сыном пошли провожать меня на автобус. Сын — громадный в черном клеенчатом плаще, бородатый, со ступнями, повернутыми внутрь. Ассимилировавшийся полуеврей-биндюжник. И тихий, истаявший, уходящий из жизни отец, который уже не успеет уехать в Израиль.

За два-три года до этой встречи я сделал для Алшутова доброе дело: написал в сыктывкарское издательство рецензию на его стихотворную рукопись, благодаря чему она вскоре стала книгой. Многое мне в его стихах не нравилось: ложный наигранный пафос, пошлое «шестидесятничество», да и с рус-

ским языком он не ладил. Но я понимал, как тяжело ему приживаться на новом месте и, посоветовал издательству издать книгу приезжего поэта, не коренного и даже не русского...

У меня к тому времени за плечами уже была дискуссия «Классика и мы», и мое дерзкое письмо в ЦК КПСС насчет «Метрополя». Я уже не раз после этих поступков ощущал на своей шкуре всю силу еврейской ненависти, но рукопись Александра Бейлина, обрусевшего бродяги, полукровки, бастарда, выломившегося из среды своих расчетливых соплеменников, пославшего куда подальше их муравьиную, партийную талмудическую дисциплину, я благословил к изданию с легким сердцем, особенно когда прочитал в ней такие хотя и корявые, но искренние строки:

Когда вопрос нелепый задают —
за что мы любим Родину свою, —
я, словом на него не отвечая,
всем существом до боли сознаю,
что за нее во всем я отвечаю.
Чего отнюдь другим не предлагаю,
на посторонних не перелагая
сверхличную ответственность свою.

А на прощанье, на полутемном перроне при тусклом желтом свете фонарей, он, укрывая от северного дождичка драгоценный сборник с удачным названия «Затяжной прыжок» написал на странице, рядом со своим ликом — обрамленным курчавой шерстью, переходящей в густую бороду и плотную скобку усов:

«Станиславу Куняеву — человеку эталонной честности со старой проверенной многим дружбой. Ал. Алшутов».

Дружить правда, мы с ним по-настоящему не дружили, но встречались в Москве, где он изредка появлялся то после службы в авиации, то после походов на судах рыбацкой флотилии в Тихий Океан, то из Астраханского заповедника.

Разные слухи о том, почему он исчез из Москвы и затерялся в северных просторах, конечно же, доходили до меня.

Одни говорили, что он однажды неожиданно вернулся домой и застал у жены компанию хахалей. Началась драка. Ему сломали челюсть, но вскоре Александр подстерег главного хахаля где-то на набережной и пырнул его ножом.

По другой версии грешил он то ли фарцовкой, то ли иконами торговал и, почувствовав, что вот-вот заметут, сбежал на Севера.

В последнее наше московское свиданье он хвастался мне, что есть у него возможность устроить свою жизнь в столице, но для этого «надо на Таньке Глушковой жениться», чего ему, видимо, не очень хотелось.

Но вскоре после того, как я вернулся из Сыктывкара, то встретился в редакции журнала «Октябрь» с одной известной поэтессой. Узнав, что я недавно виделся с Алшутовым, она разволновалась и поведала мне тайну — почему Алшутов-Бейлин исчез из Москвы и затерялся в Северном краю. Если верить этой диссидентке, то Алшутов был якобы тесно связан с еврейской компанией из семи человек, которая летом 1968 года вышла на Красную площадь, осуждая наше вторжение в Чехословакию. Протестанты развернули лозунги, но через две-три минуты ребята из КГБ скрутили их и запихнули в машину. Действовали кэгэбешники четко и правильно, а вот наш Агитпроп то ли промолчал, то ли что-то невнятное промямлил по поводу этой демонстрации. А надо было, ничего не стесняясь, прямо и жестко сказать «мировому общественному мнению» следующие веские слова:

После Великой Отечественной войны в советском плену осталось два с лишним миллиона немцев, полмиллиона венгров, около двухсот тысяч румын, сто пятьдесят тысяч австрийцев... А кто был по численности на пятом месте? Чехословаки! Военные историки по всем документам насчитали их семьдесят тысяч. Но это — в плену, а топтало нашу землю тысяч сто, а может быть, и больше.

И немало горя, смертей, разрушений принесли нам эти онемеченные славяне. А если вспомнить мятеж подобных же чехословацких пленных в 1918 году и то, как эти якобы доб-

родушные Швейки, вооруженные до зубов, расстреливая и вешая за саботаж железнодорожников Великого Сибирского пути, не желавших отдавать им продукты и готовить паровозы, рвались на Дальний Восток, увозя с собой из Казани вагоны с русским золотом? Как они сдали Колчака революционному Политцентру в обмен на разрешение вывезти без досмотра на Восток все награбленное. Как под руководством генералов Гайды и Яна Сырового, впоследствии сотрудничавшего с Гитлером, пользуясь развалом России, они брали реванш за годы своего плена... Хотя их никто не приглашал в Россию, сами в составе тех же австро-немецких войск в 1914 году двинулись на нашу землю.

И неужели — после двух войн XX века, во время которых чехословацкие оккупанты оставляли в наших лагерях по 60—70 тысяч пленных, — мы, освободившие Прагу от фашистов, должны были спокойно смотреть, как эта славянская страна вновь готовится к антирусскому мятежу?! И после этого вся мировая общественность, вся чешско-польско-славянская интеллигенция вот уже 37 лет не устает стенать о том, что в 1968 году мы ввели в Прагу танки!

...Но я отвлекся. А суть в том, что из уст еврейской диссидентки я услышал, что Алшутов якобы должен был придти в августе 1968 года на Красную площадь восьмым. Но он не пришел... Кто-то из его задержанных друзей решил, что он просто струсил, а кто-то предъявил ему более тяжкое обвинение: что он предупредил комитетчиков о предстоящей акции.

Как бы то ни было, но именно после чехословацких событий Александр исчез из Москвы, видимо став в глазах еврейских отморозков предателем и изгоем.

Его книга «Затяжной прыжок» завершается строчками стихотворения, посвященного жене Вере:

Единая и неделимая,
ты для меня, как Родина...

А молодой друг Алшутова Виктор Кушманов, когда-то встретивший меня на Сыктывкарском вокзале, у которого стихи «пахли раздавленной травой», прислал мне перед смертью осенью 2003 года письмо, в котором писал:

«Знаю, что ты был счастлив в России, как и я. Думая о твоем журнале и о многом другом, я написал восемь строк, посвященных тебе:

Внезапно, вдруг ударит ток по коже —
Дорога, поле, стылая земля...
Мне изгородь родной избы дороже,
Чем изгородь Московского Кремля.

Иду по снегу, не нарочно плача.
Деревни нет. Нет ничего окрест.
Я как поэт здесь что-то в поле значу,
Я не поэт — там, где России нет.

Думаю, что Алшутов был бы рад, прочитав эти волнующие восемь строчек.

МОЯ ДУЭЛЬ С КОМИССАРСКИМ СЫНОМ

После 1982 года мною все чаще и чаще овладевали предчувствия какой-то грядущей катастрофы, должной случиться со страной и со всеми нами... Я с ужасом чувствовал, что устои нашего советского государства шатаются, слышал подземные толчки, глухой пока еще скрежет несущих конструкций и мучительно соображал, что делать, как и чем воспрепятствовать разрушению жизни. Скорее всего наше государство, наша идеология, — думал я, — возникли на двух опорах, покоятся на двух полюсах — на еврейской, мощно организованной воле к власти и на русском тяготении к всемирной справедливости. В самом начале обе силы делали одно дело — разрушали старую тысячелетнюю Россию, но со временем их векторы расходились все дальше и дальше друг от друга... Обе силы присутствуют в глубине жизни и сегодня. Но противоречия между ними нарастают, напряжения накапливаются, и землетрясения нам не миновать.

Когда я начал смутно понимать подобное положение вещей, то все события, которым раньше не было объяснения, как шахматные фигурки на доске, находили свое место: появление статьи партийного идеолога А. Н. Яковлева, странная игра в кошки-мышки с диссидентами, пена вокруг «Метрополя», реакция власти на дискуссию «Классика и мы»...

Догадки мои в те годы приблизительно строились так. Значит, раскол нашей жизни, крушение партийной идеологии и развод с еврейством неизбежны. Мы, русские, свой коммунистической партии, видимо, создать не успеем. История не даст нам для этого времени. Идея социализма на ближайшее

время, по крайней мере, скомпрометирована антисоветской частью самой партийной верхушки. Инициативу можно перехватить, лишь опираясь на то, что условно называется «национальным самосознанием». Путь опасный, ибо он тоже на первом этапе разрушителен для многонационального государства. Однако другого пути нет: партийная верхушка сама разрушит партию, сама угробит социализм, сама предаст многомиллионную партийную массу — а пока есть время для организации сопротивления.

И если уж идти в контратаку, то все силы надо направить на дискредитацию «детей XX съезда», ратующих за «ленинские нормы жизни», тайных наследников Троцкого и Бухарина, Каменева и Зиновьева. Надо убедить общественное мнение, что нынешние функционеры — яковлевы, арбатовы, бовины, фалины, бурлацкие, лацисы опасны, что диссиденты типа Литвинова, Якира, Копелева, Агурского и близкие к ним Окуджава, Аксенов, Шатров, Боннер — фанатичные потомки своих отцов, жаждущие исторического реванша...

Подготовить для грядущего отступления окопы и траншеи национальной обороны, объяснить замороченным людям, что сталинская солдатско-принудительная система была исторически неизбежна для спасения страны, успеть доказать, что Россия в той степени, в какой это было ей нужно, сумела переварить социализм, приспособить его к народным нуждам и что лишь поэтому он, социализм, получил смертный приговор, «вышку» от трибунала «мирового сообщества» и его агентов влияния, находящихся на вершинах власти в Кремле и на Старой площади...

А если уж у нас не хватит сил и времени русифицировать партию и сохранить советскую государственность — а может и не хватить, наши враги проницательнее и организованнее нас! — то единственный наш реванш, единственный плацдарм для будущей борьбы (может быть, уже не для нас, а для русских людей другого поколения) — это написать правду обо всем... О вождях революции, о расказачивании, о русофобии двадцатых годов, о судьбах Есенина и Клюева... Надо из-

дать антологию крестьянских поэтов, написать книгу в ЖЗЛ о Есенине, вырвать из исторического небытия имена Алексея Ганина, Пимена Карпова, Ивана Приблудного...

Осмыслив все это, я бросился в историю и публицистику. Сколько статей было написано за десятилетие с 1982-го по 1992 год, сколько копий сломано, сколько книг издано, сколько нервов потрачено, сколько читательских писем получено, сколько восторгов, похвал, оскорблений, наветов пришлось перенести — не счесть.

1982 год — «От великого до смешного» — статья о классике и о Высоцком, грандиозная дискуссия после нее... 1984 год — «Что тебе поют» — статья о массовой культуре, сотни полученных читательских откликов; 1986 год — «Пища? Лекарство? Отрава?» — яростная полемика с читателями, «pro — contra», открытый бой за русскую культуру с привлечением читателей-союзников; 1986 год — «Избранное» Николая Клюева в Архангельском издательстве (в Москве трудно было издать такую книгу); 1987 год — публикация в «Новом мире» великой клюевской «Погорельщины»; издание антологии крестьянских поэтов «О Русь, взмахни крылами» с биографическими справками, в которых наше русское издательство «Современник», возглавляемое умеренным патриотом Леонидом Фроловым, запретило обнародовать, как и где большинство из них нашли свою смерть... А публикации целого цикла статей в «Молодой гвардии» и «Нашем современнике» — «Все начиналось с ярлыков», «Поэзия пророков и солдат», «Клевета все потрясает», «Палка о двух концах»... И, в конце концов, издание в Вологде однотомника Алексея Ганина, сестер которого я разыскал в Архангельске...

Боже мой, сейчас сам себе поверить не могу, как у меня на все хватало сил: писать, пробивать в издательствах книги, печатать, выдерживать яростную хулу со страниц «Огонька», «Литературки», «Московских новостей», «Знамени»... В 1990 году уже невозможно было все эти огнедышащие публикации издать под одной обложкой в Москве. Родные мне издательства были разорены и обнищали, в «демократические», неизвестно

откуда получавшие средства, соваться было бесполезно, и я отослал рукопись в далекий Саратов, моему хорошему знакомому из саратовского издательства — Геннадию Сидоровнину. Она и вышла в 1990-м году книгой под названием «Не сотвори себе кумира».

А время катилось все быстрее, письма становились все отчаяннее, люди все растеряннее и беспомощнее, судьбы разламывались на глазах, а вместе с ними хрустели в жерновах эпохи надежды и читателей и поэтов, шторм времени разносил нас в разные стороны, и мы с отчаяньем глядели вслед друг другу, понимая, что расстаемся навсегда.

И тут я бы хотел вспомнить еще один «эпистолярный роман», выпавший на мою долю. В 1981 году я получил письмо из далекого Владивостока от поэта Яна Вассермана. Несмотря на громадные просторы страны, наша жизнь в советские времена была такова, что все мы, писатели, плохо или хорошо, но знали друг друга лично или понаслышке. Где-то встречались, либо читали стихи друг друга в наших тогда общих журналах, либо имели общих друзей-товарищей, либо знакомились на обычных для тех времен совещаниях молодых, на всяческих семинарах и юбилеях. Да я сам, как помнится, раза два или три всю страну проехал с литературными выступлениями, организованными Всесоюзным бюро пропаганды художественной литературы и за его счет, и деньги коекакие на семейную жизнь заработал.

Поэтому все мы знали, где кто живет, кто как пишет, а также и то, кто из нас русский, кто бурят, а кто еврей. Поэтому, получив письмо от Вассермана, я, ни разу не встречавшийся с ним, вспомнил, что где-то на восточной окраине государства живет такой еврей сибирской породы, лихой парень, человек такого склада, которых Борис Слуцкий с уважительной иронией называл «иерусалимскими казаками». Я также знал, что в Иркутске всегда найду приют и понимание не только у Шугаева и Распутина, но и у Марка Сергеева или Сергея Иоффе, а в Красноярске у Зория Яхнина, бесталанного, но отчаянного любителя выпить и поговорить о по-

эзии, во Львове у Гриши Глазова, в Сталинграде у Изи Окунева. Да практически в каждом городе России, и не только России, я знал хоть одного веселого и общительного писателя-еврея. И вдруг вот такое письмо...

Впрочем, не вдруг... А после того, как я опубликовал в 1980 году стихотворение «Родная земля» — мои размышления о еврейской эмиграции.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

Анна Ахматова

Когда-то племя бросило отчизну,
ее пустыни, реки и холмы,
чтобы о ней веками править тризну,
о ней глядеть несбыточные сны.

Но что же делать, если не хватило
у предков силы родину спасти
иль мужества со славой лечь в могилы,
иную жизнь в легендах обрести?

Кто виноват, что не ушли в подполье
в печальном приснопамятном году,
что, зубы стиснув, не перемололи,
как наша Русь, железную орду?

Кто виноват, что в грустных униженьях
как тяжкий сон тянулись времена,
что на изобретеньях и прозреньях
тень первородной слабости видна?

И нас без вас, и вас без нас убудет,
но, отвергая всех сомнений рать,
я так скажу: что быть должно — да будет,
вам есть где жить, а нам — где умирать...

Оно было написано в начале 70-х годов в поезде «Иркутск — Москва», когда я возвращался с охоты из иркутских северов, из милого Ербогачена, но впервые напечатано в книге «Солнечные ночи» в 1980 году.

...По возвращении из Сибири я вскоре попал на день рождения поэта Вадима Кузнецова, где познакомился с тогдашним редактором «Комсомольской правды» Валерием Ганичевым. Под ним тогда земля горела, его убирали из «Комсомолки», по слухам, якобы за то, что где-то в бане во время застолья друзья подняли за него тост как за будущего генсека, а он благосклонно выслушал эти пожелания. Услышав во время нашей встречи несколько моих стихотворений, Ганичев срочно предложил мне напечатать их в «Комсомолке», что я и сделал. Подборка, что и говорить, по тем временам получилась оглушительная, тем более что в ней тоже было стихотворение, нарушающее табу на русско-еврейский вопрос.

Для тебя территория, а для меня
это родина, сукин ты сын,
да исторгнет тебя,
как с похмелья, земля
с тяжким стоном берез и осин...

Я с тобою делил и надежду, и хлеб,
и плохую и добрую весть,
но последние главы из Книги Судеб
ты не дал мне до срока прочесть.

Что ж, я сам прозреваю, не требуя долг,
оставайся с отравой в крови.
В языке и в народе известно, что волк
смотрит в лес, как его ни корми.

Впрочем, волк — это серый и сказочный зверь,
защищающий волю свою.
Все давно мне понятно, но даже теперь
много чести тебе воздаю.

Гнев за гнев, коль не можешь любовь за любовь.
Так скитайся, как вечная тень,
ненадолго насытивший ветхую кровь
исчезающий оборотень.

Стихотворение «Разговор с покинувшим Родину» вызвало обильную почту, среди которой попадались весьма интересные письма от весьма проницательных читателей, умевших разглядывать и читать сквозь лупу не то что каждую строчку, но каждое слово, выходившее из-под моего пера.

Уважаемые товарищи!

В рубрике «Поэтические встречи» в номере от 12 октября с. г. «Комсомольская правда» опубликовала подборку стихов Станислава Куняева. Меня крайне удивило (и огорчило) стихотворение «Разговор с покинувшим Родину».

Стихотворение на такую острую и сложную тему опубликовано в молодежной газете (сама я, увы, уже комсомолка 40-х годов, но газету читает молодежь в нашей семье, а я люблю стихи), а начинается оно площадной руганью и весьма непоэтическими сравнениями. Ведь если автор делил с адресатом стихотворения «и надежду, и хлеб, и плохую и добрую весть», то, вероятно, знал и мать своего бывшего друга. Зачем же оскорблять женщину, называя ее сукой? Стыдно! Ведь С. Куняев претендует на звание поэта. Впрочем, это становится сомнительным после чтения строк «Да исторгнет тебя, как с похмелья, земля с тяжким стоном берез и осин». Хотел С. Куняев уязвить своего бывшего друга, но оскорбил этими строками и землю, которую тот покинул, сравнив ее с пьяницей, страдающим от похмелья. Оскорбил и не заметил. Может быть/для автора это привычный образ?

А дальше еще хуже — автор пишет: «В языке и в народе известно, что волк смотрит в лес, как его ни корми». Что же «волчьего» было в бывшем друге С. Куняева? Его национальность? Это имея в виду автор, говоря «так скитайся, как вечная тень»? Ведь «в языке и в народе известно, что скитался «вечный жид» — Агасфер. Это, что ли, имел в виду взбешенный автор? Понимает ли С. Куняев, что он оскорбил сравнением всех советских людей еврейской национальности и вооружил всех антисемитов? Ежели

же этого не понял С. Куняев, то кажется странным, что ему не объяснил этого редактор, сдавший материал в набор.

Я написала письмо под свежим впечатлением, около месяца тому назад, не послала его сразу и раздумала было его посылать. Но вчера произошел такой эпизод. Возле дома, где живу, я, возвращаясь с работы, услышала отборный мат пьяного гражданина, прогуливавшего свою овчарку. Направлен мат был по адресу рабочих аварийной машины. Невдалеке гуляли старушки-пенсионерки. Когда я попросила его прекратить ругань, он обозвал меня, в полном соответствии с «поэзией» С. Куняева, «старой сукой» и посоветовал «ехать в свой Израиль».

Я решила после этого все-таки послать это письмо и спросить у С. Куняева, хорошо ли он подумал, прежде чем разрешил печатать свой «Разговор».

Если я не получу ответа на свое письмо, то буду считать это молчание знаком согласия со всем, что написала.

С уважением *Авербух Бася Израилевна,*
ветеран Великой Отечественной войны,
москвичка со дня рождения и, надеюсь,
до самой смерти, экономист,
старший научный сотрудник.

Русско-еврейская тема с каждым годом все глубже, все сильнее, как клин, раздваивала общественное сознание, и все чаще и чаще я стал получать письма от читателей, негодующих на то, что поэт нарушает негласное табу и прикасается к взрывоопасному вопросу.

Многие из писем такого рода были неумными, хотя и искренними, не то что серьезное письмо (наконец-то я дошел до него!), полученное мной в 1981 году из Владивостока от Вассермана.

Станислав Юрьевич!

Третий день сижу над Вашими «Солнечными ночами», книгой очень талантливой, лучшей из всего, что Вы написали. Впрочем, после первых же Ваших стихов я понял, что Вы настоящий поэт. Но разговор сейчас не только об этом. Я третий день перечитываю одно Ваше стихотворение, как будто растравляю рану. Причем, хочу предупредить, я не

знаю, кто из нас прав. У меня есть, наверно, все, написанное Вами. Есть и «Свободная стихия». Поэтому я знаю, что рыбьей крови в полемике Вы не любите. Ну, и я ее не люблю, и поэтому можно вести разговор напрямую. Мне пятьдесят лет. До тридцати пяти я работал инструктором альпинизма в разных горных системах. С тех пор — профессиональный моряк, работаю в Дальневосточном пароходстве. Я — представитель того «племени», которое «когда-то бросило отчизну». Хочу сказать, что строчкой «вам есть где жить, а нам — где умирать» Вы оскорбляете память моего отца, командира в бригаде Котовского, а в Отечественную зам. ком. 211 стр. дивизии, оскорбляете меня. Кто Вам дал право отнимать у всех, подобных мне, Родину? Ведь за кордон уезжают не только евреи. А. Кузнецов, А. Солженицын, В. Некрасов и С. Сталина евреями не были. Значит, есть причины социального, а не национального характера. Может быть, забвение этих причин привело к тенденции (и не только у Вас), когда понятием «русский» подменяется понятие «советский». Не думаю, что Ваши стихи являются выражением государственной политики.

Поэтому я решил ответить Вам стихами. Правда, аудитории у нас разные. Вы говорите на весь Советский Союз, а я, в силу определенных причин, только с Вами. Но это меня не пугает. Потому что я говорю с настоящим поэтом.

К письму было приложено стихотворение, которое необходимо привести целиком.

ОТВЕТ СТ. КУНЯЕВУ

И где найдешь еще такие
Березы, как в моем краю...
Я б сдох, как пес, от ностальгии
В любом кокосовом раю.

Павел Коган

Да, я видел их резко и близко
На просторах родимой страны,
Тех, кто в кожу мне, словно редиску,
Сеял предощущенье вины.

Что, мол, держит тебя? Осторожность?
Ты чужой, ты нездешний листок,
Ты, конечно, лелеешь возможность
Гнать лошадок на Ближний Восток.

Мол, признайся, дружок мой сердечный,
Обнажив сокровенную нить:
Сможешь к звездочке пятиконечной
Дополнительный лучик пришить?

Ненавистны мне эти дебаты,
Я ответить по-русски хочу
Ведь, как взрыв трехэтажного мата,
В переводе я не прозвучу.

Я снимаю рыбацкую робу,
Что под солнцем таскал, под луной,
И в ответ им свинцовую злобу
Вырываю из клетки грудной.

Ваши фразы меня не растлили,
Вашу хитрость видал я в гробу,
Мне не нужно во славу России
Дуть при всех в жестяную трубу.

Я рожден на Подоле картавом,
Я — от плоти родимой земли,
И под киевским, тихим каштаном
И отец мой, и мама легли.

Я прошел по волнам и по травам,
Я работал и дрался, как мог,
И в пролившемся море кровавом
Мой семейный течет ручеек.

Так что знайте, «дружки дорогие»,
Очень четкое мненье мое:
Мне там не испытать ностальгии —
Здесь умру, не дождавшись ее...

Стихи слабые, но искренние и по-своему впечатляющие. Одна беда — последняя строчка, как показала жизнь, оказалась фальшива. Так же, как у Межирова — «я родился в России и умру здесь». Ян Вассерман умер не в России.

Мой ответ, естественно, не замедлил себя ждать, и между нами началась переписка, по-моему, не менее серьезная, нежели между Астафьевым и Эйдельманом.

Здравствуйте, Ян!

Вот Вам первый вариант ответа на Ваше письмо: это стихотворение и строчка «Вам есть где жить, а нам — где умирать» имеет отношение только к тем, кто оставляет родину. Ни памяти Вашего отца, ни Вас лично она не касается. Так что излишне нагнетать страсти фразами, подобной: «кто Вам дал право отнимать у всех, подобных мне, родину?» Родину отнять никто ни у кого не может. Человек отнимает ее у себя сам. В крайнем случае, у него всегда есть выход — прочитайте еще раз эпиграф к моему стихотворению из Ахматовой («и ложимся в нее и становимся ею — потому-то ее называем своею»). Кстати, в конкретных примерах, споря со мной, Вы не точны. Солженицын уехал не по своей воле, его «выдворили», как было сказано в официальном сообщении. В своих выступлениях за границей он не раз подчеркивал эту разницу в своей судьбе по сравнению с теми, кто уехал по своей воле.

Настоящая фамилия Анатолия Кузнецова, кажется, Герчик. На этом можно было бы и закончить и еще раз повторить, что к евреям Вашего склада, ассимилировавшимся в русской стихии и культуре, мои стихи не имеют никакого отношения, так же как и стихи «Разговор с покинувшим родину», из той же книги.

Правда, есть у меня и второй, более сложный вариант ответа, но он для людей, желающих не только возмущаться, но и мыслить. Давайте подумаем вот о чем. Сколько евреев уехало из Союза? — Более чем 300 тысяч. Цифра официальная. На деле думаю, что больше. Почему бы Вам не обратить внимание на это обстоятельство, а потом уже на мое стихотворение? Материал для поэта, мыслителя, социолога — интереснейший! Я не сомневаюсь в Вашей искренности и в окончательном выборе Вами судьбы, но что значит Ваша личная судьба. Ваш единичный выбор перед феноменом еврейского духа, уникального в истории

человечества, перед генами, постоянно зовущими от исхода к исходу, от одной родины к другой — и все это длится более двух тысячелетий, во время которых меняются десятки родин. Что же Вы думаете, за одно поколение, за одну жизнь человеческую этот дух растаял, развеялся, растворился? Рядом с ним на весах истории Ваша личная судьба, да и судьба Вашего отца — пылинки... За себя Вы ручаетесь, а за сына своего сможете поручиться? А за внука? Уверены ли Вы, что в них не проснется и не оживет все то, что двинуло в разные концы света 300 тысяч советских евреев? Что это — беда или вина? Многие говорят: антисемитизм, гонения и т. д. Но я вот недавно приехал из Болгарии, где никаких гонений не было и откуда в конце сороковых годов уехало 45 тыс. евреев, как только был создан Израиль (45 тысяч из 50-ти!). Вы говорите о славной судьбе отца, делавшего революцию, но разве мало их, отпрысков профессиональных революционеров, литвиновых, якиров и пр. болтается сейчас на Западе, плюнув на свою родину, которую строили их отцы и деды? Так что Ваш пример и опыт эмоционально понятен, но исторически неубедителен...

И еще одно «но»... Я могу осудить традиционную ненадежность части еврейства, исторически подтвержденную, как патриот своей родины, но как философ, историк и поэт — я с интересом всматриваюсь в судьбу этого племени, пытаясь понять его тайну. Почему же Вы отказываете мне в этом праве свободно мыслить и излагать свои мысли тем способом и с тем талантом, который мне свойственен? Почему я не должен думать и размышлять о трагических, величественных, низких, кровавых, светлых, темных и, может быть, безысходных путях, по которым идет человечество? Только потому, что Вы никуда не собираетесь уезжать, и что Ваш отец воевал славно и достойно? Ваше письмо опять возвращает меня к мысли, что при всех достоинствах, которыми обладает еврейский национальный характер, ему недоступно одно: трезвое и беспощадное отношение к самим себе. Вспомним, как Иоанн Грозный осудил Курбского, как Тарас Бульба расстрелял Андрия, как Петр Алексея послал на смерть... А мне стоит лишь со многими печалями, сомнениями, оговорками затронуть тему патриотизма и предательства, как на меня сыплются письма (весьма стандартные), подобные Вашему Табу! Об этом — не сметь!

А русские смеют и осуждают себя, как никто. Не Чернышевский ли сказал о своем народе «сверху донизу все рабы»? А Пушкин — «не дай Бог увидеть русский бунт, бес-

смысленный и беспощадный»... Может быть, в такой жесткости к себе больше правды, чем в бесконечных «табу», к которым и Вы, оказывается, привержены...

До свиданья.

Ст. Куняев.

Ян с большой охотой, как мне показалось, ответил мне немедля страстным, противоречивым и даже наивным письмом, в котором совмещались и его советская искренность и еврейская политизированность, «злоба дневи сего», столь свойственная людям этого склада.

Здравствуйте, Станислав.

Благодарю Вас за письмо. Боюсь быть навязчивым, но мне необходимо еще раз написать Вам. Вы сейчас доказали мне, что раздражительность — плохой советчик. Этот упрек полностью принимаю. Я ведь и раньше понимал, что Вы во многом правы. Во многом, но, надеюсь, не во всем. Да, не хватает у меня юмора, чтобы плясать на собственных похоронах. Может быть, с точки зрения вечности, моя судьба — пылинка. Но ведь это моя судьба и судьба моих детей, и ручаться за сына и внука я действительно не могу — здесь Вы снова правы. И правы насчет «тени первородной слабости».

Это я понимал и раньше. Но трудно мне принять эту правоту. Ведь инстинктивно ощущая эту тень, я рвался и в горы, и в моря, где и сейчас работаю. И в стихах своих всю жизнь пытался ее (тень) преодолеть. А вот насчет трезвого и беспощадного отношения к себе в национальном и личном плане — позвольте не согласиться. Я еврей. И ненавижу среди нас породу парикмахеров и продавцов, такие есть, даже если они доктора наук. Три самые страшные подлости в жизни мне сделали евреи. Но мне кажется, даже если я был бы русским, я бы не делал из этих фактов глобальных выводов. Вы доказываете отсутствие у евреев самокритичного отношения к себе, приводя Гоголя, Пушкина, Блока. А я бы мог привести Бабеля — очень самокритичного в национальном плане. Или поэта Хаима Бялика, его строчки (во время погрома у еврея изнасиловали жену):

И он пойдет спросить раввина,
Достойно ли его святого чина,
Чтоб с ним жила такая.Слышишь? С ним!
И все пойдет, как было.

А теперь вернемся к понятию «Родина». Черт его знает, может, цифры и проценты, которые Вы приводите, имеют доказательную основу. Я сейчас хочу говорить не о массе, которая ищет, где жить. Я хочу говорить о патриотах. Ведь можно любить Родину и не любить несправедливость, если она в данное время свойственна твоей земле. Я почти не знал Кузнецова. Когда-то, в 60-е годы, когда я жил в Ялте, меня познакомил с ним Толя Приставкин. И я совершенно не предполагал, что его фамилия Герчик. Хрен с ним. Но Виктор Платонович Некрасов был для меня самым близким другом. И дело не только в его дырках и орденах, полученных под Сталинградом. Просто до сих пор я, не встречал такого честного и порядочного человека, каким был он. Но и он тоже как-то на берегу Днепра в Киеве сказал мне: ты-то сможешь смотаться на Запад, опять же гены, а я вот не смогу. Ну, это подробность. Так вот, неужели Ваш гнев в стихах вызывает только арифметическое отношение уехавших евреев? У нас недавно проходили Фадеевские дни. Все было очень торжественно. А я не могу забыть судьбу Андрея Платонова.

За Платоновых — отца и сына,
Нет тебе спасенья — нет и нет.
Как Иуду не спасла осина,
Так тебя — казенный пистолет.

И поверьте мне, что если бы Фадеева звали трижды Герчик-Якир, я все равно написал бы эти строчки. Когда-то общественной совестью пытался быть Е. Евтушенко. Но ведь у него не было и 1/10 (простите за арифметику) той пронзительной искренности, которая есть у Вас. И неужели Вас, поэта, не волнует судьба пылинки, ведь это чья-то судьба? В общем, после Ваших стихов стало мне хреново. И потому что приходится оправдываться, и потому, что не нахожу пока контрдоводов. Может, действительно не хватает

....мужества со славой лечь в могилы,
Иную жизнь в легендах обрести?

Еще раз благодарю Вас за письмо. В Москве или во Владивостоке — очень хотел бы с Вами встретиться.

До свиданья.

Уважающий Вас *Ян Вассерман.*

9/X-81 г.

...Переписка наша разрасталась как снежный ком. К сожалению, не все письма Яна сохранились в моем архиве, так же, как и не все копии моих ответов к нему. (Чувствуя исторический характер этого «русско-еврейского» романа, я снимал копии со своих писем к Вассерману.)

Он сделал, к сожалению, ложный шаг, стал засыпать меня своими стихами, естественно, ожидая признания их достоинств. Но стихи были пронизаны неистребимым комплексом художественной неполноценности, отсутствием свободы, фельетонностью стиля, иногда эффектной, но чаще плоской иронией, грешили излишней рациональностью и неприемлемым для меня скептицизмом. Помню, что я назвал их в одном из писем «деревянными», а если и оценил — то словами «игра ума» — не более.

Это, конечно, даже не обидело, а сокрушило бедного Яна, и наша переписка стала носить все более мрачный характер. Он все чаще стал упрекать меня в том, что я вовлекаюсь в некие «националистические» или «черносотенные организации», являющиеся «инструментами нападения» и «морального террора» для людей «свободной мысли», еврейство — все сильнее и сильнее стало проступать и в его письмах и в его стихах...

Что делать? Судьба распорядилась и мною и бедным Яном. А потому мы, как в море корабли, уходили все дальше друг от друга.

Здравствуйте, Станислав!

...Исходя из присланного Вами, из своего знания, из теперешних наблюдений, я могу понять Ваше — и не только Ваше — отношение к определенному нацменьшинству. И оправдать его. Я имею в виду отношение оправдать. Правда, тогда придется поколебать еще кое-какие постулаты, носящие более интернациональный характер. Но разговор сейчас не об этом. Хочу Вам сообщить и надеюсь, что Вы поверите мне на слово: я — лично, я — Ян Вассерман, не проектировал концлагерей, не прославлял их, не пел во здравие душегубов и убийц, присущих культу. Считаю, что для этого были использованы национальные черты еврейства, точнее, ставшие к тому времени национальными, соз-

данными многовековым угнетением, в том числе и Россией, хотя это не оправдание. Вообще, я уверен, что никакую подлость анамнезом оправдать нельзя. Но простите мне мой эгоцентризм: как говорил один царь-трезвенник, у которого киряли придворные: «для непьющего человека я слишком часто стал страдать от пьянки». Евреи меня считают чужаком, и совершенно правильно считают. В морях и в горах я их не видел. Но я не хочу, чтобы другие ручки, которые давят меня, как поэта, проделывали это под лозунгом мести еврейству, так много принесшему зла русскому народу. Поздравляю Вас с Новым годом. Желаю Вам всего доброго и, конечно, новых талантливых стихов. Если Вас не затруднит и Вы вышлете мне новый «День поэзии», буду очень благодарен.

С уважением.

Ян Вассерман.

А это мое письмо Вассерману написано как ответ на его несохранившееся, в котором он обижался на меня за мои оценки его стихов, которые уязвили Яна.

Здравствуйте, Ян!

Перестаньте кипятиться по пустякам. «Игра ума» (даже и фельетонная) в наше время на дороге не валяется. Так что считайте, что я Вам отдал должное. Она есть и у меня. Вы правы, но в куда меньшей степени, поскольку я этому свойству особенно не доверяю.

И перестаньте, пожалуйста, пугать себя и меня «организацией», которая является «инструментом нападения». Какое нападение, когда после каждого выступления Кожинова на него бросается целая свора продажных борзописцев — оскоцкие, николаевы, суровцевы — имя им легион. А перед ними открыты двери любой прессы. Вот о чем лучше подумайте.

«Наши лошади шли по цветам... « (Вы иронизируете: лошадей много, а цветов мало, и опять подтверждаете мою мысль о фельетонной игре ума.)

Стихи эти посвящены моему лучшему в жизни другу Эрнсту Портнягину. По отцу он Левин. Отец еврей, мать — русская. Я это пишу Вам для того, чтобы Вы не иронизировали по поводу «девичьих» фамилий Окуджавы и Кузнецова. Для меня не имеет значения, что по крови Портнягин еврей

больше, чем Окуджава. Я воюю не с людьми, а с идеями и взглядами. У Портнягина же еврейская половина естественно и счастливо ассимилировалась русской (ленинский идеал разрешения еврейского вопроса. Поскольку Ваш отец-революционер был из ленинской гвардии, как я понимаю, Вам должно быть это близко и понятно). Если же Вам интересно, почему я любил этого человека Портнягина — прочитайте книгу моей критической и дневниковой прозы «Свободная стихия». Поглядите также книгу Эрнста, изданную мной после его смерти... В ней не только игра ума, но и свободная стихия жизни.

Что же касается Ваших рассуждений о Рубцове — то Вы правы, но мне всегда было мало только одной поэтической судьбы. Тем более что она, как правило, реализуется посмертно. Кстати, Вы пишете: «у Вас счастливая литературная судьба». Не завидуйте. Она вся вперекор обстоятельствам, а не по их воле. Попробуйте жить так сами, и узнаете, что стоит это «счастье».

И еще. Будете мне писать — пишите, ради бога, более серьезные и умные письма. Вы же это умеете. Всего доброго.

В ответ я получил серьезное, хотя и не очень умное письмо, из которого явствовало, что наш роман подходит к концу. Сын профессионального революционера, увы, никак не мог «сдать» мне своих единомышленников — революционного поэта Багрицкого и комиссарского сына Окуджаву. Как не мог понять и крестьянского сына Сергея Викулова.

Здравствуйте, Станислав!

Большое Вам спасибо за книгу хорошего человека Эрнста Портнягина. Я хотел Вам ответить сразу же, но меня срочно бросили в моря, там я по разным причинам дошел до состояния анабиоза (а может, я путаю?) — короче — до ручки, списался и в темпе поменял квартиру на Кишинев. Где и нахожусь сейчас в ожидании обменного ордера.

Ваша критическая книга была у меня задолго до Вашего письма. Я ее перечитывал несколько раз, после каждой статьи проводя бой с тенью по всем правилам профессионального бокса. Скажите, Станислав, Вам не кажется, что Вы зачастую судите поэтов не по законам, а по рево-

люционному правосознанию, и вот он Вам, родненький 17-й годочек? Например, Окуджаву? Я не уверен, что поэт может выносить приговор поэту на основании арифметического подсчета междометий, местоимений и т. д. Вы же отрываете от стихов мелодию, гитару, а зачем? Ведь это сплав, монолит. Вы не играете в преферанс? Там есть аналогичная ситуация: «Догнали попа, отобрали козырного туза и оставили без одной». Если бы из Ваших стихов убрать мысль, жесткий темперамент и не совсем (скажем так) мягкое отношение к человеку, оставив и размер, и рифму, Вы бы тоже стали очень уязвимы.

Прочел я сейчас и Ваши «Вольные мысли». И позвольте мне сказать, что Вы иногда ударные интонации делаете не по тому месту. В частности, о содружестве ворона с бойцом. Да, многие связывают ворона с выклеванными глазами, но вряд ли стоит поэту идти за установившимися представлениями. Вон веками чайку считают эталоном чистоты, символом и т. д. Считают. В основном, маринисты из Подмосковья. А Вы знаете, что моряки ненавидят чаек? Что чайки выклевывают глаза у тех, кого несут волны, одетых в спасательные пояса? И не всегда они бывают мертвыми, иногда просто обессиленными. Мне приходилось с бота поднимать трупы с выклеванными чайками глазами. Строчки эти у Багрицкого неудачны без принципиальной подоплеки. А то, что он упоминает Тихонова, Сельвинского, Пастернака (без Твардовского), так они действительно были популярны. И Багрицкий не создавал им популярность, а отмечал факт. Да и часто популярность и истинная поэтическая сила не совпадают. Тихонова и Пастернака я и сейчас люблю, Сельвинского местами, но все-таки: «Комиссарское сердце из боя возвратилось тяжелым, как гром, и по сердцу пятно голубое голубиным скользнуло крылом...» Такое я не забываю. Да и не только я. Вы сами пишете, что прогнозы в поэзии даже на 2—3 десятилетия — дело неблагодарное. А у этих поэтов, по-моему, как писал Поженян — «Есть прожитые жизни, у которых все, как это ни грустно, впереди». Между прочим, споря с Вами заочно, я многое у Вас относил за счет чисто писаревского отношения к литературе, за счет органичного писаревского дарования.

Я, Станислав, ловлю себя на том, что предъявляю Вам претензии за всю нашу литературу. Но ведь Вы сами ставите и пытаетесь решать вопросы глобального характера. И я еще не убедил себя, что Вы решаете их неправиль-

но. Мне попал в руки номер «Поэзии», в которой Вы — член редколлегии. Со стихами Смелякова: «Эти Лили и эти Оси...» Я люблю стихи Смелякова. Безотносительно к любви я ему многим обязан. Он дал мне первую премию на Всесоюзном поэтическом конкурсе «Комсомолки» в 1963 году. В сборнике «Горсть огней» он написал обо мне хорошие слова. Он меня печатал в московских «Днях поэзии». Стихи «Эти Лили и эти Оси...» очень сильные. «И, как вермут ночной, сосали золотистую кровь поэта...» Может, это все правда. Но я подумал о другом. Что сказал бы или что сделал бы Владимир Владимирович Ярославу Васильевичу, если бы ожил и прочитал. Он, который в последнем письме правительству называл брехобриков[1] своей семьей и любил ее всю жизнь. Кстати, вернемся к нашим воронам. В этом же номере — вирш Викулова. Вы, наверно, читали этот вирш. Как он (Викулов), защищая сельских женщин, стрелял в горбоносых, картавых ворон, которые клевали кур, застрелил одну ворону и сказал: «то-то».

Викулов меня не удивляет. Ему надо в клан, он хочет найти общность с кланом хотя бы по форме одежды. Потому что по стихам его можно принять только в клан, член которого писал в 1941 году в немецких листовках: «Бей жида, политрука, просит морда кирпича».

Но вот почему Вы его не тронули в своих «Вольных мыслях», для меня загадка. Если руководствоваться справедливостью для всех, а не справедливостью направленной. В поезде из Владивостока одолжил «Литературку» и прочел Ваше стихотворение из будущего «Дня поэзии». Таким я Вас не знал. Такому добру кулаков не нужно. Рискую обратиться к Вам с просьбой. В Молдавии с русскими книгами невероятно трудно. Не согласитесь ли Вы прислать мне «День поэзии», когда он выйдет? Так получилось, что в Москве мне сейчас не к кому обратиться. Ну, а если судьба занесет Вас в Кишинев, буду рад Вас увидеть. Всего Вам доброго. Буду рад получить от Вас письмо.

Ян Вассерман.

Окончательный разрыв между нами наступил сразу, осенью 1983-го, через два года после начала переписки.

---

[1] «Брехобрики» — из стихотворения Я. Смелякова, посвященного Маяковскому.

Ян не выдержал моих требований ни к ассимилированному еврейству, ни к комиссарам, ни к его поэзии. Последнее письмо было написано, видимо, во хмелю, судя по плохой амикошонской лексике и по решительности выражений.

23.10.83

Стас!

Когда-то давным-давно за год до моей смерти ты написал мне, что у меня деревянные мозги. Так вот, лучше быть с деревянными мозгами, как у Буратино, чем с мозгами, залитыми гудроном, по которым ты маршируешь в своих лакированных сапогах.

Посылаю тебе стихи, чтобы ты хоть что-нибудь понял. Хотя ты ни х... не поймешь. Потому что твой талант уже в третьем нокдауне от твоего благоприобретенного.

Verte!

А я знаю, что от честного поединка ты не откажешься.

И не носи ты кожиновское пальто. Оно тебе не идет.

Да, ни дать ни взять — лихой иерусалимский казак, сын комиссара! Когда я прочитал это письмо, то мне вспомнилась строчка из «Маскарада»:

И этот гордый ум сегодня изнемог.

ЧАСТЬ III

«НАЧАЛО БЫЛО ТАК ДАЛЕКО!»

1956 год — год еврейского торжества.

В год знаменитого партийного съезда, уже будучи студентом-пятикурсником, я стал постоянно бывать на сборищах университетского литературного объединения, которое вел старик Павел Григорьевич Антокольский. Мне даже доверяли встречать его у входа на факультет — смуглого, с живыми карими глазами, со щеточкой усов, в столь необычном для тех времен черном берете, с кожаной полевой сумкой через плечо и с отполированным посохом в руке...

— Хорошее время наступает, — восторженно вещал Павел Григорьевич, — многие неизвестные имена писателей и поэтов вам, молодые люди, в ближайшее время предстоит для себя открыть — Исаака Бабеля, Осипа Мандельштама, Бруно Ясенского, Марину Цветаеву... А из молодых читайте Александра Межирова и Семена Гудзенко!

А тут еще в общежитии у кого-то появился альманах «Литературная Москва», который стал переходить из рук в руки. Еще бы! «Рычаги» Александра Яшина, статьи Марка Щеглова, стихи Марины Цветаевой с предисловием самого Эренбурга.

Поэзия Цветаевой, конечно же, была для нас крупнейшим открытием тех лет. Со временем, правда, до меня дошло, что она представляла собой редкий тип русского поэта, миры которого видоизменялись в зависимости от страстей и убеждений, сменявших друг друга в ее экзальтированной натуре.

Ее стихи свидетельствуют, что она могла быть сегодня страстной юдофилкой, а завтра антисемиткой, во время гражданской войны вдруг ощутить себя «белой монархисткой», а через десять лет, восхитившись подвигом челюскинцев, переродиться в советскую патриотку. И любую новую роль Марина Цветаева играла самозабвенно и талантливо. Но я предполагаю, что Антокольский и Эренбург вспомнили в 1956 году в первую очередь о Цветаевой еще и потому, что знали одно ее до сих пор мало известное стихотворение 1916 года.

ЕВРЕЯМ

Израиль! Приближается второе
Владычество твое. За все гроши
Вы кровью заплатили нам: Герои!
Предатели! — Пророки! — Торгаши!

В любом из вас — хоть в том, что при огарке
Считает золотые в узелке,
Христос слышнее говорит, чем в Марке,
Матфее, Иоанне и Луке.

По всей земле — от края и до края —
Распятие и снятие с креста.
С последним из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребем Христа...

Чего в этом стихотворении больше — преклонения перед Ветхим Заветом или отвержения Завета Нового — трудно сказать... Во всяком случае, русские поклонники поэзии Марины Ивановны, особенно православные, должны знать его.

В 1956 году произошло еще одно неожиданное литературное событие. В одном из осенних номеров «Нового мира» была опубликована повесть никому не известного писателя Владимира Дудинцева «Не хлебом единым».

Это было как взрыв бомбы. Журнал зачитывали до дыр, передавали друг другу на ночь; общежития на Стромынке и

Ленгорах гудели, Дудинцев в две недели стал кумиром студенческой молодежи... Восторг еще более усилился, когда мы узнали о том, как триумфально прошло обсуждение романа в Доме литераторов. Помню, как мы с Калиничевым стояли у входа в ЦДЛ, куда с улицы Воровского валом валил народ с билетами, надеясь на чудо — а вдруг и мы проскочим как-нибудь в заветный дубовый зал. Не проскочили, но терпеливо слонялись по улице несколько часов, чтобы узнать у первых выходящих счастливчиков — кто и что сказал о романе. А говорили о нем, до небес вознося Дудинцева, такие гиганты художественной мысли, как Всеволод Иванов, Константин Паустовский, Валентин Овечкин, Владимир Тендряков... Особенной популярностью пользовалась речь Константина Паустовского. Ее размножали, передавали из рук в руки, восхищались смелостью популярного прозаика. Я нашел сейчас в своем архиве, перечитал эти два пожелтевших от времени листочка и был поражен, как мы в то время верили любому демократическому краснобайству! Впрочем, мне только сейчас открылось, почему эта речь стала тогда манифестом московской интеллигенции. Паустовский вспоминал в ней, как летом 1956 года он был в туристическом круизе на теплоходе «Победа». Вокруг него якобы была тьма высокопоставленных бюрократов-Дроздовых, и одна фраза в речи стала ключевой, обеспечившей Паустовскому неожиданную славу и популярность:

> Эти циники и мракобесы, совершенно не стесняясь и не боясь ничего на той же «Победе», открыто вели погромные, антисемитские речи...

Но тогда я не обратил внимания на подобную мелочь, поскольку еврейский вопрос совершенно не волновал меня. Разве что однажды я столкнулся с ним во время крайне забавной сценки. Воспроизвожу эту запись из блокнота 1956 года:

> Еду в метро. Напротив меня сидит молодой офицер с женщиной — по внешнему виду еврейкой. Входит пожилой священник. Офицер встал, чтобы уступить ему место.

Женщина раздосадованно и громко выговаривает своему спутнику: «Тьфу! Попу место уступать!» И вдруг поп, обращаясь даже не к ней, а куда-то в пространство, спокойным голосом произносит:

— А меня с детства учили, что попов надо называть священниками, а жидов — евреями!

Гром венгерского восстания заглушил на время все остальные звуки политической жизни. Думаю, что до сих пор историки еще не написали объективную картину этого мятежа, поскольку, как свидетельствовали многие очевидцы, неизвестно, каких больше лозунгов и призывов было в Будапеште в конце октября 1956 года: антисоветских или антисемитских...

Венгерский еврей Матиаш Ракоши и его окружение стали главной ненавистной мишенью венгерского студенчества, в среде которого всегда жил дух национализма. А для меня буквально через несколько лет венгерские события обрели совершенно неожиданное продолжение. В начале 60-х годов я поехал из Москвы в Киргизию по литературным делам.

Мой друг Суюнбай Эралиев устроил мне путешествие к озеру Иссык-Куль. По дороге мы проезжали какой-то районный центр, кажется, Токмак. И я вдруг увидел среди пыльных и невзрачных домов поселка хороший особняк, окруженный высоким забором, за которым росла пышная растительность — деревья, кустарники, цветы...

— А кто же здесь живет в таком богатом и необычном доме? — спросил я у молодого чиновника, сопровождавшего нас. Тот помялся, помолчал и все-таки решился ответить:

— Ракоши, бывший генсек венгерской компартии. На его место пришел Янош Кадар, у которого при Ракоши в тюрьме ногти вырвали... Ну, после такого Ракоши в Москве держать было неудобно, вот его и поселили в наших краях...

А литературное объединение мое постепенно разрасталось, появился в нем Лева Шварц, тоже из реабилитированных, остроглазый, рыжий, веселый еврей, он у нас в редакции ремонт делал. Смотрю — в коридоре плавно машет кистью и поет: «Ты со сцены мне кинула сердце, как мячик»...

Спрашиваю, откуда он в Тайшете (как почувствовал, что стихи пишет). «Я, — говорит, — был еще в «Синей блузе», вот тогда комсомольцы были не то, что сегодня у вас...» Любил поговорить о том, что он хороший мастер и не позволяет себе плохо исполнять никакую работу. «Но у вас здесь никакого гешефта у меня не будет, потому что я уважаю редакцию». Вскоре он признался мне, что отсидел четырнадцать лет, как фальшивомонетчик...

— Однако и в той сфере я работал классно! — с гордостью сказал Шварц на прощанье...

«ПОЛУЖИДКИ И ПСЕВДОНИМЫ»

Как то раз в моей московской квартире раздался телефонный звонок: поэт Анатолий Передреев и его грозненский друг Володя Дробышев прибыли завоевывать Москву. Вечером мы встретились у Центрального телеграфа, откуда я повел своих друзей в ресторан ВТО — надо же было показать «провинциалам» столицу! Именно там, когда ресторан уже закрывался и нас начали потихоньку выгонять из него, до нас дошло, что за соседним столиком сидит Михаил Светлов. Мы были молодыми и бесцеремонными поэтами и тут же перетащили мэтра к себе. Да он и не возражал, поскольку хотелось еще выпить, а было не на что. Передреев же с Дробышевым приехали из Сибири с деньгами...

— Босяки, — сказал нам Михаил Аркадьевич, — здесь нас не уважают, пойдемте-ка в «Националь»...

Мы шли по неоновой, сумеречной, летней Москве, бережно поддерживая с обеих сторон сухонького Михаила Аркадьевича.

— Да вы, ребята, гуманисты, — растроганно бормотал автор «Гренады». — Вы настоящие поэты, не то, что те двое негодяев, которые недавно пришли ко мне домой и сразу начали антисемитские разговоры. Моему сыну боксеру пришлось спустить их с лестницы...

А мы тогда еще и знать не знали, что такое антисемитизм...

Я уже работал к тому времени в журнале «Знамя», Дробышев начал сдавать экзамены на истфак МГУ, Передреев в

Литературный институт, и мы встречались друг с другом чуть ли не каждый день.

Наша журнальная комната, где кроме меня сидели два сотрудника отдела критики — Самуил Дмитриев и Лев Аннинский, была настоящим литературным клубом. Здесь засиживались за чаем, а то за кое-чем покрепче — Владимир Соколов, Игорь Шкляревский, Юз Алешковский, Вадим Кожинов, Дмитрий Стариков, Василий Белов, Николай Рубцов. Иногда, спускаясь со второго — начальственного — этажа, к нам заглядывали ветераны советской литературы, остроумцы, краснобаи 20—30-х годов. Шкловский открывал рот и мог часами, как заведенный, вспоминать о Маяковском, о том, как по его, Шкловского, приказу в моторы броневиков, должных защищать Временное правительство, подсыпали песку, и это в немалой степени способствовало победе советской власти...

Виктор Ардов — седовласый красивый старик, заходил в нашу комнату, оглядывал свысока Мулю Дмитриева, Леву Аннинского, меня и, остановив взор на мне — незнакомом ему сотруднике журнала, однажды грозно вопросил: «А вы, милейший, не полужидок?» Ошарашенный этим вопросом, я простодушно ответил Ардову: «Ну что вы, я русский и по отцу и по матери!» Но Ардов продолжал смотреть на меня с подозрением: как это сотрудник без примеси еврейской крови может работать в таком престижном журнале?! Вот отделом критики заведует «полужидок» Самуил Александрович Дмитриев, сын известной всей Москве Цили Дмитриевой, его помощник Лева Аннинский тоже полукровка, через коридор в отделе публицистики сидят Александр Кривицкий, Миша Рощин (Гимельман) и Нина Каданер — это все наши! Секретарь редакции — Фаня Левина, зам. гл. редактора Людмила Ивановна Скорино вроде бы украинка, но муж у нее Виктор Моисеевич Важдаев... О самом Кожевникове говорить не будем, он из Сибири. А первый его заместитель Сучков Борис Леонтьевич, русский, но отсидевший восемь лет в одиночке, он тише воды и ниже травы... А в прозе София Разумовская, а ее муж Даниил Данин — и вдруг какой-то чисто русский!

Вот что было написано на челе Виктора Ардова, как бы проверявшего — а кто нынче работает в журнале «Знамя»? Кстати, туда я попал в известной степени случайно. По возвращении из Сибири я несколько месяцев подвизался в журнале «Смена», которым руководил будущий знаменитый главный редактор «Молодой гвардии» Анатолий Васильевич Никонов... Его жена, писательница-фронтовичка Ольга Кожухова, заведовала отделом поэзии журнала «Знамя». Когда она надумала летом 1960 года уходить оттуда, то Никонов посоветовал ей рекомендовать на эту должность меня, так как я жил стихами и очеркистом в журнале «Смена» был никудышным...

А в грозном вопросе Виктора Ардова «Вы не полужидок»? — естественно, никакого антисемитизма не было, наоборот, видимо, ощущая себя человеком чистой крови и высшей расы, он с удовольствием демонстрировал свою дарованную свыше левитскую власть всяческим «получистым» — Муле Дмитриеву, Льву Аннинскому и прочим «сухим» и «полусухим» ветвям еврейского родословного древа... Но со мной, от свойственных такого склада людям пошлой гордыни и высокомерия, у него произошла ошибочка...

Почти все советские классики еврейского происхождения, русскоязычные ассимилянты, ровесники века, с которыми мне приходилось встречаться в 60-е годы, — были людьми крайне тщеславными, напыщенными, глубоко уверенными в том, что уж они навсегда вошли в пантеон русской литературы. Виктор Шкловский, Самуил Маршак, Илья Сельвинский, Семен Кирсанов, Виктор Ардов, Александр Безыменский, Вера Инбер, Илья Эренбург, Маргарита Алигер...

Впрочем, их можно было понять. Они чувствовали себя вне конкуренции (говоря сегодняшним языком), может быть, потому, что их русские ровесники Сергей Есенин, Сергей Клычков, Петр Орешин, Алексей Ганин, Николай Клюев, Иван Приблудный покоились в могилах, куда их уложили соплеменники одесситов Агранов с Ягодой. Русский конкурент Шкловского Бахтин влачил свои дни в безвестности при Саранском пединституте. Другие же выжившие русские поэты —

Николай Заболоцкий, Ярослав Смеляков, Сергей Марков, Леонид Мартынов, Борис Ручьев — в отличие от «ассимилянтов» хлебнули каждый свою долю лагерной и ссыльной баланды и были запуганы на всю оставшуюся жизнь, так же, как Твардовский и Ахматова, бывшие заложниками своих репрессированных родных и близких... Ну как было на этом трагическом, ущербном для русской поэзии фоне не разыгрывать из себя классиков Кирсанову, Багрицкому, Шкловскому, Сельвинскому, Безыменскому с их звучными псевдонимами? Поразительно глубоко и точно сказал о сущности псевдонимов русский религиозный философ Сергий Булгаков: «Переменить имя в действительности так же невозможно, как переменить свой пол, свою расу, возраст, происхождение и пр. Псевдоним есть воровство, как присвоение не своего имени, гримаса, ложь, обман и самообман. Последнее мы имеем в наиболее грубой форме в национальных переодеваниях посредством имени... Здесь есть двойное преступление: поругание матери — своего родного имени и давшего его народа, и желание обмануть других, если только не себя, присвоением чужого имени. Последствием псевдонимности для его носителя является все-таки дву- или многоименность: истинное имя неистребимо, оно сохраняет потаенную свою силу и бытие, обладатель его знает про себя, в глубине души, что есть его истинное, не ворованное имя, но в то же время он делает себя актером своего псевдонима, который ведет вампирическое существование, употребляя для себя жизненные соки другого имени. Не может быть здорового развития для псевдонима, ни истинного величия и глубины при такой расхлябанности духовного его существа, денационализации, ворованности».

Кстати, эпоха псевдонимов в русской литературе — это XX век. В XIX веке ни одному крупному русскому писателю и в голову не приходило заменить свою простую русскую фамилию на какой-нибудь роскошный псевдоним...

Все «псевдонимы» ходили с гордо задранными подбородками, брезгливо-презрительным выражением на лице, чему способствовало строение рта: нижняя губа неестественно

отвисает вперед и вниз (посмотрите, к примеру, на Бенедикта Сарнова, или Евгения Бродского или на любой портрет великого Михоэлса); все они любили поучать и воспитывать нас, молодых русских поэтов, ничего тогда не подозревавших о том, почему и зачем наши наставники ведут с нами назидательные разговоры.

Когда у меня в 1960 году вышла в Калуге первая книжечка стихотворений «Землепроходцы», руководитель литературного объединения «Магистраль» Григорий Левин, друживший с Ильей Сельвинским, из каких-то своих соображений попросил меня, чтобы я подписал ее мэтру... Он же и передал мой опус Сельвинскому.

Вскоре я встретился с «классиком» в Переделкине. Не то чтобы он был моим кумиром, но все-таки имя, авторитет... Лестно было, что он, прочитав мои первые незрелые стихи, написал письмо и пригласил к себе на дачу. Я поднялся к нему по деревянной лестнице на второй этаж. Мэтр спрашивать почти ни о чем не спрашивал, больше говорил сам, как будто хотелось ему выложить молодому поэту все о времени, о поэзии, что не удалось сказать в книгах. Запись этой беседы сохранилась у меня в блокноте...

А разговор, как всегда, шел о главном: что останется в поэзии, что отомрет, развеется, забудется. Естественно, что говорил он, а я жадно слушал. Вот, к примеру, несколько записей из монолога маститого поэта: «Исаковский пишет: «впереди страна Болгария, позади река Дунай». Чтобы не спутали, о чем он пишет, ставит слова «страна» и «река». Это ориентация на самых отсталых из читательской массы! А «Василий Теркин» — вещь откровенно несовременная! Русофильская! Характер времен первой империалистической войны... Козьма Крючков!..»

А я сидел, слушал, открыв рот, и думал: как интересно, как смело мыслит! А может быть, в чем-то и прав! Не может быть, чтобы совсем был не прав... Ведь все-таки один из живых классиков! Как это у Багрицкого сказано: «...на багровый Запад рвутся по стерням: Тихонов, Сельвинский, Пастернак...» Кстати, почему Багрицкий сказал «по стерням», ведь это слово

не имеет множественного числа, надо бы «по стерне»?.. Впрочем, чего я придираюсь? Конечно, Багрицкий знал, как надо писать слово «стерня», но решил написать по-своему... В поэзии надо быть смелым, как Сельвинский, как Багрицкий...

Потом седой грузный мэтр начал разговор о Кирсанове, о его новаторстве, смелости, мастерстве, виртуозности, которых не хватает Твардовскому и Исаковскому... Помню, что сравнивал Кирсанова с наездником-джигитом высочайшего класса и прочил ему поэтическое бессмертие...

— А что вы сейчас пишете? — робко спросил я в конце разговора.

Мастер приосанился:

— Я сейчас работаю над циклом стихотворных трагедий о времени. Но трудно пишется, а печатать будет еще труднее. В этих трагедиях будут действовать Ленин, Троцкий, Эйнштейн... Едва ли мои трагедии будут поняты сегодня... Это — работа для будущего...

Все мы думаем, что наша работа для будущего, а будущее приходит гораздо быстрее, чем мы предполагаем. Время неуклонно делает свою таинственную работу, и посмертные судьбы поэтов да будут нам уроком. Вроде бы одним временем и в одном времени жили, дышали и творили Ахматова, Сельвинский, Твардовский, Кирсанов, Смеляков, Безыменский, Заболоцкий, Уткин. Каждый из них был по-своему популярен, каждому критики предвещали славное будущее. Но не все предсказания оправдались. Смотришь сейчас — и как будто бы незаметно для глаза их посмертное значение пошло по разным железнодорожным веткам, постепенно удаляющимся друг от друга, словно бы стрелки кто-то перевел, а кто и когда — не зафиксируешь и точно не скажешь. Так что рискованное дело — прогнозы и предположения делать, да еще на несколько десятилетий вперед. Тут надо больше доверять истории, времени, а не своим злободневным страстям, не своему критическому темпераменту. Ведь недаром Александр Блок как-то сказал суровые слова о любителях поспешных

пророчеств: «Есть немало критиков, которые придают огромное значение тому, что не доживет до завтрашнего дня».

С комплексом еврейского высокомерия в характере Сельвинского я столкнулся еще раз, когда, пользуясь своим знакомством с мэтром, послал ему письмо, в котором приглашал его напечататься в «Знамени» и выражал свою готовность приехать к нему за стихами в Переделкино.

В ответном письме неожиданно для меня Сельвинский излил совершенно неизвестному тогда молодому поэту все свои обиды на Союз писателей, на литературную судьбу, на редакторов журналов... Каждая буква этого, как я сейчас вижу, жалкого и глуповатого письма кричала о том, что не ценят великого соратника Багрицкого, современника Маяковского, соперника Твардовского.

Переделкино 8.1Х.60

Милый тов. Куняев!

Меня можно навестить в любой час любого дня, но боюсь, что наша беседа не даст Вам того, на что Вы рассчитываете, т. к. я очень быстро утомляюсь, и мои родичи не дадут нам с Вами долго разговаривать (Сельвинскому тогда было всего 60 лет. — *Ст. К.*). Лично я буду Вам рад, т. к. я всегда любил молодость.

Что касается Вашего любезного приглашения печататься в «Знамени», то из этого ничего не выйдет, даже если Вы делаете мне это приглашение, согласовав его с главным редактором. Дело в том, что Ваша редакция очень хорошо ко мне относится, но так же дружно меня не печатает. Посудите сами: дал я Кожевникову трагедию «От Полтавы до Гангута» — ему она понравилась, но он ее не напечатал. Дал ему затем трагедию «Большой Кирилл» — не напечатал, дал роман в стихах «Арктика» — не напечатал. Поэмку об атомной бомбе не напечатал. Наконец, драматическую поэму о Ленине, которую он принял с восторгом (у меня есть свидетели) и, как обычно, не напечатал. Но, может быть, эти вещи недостойны печати? Дальнейшая их судьба показала, что совсем напротив: «От Полтавы до Гангута» напечатала «Звезда», затем пьеса была издана издательством «Искусство», издательством «Советский писатель», наконец, Гослитиздатом и вдобавок поставлена Воро-

нежским театром. По этой вещи я располагаю прекрасной прессой. То же нужно сказать о «Большом Кирилле»: напечатан в трех издательствах, поставлен театром им. Вахтангова, получил первую премию на фестивале в честь Октябрьской революции, переведен немецким поэтом Кубой на немецкий язык и ставится, как народное представление, под открытым небам в Германии. Роман «Арктика» издан «СП» и сейчас вышел в двухтомнике Гослитиздата...

Кстати: драматическая поэма о Ленине, которую я дал на отзыв в ЦК КПСС, получила высокую оценку как в политическом, так и в эстетическом отношении. Ее судьба еще впереди. Вы представляете, что если я с этими материалами выступлю с трибуны съезда или даже пленума? Это не принесет лавров Вашей редакции. Вспомнят при этом, пожалуй, мысль Хрущева о редакторах, которые считают себя умными потому, что ничего не печатают. Конечно, если б я принес Вам стандартные стихи, вам всем они бы не понравились, но из уважения к моим сединам вы бы их напечатали. Но я ненавижу стандарт и ничего в этом роде предложить Вам не могу.

Таково положение вещей.

Сердечно вас приветствую

Ваш *Илья Сельвинский.*

Это письмо, в котором Кожевников выглядит хитрым, демагогом и циником, а Сельвинский искренним, самоуверенным, не умным человеком, который уже не понимает, в какую эпоху он живет, я публикую еще и потому, что оно весьма точно характеризует нравы литературной жизни хрущевского смутного времени...

ВЛАСТЬ БРИКОВСКОГО САЛОНА

Великий русский философ нашей эпохи Алексей Федорович Лосев, сам, как и Смеляков, познавший в 30-е годы вкус лагерной баланды, размышляя о том, что такое в философском смысле понятие «жертва», писал в одной из своих работ на исходе 1941 года:

> Я многие годы провел в заточении, гонении, удушении: и я, быть может, так и умру, никем не признанный и никому не нужный. Это жертва. Вся жизнь, всякая жизнь, жизнь с начала до конца, от первого до последнего вздоха, на каждом шагу и в каждое мгновение, жизнь с ее радостями и горем, с ее счастьем и с ее катастрофами, есть жертва, жертва и жертва. Наша философия должна быть философией Родины и жертвы, а не какой-то там отвлеченной, головной и никому не нужной «теорией познания» или «учением о бытии или материи».
>
> В самом понятии и названии «жертва» слышится нечто возвышенное и волнующее, нечто облагораживающее и героическое. Это потому, что рождает нас не просто «бытие», не просто «материя», не просто «действительность» и «жизнь» — все это нечеловечно, надчеловечно, безлично и отвлеченно, — а рождает нас Родина, та мать и та семья, которые уже сами по себе достойны быть, достойны существования, которые уже сами по себе есть нечто великое и светлое, нечто святое и чистое. Веления этой Матери Родины непререкаемы. Жертвы для этой Матери Родины неотвратимы. Бессмысленна жертва какой-то безличной и слепой стихии рода. Но это и не есть жертва. Это просто бессмыслица, ненужная и бестолковая суматоха рождений и смертей, скука и суета вселенской, но в то же время бессмысленной животной утробы. Жертва же в честь и во славу

Матери Родины сладка и духовна. Жертва эта и есть то самое, что единственное только и осмысливает жизнь.

Окружение Смелякова 50—60-х годов не зря относилось к нему и с подобострастием и с тщательно скрытым недоверием. Он тоже понимал, с кем имеет дело, знал сплоченную силу этих людей, помнил о том, как был повязан их путами в атмосфере чекистско-еврейского бриковского салона его кумир Маяковский, помнил, что духовные отцы тех, кто сейчас крутится возле него, затравили Павла Васильева за так называемый антисемитизм и русский шовинизм, до поры до времени молчал или был осторожен в разговорах на эту тему, но, как честный летописец эпохи, не мог не написать двух необходимых для него стихотворений, которые в полном виде были опубликованы лишь после его смерти.

ЖИДОВКА

Прокламация и забастовка.
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.

Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая не мать, не жена —
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она...

В 1987 году демократы из «Нового мира» впервые опубликовали это стихотворение. Но они, всю жизнь, со времен Твардовского, воевавшие против цензуры, не смогли «проглотить» название и первую строфу: стихотворение назвали «Курсистка», и первую строфу чья-то трусливая рука переделала таким образом:

Казематы жандармского сыска,
Пересылки огромной страны.

В девятнадцатом стала курсистка
Комиссаркой гражданской войны.

Конечно, понять новомировских «курсисток» можно... «Ну хотя бы поэт «еврейкой» назвал свою героиню. Ведь написал же он дружеские стихи Антокольскому: «Здравствуй, Павел Григорьевич, древнерусский еврей!» А тут — «жидовка», невыносимо, недопустимо, в таком виде печатать нельзя!»

Брызжет кляксы чекистская ручка,
Светит месяц в морозном окне,
И молчит огнестрельная штучка
На оттянутом сбоку ремне.

Неопрятна, как истинный гений,
И бледна, как пророк взаперти.
Никому никаких снисхождении
Никогда у нее не найти

Все мы стоим того, что мы стоим,
Будет сделан по-скорому суд,
И тебя самое под конвоем
По советской земле повезут...

После смерти Смелякова это одно из лучших его стихотворений по воле составителей и издателей не вошло даже в самую полную его книгу — однотомник, изданный в 1979 году «Большой библиотекой поэта». Настолько оно было страшным своей исторической правдой так называемым «детям XX съезда партии». Впрочем, как и стихотворение о смерти Маяковского — о еврейских дамочках полусвета, о «лилях» и «осях», о «брехобриках», о «проститутках с осиным станом», которые, «по ночам собираясь, пили золотистую кровь поэта». Какой шабаш поднялся после его публикации! Как же! Смеляков замахнулся на святая святых — на нашу касту! Симонов бегал в ЦК и требовал наказания виновных, утверждал, что стихи написаны Ярославом Смеляковым в невменяемом состоянии,

что автор сам был против их публикации, что они были опубликованы помимо его воли. Борис Слуцкий звонил вдове поэта Татьяне Стрешневсй и угрожал, что она не получит больше ни строчки переводов, что все «порядочные люди отшатнутся от нее», что копейки больше нигде не заработает... Хорошо еще, что у Вадима Кузнецова, опубликовавшего стихотворенье в альманахе «Поэзия», сохранилась верстка стихотворения, завизированная Смеляковым. А сам поэт к тому времени был уже недоступен для гнева ничего не забывших и ничему не научившихся поклонников бриковского салона — он уже спал вечным сном под каменной плитой Новодевичьего кладбища.

О драматичной истории этого стихотворения так вспоминал в одной из книг Николай Старшинов: «После выхода в альманахе «Поэзия» стихотворение не было ни разу опубликовано ни в одном издании. А с самим этим номером альманаха произошла непонятная история. Он мгновенно исчез с полок книжных магазинов. Поэт и прозаик Виталий Коржиков рассказал мне даже такое:

— Подошел я несколько дней назад к книжному магазину, который находится поблизости от моего дома. Смотрю: подъехала к нему легковая машина. Из нее вышли несколько молодых людей. Они по-быстрому забежали в магазин, вынесли из него с десяток пачек каких-то книг. Я услышал их разговор: «Сейчас отъедем за город и сожжем...» Я зашел в магазин и поинтересовался у продавца: что за книги вынесли сейчас молодые ребята? А он мне: «Да это альманах «Поэзия»…

Вот какой властью еще в начале 70-х годов обладал бриковский клан в литературе и политике!

МИРОВАЯ АНТРЕПРИЗА

— А вы не боитесь, — сказал он, обращаясь при мне к Кожинову, — так открыто и резко писать о Вознесенском? Он же входит в мировую антрепризу.

И видя, что мы не совсем понимаем, о чем он говорит, Свиридов пояснил:

— Это давняя традиция дельцов от искусства — держать в своих руках организацию приглашений за рубеж, гастролей, рекламы, системы международных премий, гонораров, создания «звезд», подавления инакомыслия в творческой среде. Система эта создавалась в двадцатые — тридцатые годы, у нас мировая антреприза была представлена салоном Лили Брик с ее мужем Осипом, с окружением из художников, критиков, журналистов, импресарио... Этот салон был связан с салоном Эльзы Триоле и Луи Арагона в Париже, ведь Эльза Триоле — родная сестра Лили Брик, а девичья фамилия у обеих сестричек — Каган; через американского дельца Соломона Юрока наши представители мировой антрепризы устраивали гастроли угодных им людей в Америке... А после Лили Брик связи ее салона во многом унаследовала Майя Плисецкая, недаром же Вознесенский хвалу ей вознес в стихах...

О, вы не знаете! Возможности этих салонов, образующих сеть мировой антрепризы, могущественны, и те, кто это сознают и подчиняются ее законам, обречены на успех! Я, помню, спросил композитора Щедрина, когда узнал, что он женится на Плисецкой: «Родион, зачем тебе это нужно?» Он ответил мне: «Я сейчас известный композитор, а после женитьбы на Плисецкой стану композитором знаменитым...»

— А как вы относитесь, Георгий Васильевич. к Плисецкой-балерине?

Свиридов пожал плечами:

— Как к ней относиться? Техничка...

Через несколько лет, когда в комиссии Совмина по Российским государственным премиям обсуждался вопрос: присуждать ее или нет Станиславу Куняеву за книгу «Огонь, мерцающий в сосуде», самым яростным противником выступил Родион Щедрин, хотя было странно, что человек из музыкального мира столь решительно взял на себя смелость судить о книге критики и публицистики. Особенно раздражала Щедрина моя оценка творчества Владимира Высоцкого. Из чего я заключил, что фигура популярного барда тоже находилась под опекой мировой антрепризы.

А недавно хоронили Альфреда Шнитке. «Последнего великого композитора XX века», «гения», как говорили с телеэкрана Андрей Вознесенский, Юрий Любимов, Виктор Ерофеев — «люди близкого круга», как назвал их Юрий Кузнецов. О Свиридове никто из них и не вспомнил... А зачем? Свиридов, в отличие от Шнитке (о котором только и могли сказать, что он написал музыку к 60 (!) кинофильмам, да намекали, что последняя его симфония не зря называется «9-й» — почти бетховенская судьба!), не входил в круг «творян», охваченных мировой антрепризой.

«БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ — НЕКРАСИВО»

Только я закончил свои размышления о тщете славы земной и о наших тщеславных мечтах стать когда-нибудь знаменитыми, как вдруг попалась мне на глаза одна книга, словно бы нечистая сила подсунула мне ее под руку.

Полистал, посмеялся, и (такова уж судьба, видно) решил написать две-три странички на тему, честно говоря, давно уже опостылевшую мне...

Дорогой читатель! Если Вас попросят назвать нескольких знаменитых англичан — кого Вы назовете?

Ну, наверное, Шекспира, Ньютона, Байрона, Черчилля, может быть, Джона Леннона.

А кто попадет в Ваш список знаменитых французов? Бьюсь об заклад, что среди прочих там могут быть Робеспьер с Наполеоном, Бальзак, Эдит Пиаф, де Голль...

А знаменитые немцы? Ну конечно, многие вспомнят Гёте, Бисмарка, Марлен Дитрих, Гитлера, Вагнера...

Знаменитый человек — это не самый лучший, не самый честный, не святой, не идеальный, не самый красивый, не самый храбрый или богатый — это всего лишь навсего широко известный долгое время, известный миру, ну по крайней мере той части землян, которая читает, поглощает информацию, живет не только узко личной или семейной жизнью и не только жизнью своего племени и своего народа... Знаменитый человек в известном смысле один из всемирных символов своей нации, ее визитная карточка.

А теперь скажите мне, являются ли знаменитостями в этом смысле слова люди, носившие в прежние времена или носящие сегодня следующие фамилии: М. Анилевич, В. Ал-

лен, И. Башевич-Зингер, Берлин Ирвинг, Э. Визель, П. Гельман, Г. Грец, Н. Закс, Э. Канетти, Б. Кац, Л. Котляр, П. Эрлих, Х. Кребс, Р. Леви-Монтальчини, Х. Риковер, М. Мидлер, Х. Сенеш, И. Фисанович, Ш. Калманович, К. Функ, Р. Хофман? Прочитали?.. Как вы думаете, чем, когда и в какой области стали знаменитыми эти люди? Если Вы не сообразили, то поможем Вам подсказкой. В этом перечне есть физико-химик, моряк-подводник, биохимик, адмирал, героиня и герой антифашистского сопротивления, биолог, разведчик, физиолог и биофизик, режиссер, бактериолог, еще один биохимик, спортсмен, историк, летчица, композитор и аж целых четыре писателя, и все четверо лауреаты Нобелевской премии. Да, в сущности, полсписка — это все «нобели». Теперь, я думаю, когда Вам известны фамилии и профессии знаменитостей, уже не стоит никакого труда вычислить, кто есть кто. Если не получается, тогда как в телевизионной игре на деньги, которую проводит Дибров (кажется, она называется «О, счастливчик!»), я еще раз подсказываю Вам: Б. Кац — кто он? из четырех вариантов один правильный: экономист? биохимик? физиолог? психиатр? Угадаете — 100 рублей Ваши. Вопрос легкий, игра только начинается. Что? И даже сейчас не угадали?

Странно. А ведь все вышеназванные фамилии взяты из книги, изданной недавно в Москве издательством «Внешсигма», которая называется «Знаменитые евреи». Знаменитых евреев не знать! Это нехорошо.

Подзаголовок книги гласит: «165 мужчин и женщин. Краткие биографии. Издание второе, дополненное и исправленное».

Впрочем, я занимаюсь ерундой, предлагая вам поставить возле каждой фамилии профессию. Главное свойство знаменитых людей таково, что в добавлении к своим именам какой-то профессии они совершенно не нуждаются. Ведь недаром мы вспоминаем — Александр Пушкин, Кузьма Минин, Дмитрий Менделеев, Андрей Рублев, Юрий Гагарин, Георгий Жуков, Валерий Чкалов, Галина Уланова, и в голову нам не приходит уточнять, кто из них химик, кто поэт, кто космонавт, а кто балерина. Даже имен не нужно. Достаточно фамилий. Чем меньше нужно дополнительных пояснений, тем выше градус

знаменитости. Помните в этом смысле дерзкую эпитафию, придуманную Державиным для надгробной плиты своего знаменитого современника: «Здесь лежит Суворов». Ведь никому в голову не придет, что речь идет о каком-нибудь однофамильце полководца, или об авторе «Ледокола» и «Аквариума». Впрочем, буду справедлив: люди такого градуса знаменитости в справочнике есть — Е. Азеф, Ф. Каплан, М. Бегин, А. Дрейфус, К. Маркс, Г. Гейне, Джордж Сорос, М. Ротшильд, Л. Троцкий, А. Эйнштейн, никому разъяснять не надо, кто из них политик, кто террорист, кто поэт, кто банкир, кто революционер, кто финансовый аферист.

Однако над большей частью фамилий, попавших в книгу «Знаменитые евреи», приходится голову поломать.

Каюсь, и я тоже сплоховал. Позвонил своему другу, очень знающему человеку, я всегда его головой как справочным аппаратом или компьютером пользуюсь.

— Дима, — говорю, — не знаешь ли ты, что это за знаменитая поэтесса, лауреат Нобелевской премии Нелли Закс? Это не та ли, что к тебе в 70-е годы на литобъединение ходила? Нет? Ну вот, а я-то думал, что ты все знаешь…

Будь моя воля, я бы все-таки сократил список сомнительных знаменитостей, перечисленных мною в начале, и заменил бы их на куда более известных людей, почему-то не попавших в почетный словарь. Ну чем Мордка Богров, убийца Столыпина, менее известен миру, чем Фанни Каплан? А уж Хаим Юровский, выпустивший первую пулю в императора в Ипатьевском доме, герой нескольких фильмов и пьес о революции, за что не удостоен чести быть среди знаменитых евреев? А ведь Хаим Юровский был фигурой много крупнее, нежели несчастная полуслепая Фанни, промахнувшаяся в Ленина! Уж он-то, подобно Мордехаю Богрову, не промахнулся. А разве еще один знаменитый террорист Яков Блюмкин, убийца графа Мирбаха, не достоин быть в компании с Фанни Каплан? Увы. Какой-то Блюм есть, а Блюмкина нет.

Иона Якир законно присутствует в книге с портретом, две страницы биографии, а ведь рядом с ним должен быть его соратник по ленинской гвардии Генрих Ягода вместе с другими знаменитостями времен Великой Октябрьской социали-

стической революции — с Григорием Зиновьевым, Яковом Свердловым, Лазарем Кагановичем. А их как будто бы и не было в истории XX века!

Родной брат Свердлова, усыновленный Горьким, Зиновий Пешков почему-то попал в сонм бессмертных, хотя был всего лишь навсего французским генералом. Но что такое французский генерал по сравнению с Яковом Свердловым, главой первого ВЦИКа Советской России, чьим именем были названы улицы и площади любого мало-мальски приличного города нашей страны! Понимаю, что некоторые читатели, в том числе и евреи, вздрогнут, услышав имена Свердлова, Кагановича и Ягоды, но ведь, по-моему, сам Бен-Гурион, первый президент Израиля, сказал знаменитые слова: «Позвольте еврейскому народу иметь своих негодяев» (цитирую по памяти). А чем Парвус незнаменитее какого-нибудь Шаботая Калмановича, о котором сказано, что родился он в 1947 году в Каунасе, уехал в Израиль, был там в 1987 году осужден на 9 лет как советский шпион, вернулся в 1993 году в Россию, построил в Москве Тишинский и Щелковский торговые центры, а также серию аптечных киосков. И все. Разве можно сравнить размах «бизнесмена и филантропа» Калмановича с размахом Парвуса, финансировавшего чуть ли не всю русскую революцию?

Калманович среди знаменитых евреев есть, а Парвуса нету. Несправедливо. Так же несправедливо, как и отсутствие в книге первого мэра Москвы советской эпохи Льва Борисовича Каменева. Подумать только, Владимир Ресин, всего лишь навсего один из многих заместителей Лужкова, есть, а Каменева— нет! Да покойный Гриша Горин один намного знаменитей нескольких вместе взятых драматургов, сценаристов и прочих «нобелей», чьих портреты украшают уникальную книгу. Искал я Григория на ее страницах и не нашел.

Проблема «знаменитостей» не так проста, как кажется. Так, например, создатель автомата Михаил Калашников, который вооружил весь мир, знаменит всемирно. Даже иные американские обыватели, которые слыхом не слыхивали о нобелевских лауреатах биохимике Функе или о писателе Визеле (оба жили и померли в Америке), знают слово «Калашников»... Сравниваю его славу с известностью другого выдающегося

изобретателя оружия Александра Нудельмана. Составитель сборника считает, что Нудельман знаменит. Но известен ли он Вам, читатель? Нет, не спорю, пользы нашей родине он принес немало, во время войны его пушки работали, как надо, а после пушек были ракетные комплексы и танковое вооружение. Но не знаменит, поскольку жил и помер засекреченным. Кстати, он был дважды Герой Соцтруда, лауреат Ленинской и пяти государственных, то бишь Сталинских премий. Столько государственных премий, сколько Нудельман, получил лишь кинорежиссер Михаил Ромм. Очень ценно, что в биографических справках есть информация о премиях, званиях и наградах советских евреев. А то ведь многое уже забывается. Ну кто, к примеру, помнит, что физик Лев Ландау, авиаконструктор Семен Лавочкин были не только Героями Социалистического Труда (Лавочкин дважды), но и четырежды лауреатами Ленинских и Сталинских премий. Их обогнал разве что Самуил Маршак, у которого этих премий было аж пять. Он их получал с 1942-го по 1951 год. Каждые два-три года. Трижды лауреатами были актриса Фаина Раневская, оперный певец Марк Рейзен, историк Евгений Тарле. А физик Юлий Харитон стал трижды Героем Социалистического Труда. Такие же звезды того же труда носили на лацканах и Аркадий Райкин, и Майя Плисецкая, и Исаак Дунаевский. И все это совершалось в основном в 30— 50-е годы, когда в стране якобы господствовал «государственный антисемитизм». Представьте себе, сколько у них было бы премий и наград, если бы они жили и творили в другую, «неантисемитскую» эпоху! Самосвала бы не хватило...

А все же порой, листая уникальный справочник и задумываясь над некоторыми именами, нет-нет да и вспомнишь крылатую фразу одного из нобелевских лауреатов: «Быть знаменитым некрасиво...», особенно, когда ты безнадежно не знаменит или знаменит, как Гусинский или Бабицкий, которые живут, по словам Наума Коржавина, «не отличая славы от позора».

«А Я — РУССКИЙ!»

1989—1991 годы были страшными по накалу русофобии, которая вспыхнула, как направленный взрыв, в слоях общества, названного Игорем Шафаревичем «малым народом». Каждый раз в эти дни с тягостным чувством я включал телевизор, спускался к почтовому ящику или шел в редакцию. Какое письмо я получу сегодня? Ну что еще намалевали на наших дверях и окнах ночью? Какую мерзость и какую клевету сегодня я услышу с голубого экрана из уст Александра Любимова или Александра Политковского, Татьяны Митковой или Владимира Молчанова?

А может быть, опять разбито стекло на вывеске «Наш современник»?

В эти дни, когда русская патриотическая мысль, чувство и воля были словно бы оглушены, растеряны, смяты объединенными русофобскими силами нашей «пятой колонны», оставалось только все запоминать, крепить личное мужество и терпеть до лучших времен.

Разбираешь, бывало, читательскую почту и наряду с ободряющими и душевными письмами вдруг прикасаешься к конверту, который источает токи, обжигающие пальцы, слепящие зрение, туманящие разум. Чтобы не быть голословным и чтобы нынешнее молодое поколение читателей не думало, что я все это сочиняю, приведу лишь несколько писем такого рода. Оригиналы я бережно сохраняю, на всякий случай, если наша юриспруденция вдруг обвинит меня в том, что я сам сочинил эти письма, чтобы разжечь очередную межнациональную рознь.

В союз писателей РСФСР
Московская писательская организация
Москва 121069 Герцена 53,
Куняеву

Слушай, ты Куняев[1], недавно в газете «Комсомольская правда» была статья о черносотенной неформальной организации «Память». К слову там был упомянут и недоброй памяти Кожинов — ярый черносотенец и погромщик. Так вот, за этой «Памятью» так и маячат тени В. Белова, Шуртакова, Проскурина, всей мерзко смердящей шайки лабазников, лавочников и погромщиков. Защищая Белова, вы Куняев, выдаете себя с головой все сволоч извращаете и пытаетесь завуалировать антисемитизм Белова высокими фразами. А на самом деле Белов не что иное как посредственный писаришка и его приверженность черносотенным взглядам ставит его в двусмысленное положение. Хорошую же вы услугу — черносотенцы делаете революционному процессу — разжигаете антисемитизм усугубляете нац. распри. Только благодаря таким как вы до сих пор в России существует негласная процентная норма и др. виды нац. дискриминации. И страна безнадежно отстала от западной цивилизации: Зарубите себе на своем носу Куняев что настоящие русские писатели-интеллигенты чурались антисемитизма, как дурной болезни а вы с Беловым, Кожиновым, Ю. Сергеевым — словом со всеми подонками тянете в сторону мракобесия и фашизма. И тот факт что Вас уже разоблачили в «Комс. правде» и «Известиях» это справедливое вам воздаяние за подлые делишки. И даже если Миша Бриш порождение злокозненной и непристойной фантазии Белова — какое дело Белову до этого. Белова в США уже не пустят. Черносотенцы в Царской России хотя и бились головой об стенку от ненависти к людям евр. нац., но даже они не додумались обвинять людей только за то, что хотят покинуть страну, где их притесняют. Бьемся об заклад что ваше вонючее кодло будет сдано на корм собакам Булгакова и графа Толстого и назло Вам космополиты будут хорошо жить, пить прекрасное вино на всех континентах и пахнуть французскими духами а ты жри прокисшие щи с тараканами.

(Без подписи.)

[1] Орфография и стиль письма, как в оригинале.— *Ст. К.*

Подлее всего были обвинения, бросаемые нам «Огоньком», «Литературкой», «Известиями», телевидением и массой других изданий и вещаний, в том, что русские писатели-«патриоты» взывают к «голосу крови», обвиняют в «антипатриотизме» писателей, в жилах которых течет «нерусская кровь», объявляют врагами всех, «у кого кровь смешанная и нечистая», утверждают, будто бы лишь «чистокровность» лежит в основе «русской идеи», словом, скатываются на расистские позиции. Вот цитаты из огоньковских статей тех лет:

> Идея чистоты крови не дает спать спокойно, взывает к действию...
>
> Обращение к биологическому голосу крови...
>
> О «рязанском десанте» и чистоте крови...

А «Московская правда» от 16.2.1990 года опубликовала не что-нибудь, а «обращение ученых бюро отделения мировой экономики и международных отношений АН СССР» о том, что якобы творилось на VI пленуме Союза писателей РСФСР:

> Дело дошло до того, что пленум Союза писателей РСФСР в 1989 году провозгласил теоретическую модель расовой чистоты нашей литературы.

Но надо сказать, что наиболее трезвые еврейские головы еще пытались в начале перестройки понять нас и даже поддерживали наши взгляды.

Свидетельство тому письмо журналиста Марка Виленского, который совершенно иначе воспринял мое выступление на рязанском секретариате 1988 года, нежели оголтелые борзописцы из «Огонька»:

> Уважаемый Станислав Юрьевич!
>
> Признаюсь, что я не без раздумий вывел слово «уважаемый». Скажу откровенно — до сегодняшнего дня Вы были одним из наиболее ненавидимых мною людей на земле. Причины — Высоцкий, могила «майора Петрова», Павел Коган с товарищами.

Но сегодня, изучая историю «рязанского десанта», я прочитал в «Лит. России» от 28 октября стенограмму и был изумлен и приятно поражен Вашими мудрыми и правильными словами по еврейскому вопросу.

Ни один из левых либерал-демократических интернационалистов, включая Гранина, Евтушенко, Вознесенского, не сказал этих необходимейших, облегчающих душу и проясняющих ситуацию слов. Вы же, человек из лагеря «заединщиков», подозреваемых (увы, не всегда без оснований) в черносотенстве, подтвердили, что человек еврейского происхождения может быть фактически русским. Проведенное Вами различие между Шагалом и Левитаном предельно убедительно. Тем самым вы нанесли удар по антисемитизму, за что вам глубочайшее спасибо. Я русский человек, еврей по паспорту, не знающий другого языка, кроме русского, думающий и видящий сны на русском языке, женатый на русской, пропитанный Чеховым, Пушкиным. Есениным. Если во мне и взыграет какой-либо национализм, то только русский, но я его старательно подавляю, оставаясь убежденным интернационалистом. Вы пишете, что когда кто-то «отрицает или не замечает еврейскую национальную стихию со всеми особенностями ее исторического развития, то тем самым ожесточает еврейское сознание». Правильно! Но сознание таких людей, как я, ожесточает, прежде всего, нежелание признать нас русскими. Перечитываю, глазам своим не веря, чудесные, золотые слова: «Евреи сами устали от такого двусмысленного состояния, и если мы, русские, протянем руку, они скажут «спасибо». «Спасибо» я Вам и говорю. После сказанного Вами в Рязани, я полагаю, что могу попросить Вас ознакомиться с моей выстраданной рукописью «Легко ли быть евреем, если ты — русский?»

Но агрессивный фланг еврейства не унимался. Жертвенной крови в этот смрадный костер подливал в своих публикациях мелкий писатель, но широко известный идеологический функционер Александр Борщаговский своими кощунствующими причитаниями: «обвиняется кровь, и ничто другое», «недоверие к крови, презрение к крови, ненависть к крови». Он сам хмелел от своих же заклинаний и становился похожим на своего соплеменника, персонажа из замечательного рассказа Исаака Бабеля Нафтулу Герчика, совершавшего в Одессе обряд обрезания плоти иудейским младенцам:

Отрезая то, что ему причиталось, он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклокоченной его бороде. Он выходил к гостям захмелевший... Жена вытирала салфетками кровь с его бороды...

Вот он, настоящий культ крови, который русскому человеку, озабоченному всю жизнь своей душой, никогда не понять. А все крики о пристальном внимании русских к «проблеме крови», может быть, есть не что иное, как фрейдистский комплекс, о котором хорошо сказано в русской пословице: «с больной головы на здоровую».

Все эти расистские бредни приписывались нам как аксиома, не требующая доказательств. Наши якобы подлинные заявления о том, «что настоящими русскими писателями могут быть только люди с чисто русской кровью», бесцеремонно придумывались и сочинялись досужими клеветниками. Никто из наших хулителей никогда и нигде не привел буквально ни одной такой цитаты из каких-либо наших статей, речей, выступлений, потому что никто из нас никогда не говорил и не писал подобных глупостей.

Но как бы то ни было, в итоге наивные и доверчивые читатели, науськанные огоньковскими и прочими провокаторами, среди которых особенно усердствовали две Ивановых — Татьяна и Наталья, Оскоцкий, Овруцкий, Дейч и прочие, страстно проклинали нас в письмах вот такого содержания:

Уважаемый т. Куняев! Выписываю «ЛГ» и «Огонек». Дважды столкнулась с Вашей фамилией — речь на пленуме СП и упоминание в статье Н. Ивановой. Этого достаточно (! — *Ст. К.*), чтобы понять, «кто есть кто». Между прочим, судя по Вашей фамилии, себя причислять к «чистопородным русским» Вы не можете. (Я никогда этого не делал! — *Ст. К.*) И о какой чистокровности нации можно говорить после почти 200-летнего татаро-монгольского ига, засилья поляков, евреев, немцев. Какие же вы все убогие и жалкие! Конец XX века, земля нафарширована атомным оружием — и рядом мышиная возня претендентов на чистокровность. Вот произведений Ваших и ваших коллег я что-

то не читала и даже не слышала о таких писателях. Если не хватает таланта, то хоть чем-нибудь прославиться? А из-за таких «чистокровных», как Вы, приходится терпеть в адрес русских (неужели русская пишет? вот горе-то! — *Ст. К.*) самые нелестные эпитеты: недавно пришлось слышать по телевизору высказывание иностранца: «Я думаю, что русские — и не люди вовсе».

Л. Пащенко,
г. Тирасполь, ул. К. Маркса, 133, кв. 34.

Письмо настолько демонстративное, что я специально привожу даже адрес корреспондентки: поверьте — она не выдумана мною. Одна только мысль, я помню, сверлила мою душу: письмо грамотное... Неужели эта женщина — русская?! Какое вырождение, какой позор, и наш общий и мой личный, что мы вольно или невольно вырастили таких грамотных денационализированных роботов!

Вот чем оборачивались для нас писания дейчей, ивановых и оскоцких. Они знали, что делают. Им надо было провести массированную психическую атаку на обывательские головы и выиграть время для обеспечения победы «пятой колонны». И они этого добились. По крайней мере, на сегодняшнем этапе истории.

Но как все грубо и несправедливо! Что мы не знали, что ли, что в жилах Пушкина есть капли африканской крови, что Достоевский и Некрасов чуть ли не полуполяки? Что Жуковский — сын турчанки, а фамилии Тургенев и Аксаков — тюркского корня? Что Гоголь малороссиянин? Что Александр Блок по отцовской линии из немцев?

Все это мы знали лучше наших хулителей, и потому те бредни, которые они нам приписывали, естественно, ни произносить, ни писать не могли. Тем более что глянешь на Валентина Распутина или Александра Вампилова — и видишь в разрезе их глаз и цвете лица нечто якутское, бурятское, гуранское. А Вячеслав Шугаев, объявленный по недоразумению в одно время русским антисемитом? Да он же чуть ли не подлинный татарин!

Мой друг Анатолий Передреев однажды на каком-то писательском съезде стоял рядом со мной у Кутафьей башни.

Мы увидели четверых живых классиков, шедших бок о бок вдоль Александровского сада и приближавшихся к нам. Это были Василий, Белов, Федор Абрамов, Владимир Личутин и Дмитрий Балашов. Маленькие — каждый метр с кепкой, — коротконогие, скуластые, с рыжеватыми бороденками (по крайней мере, трое из четверых)... Кто-то из них был в тулупе, кто-то в сапогах, кто-то в красной деревенской рубахе. Анатолии Передреев — стройный, высокий красавец, человек южнорусской породы, понимая, что выгодно отличается от них, лукаво толкнул меня в бок:

— И это великие русские писатели?! Да это же вепсы! — И захохотал, довольный своею шуткой.

Да если бы в этой нашей борьбе с борзописцами демократии речь шла всего лишь навсего об отдельной судьбе каждого из нас, о личном достоинстве и личной чести! Нет, сатанинский план был грандиозен: унизить, оскорбить, оклеветать всю русскую историю, всю родословную народа. Этот поистине крестовый (а скорее антихристовый) поход, как всегда, возглавляли «инженеры человеческих душ»: *Синявский («Россия-сука!»), Василий Гроссман («Россия — тысячелетняя раба»), Татьяна Щербина («Да, да, все русские, в скобках советские люди — шизофреники», «Может быть, все русские — сумасшедшие?»), «Россия должна быть уничтожена», «Русские дебильны в национальном отношении» (Ромуальдас Озолас)... «Русский народ — народ с искаженным национальным самосознанием» (Галина Старовойтова).*

Им вторили политики, академики, телеведущие, утверждая, что жаждущие крови русские вот-вот начнут еврейские погромы:

«Они назначили погромы на день Святого Георгия в начале мая» *(«Вашингтон пост», Виталий Гольданский).*

«Пятого мая должны произойти погромы» *(Владимир Молчанов — с экрана телевизора).*

«Звонят читатели: «Извините, погромы будут в Москве и Ленинграде или в Киеве тоже? Подскажите, куда вывезти се-

мью?». «Нельзя ли передать вам личный архив на сохранение?» Стыдно слышать эти робкие вопросы! Стыдно отвечать! И как утешить этих людей, если прокуроры, милиция, горкомы и райкомы... ждут «фактов». Безграмотно и безнравственно полагать, что преступление — это факт погрома. Между тем преступление уже свершилось: «призыв к погрому». *(Из передовой статьи «Литературной газеты» от 7.2.1990 года.)* Тираж ее тогда достигал пяти миллионов. Представляете, как заражала она страну трихинами страха, ненависти, истерии, сочиняя в своих недрах жалкие сценарии о каких-то звонках, не соображая даже того, что если такие звонки и были, то несчастные люди, звонившие в «Литгазету», обращались туда, как в некий штаб по организации погромов, как в некий информационный центр, где все обо всем должны знать, поскольку вся информация, все сценарии сочиняются в его недрах.

Бессовестные журналисты тех времен — Юрий Соломонов, Ирина Ришина, Юрий Рост, Нина Катерли — не удосуживались даже сочинить, не то что процитировать, поскольку таких цитат в природе нет: где и когда, какие русские писатели, какая «Память» призывала громить несчастных евреев. И никто, никто не привлек этих провокаторов к ответственности за «разжигание межнациональной розни»!

Метастазы клеветы, разливаясь по системам информационного кровообращения, проникали в провинцию, отравляя русофобским зловонием некогда консервативно-целомудренные страницы провинциальных газет. Моя родная калужская молодежная газета тоже не выдержала и забилась в антирусском эпилептическом припадке: *«Русский характер исторически выродился. Реанимировать его — значит вновь обрекать страну на отставание».* Словом, как лесной пожар, пламя «черного интернационала» бушевало и в столицах, и в провинции, и в главных, и во второстепенных, и даже в каких-то научных изданиях. Помню, выписал из какого-то журнала размышления лингвиста С. Болотова: *«Русский мат — едва ли не единственное творение русского духа...»*

Впечатление было таково, что весь тот ураган, то цунами, то восстание таившихся до времени темных сил было при помощи направленного взрыва обрушено на Россию.

Время уважительной полемики — вспомним письма Яна Вассермана! — прошло безвозвратно. Борьба пошла не на жизнь, а на смерть.

Вспоминаю, какую бурю чувств вызвало в моей душе, казалось бы, незначительное событие. В один из осенних дней 90-го года я шел к метро мимо забора из металлических прутьев, окружавшего наш «элитарный» литфондовский детский сад. У забора стоял мальчик лет пяти, крепко схватившийся ручонками за металлические прутья. Лицо его было серьезным и сосредоточенным. Сжимая прутья и чуть-чуть раскачиваясь, он бормотал что-то, и когда я приблизился к нему, то услышал нечто, от чего у меня дрожь прошла по спине. Мальчик медленно, чуть ли не по слогам с неподвижным лицом повторял одни и те же слова:

— А я — русский... А я — русский...

Входивший тогда в моду писатель Вячеслав Пьецух, словно выродившийся наследник маркиза де Кюстина, упрощал до идиотизма в «Литературной газете» все русофобские формулировки своего пращура в статье, названной в подражание маркизу «Открытие России»:

> Талдычат про великую Россию... И что, собственно, в ней великого: нашествие Наполеона одолели, однако не одержав ни одной победы; в Великую Отечественную войну немцы разгромили Красную Армию в две недели: за полтора тысячелетия мы так и не удосужились создать систему национального воспитания; патриотизм — обман зрения... опиум для народа; наши пословицы — ведь тоже чистый срам; Россия — страна, не приспособленная для человеческого жилья, как мертвая Антарктида.

И всю эту зловонную смесь ненависти, невежества и высокомерия приходилось слышать, читать, переживать, терпеть... Именно так, грубо и нагло готовилась августовская провокация 1991 года. Но все-таки, как внезапно и неожиданно для

себя проговаривались русофобы! И хотели бы промолчать, но очень уж не терпелось сказать самое главное, и вылезало оно из всех маскировочных оберток, как шило, которое в мешке не утаишь. Помню, в «Литературной газете» № 2 за 1992 год было опубликовано письмо некоего читателя И. Хорола, восхваляющее Горбачева:

> Прочитал очень интересное интервью А. Н. Яковлева. Конечно, автор прав. Горбачев — великая фигура. Он просто не мог учесть, а тем более изменить биологию своего народа.

Далее автор сравнивает Горбачева с Дж. Неру, Б. Расселом, А. Эйнштейном, А. Сахаровым и многими «другими великими людьми XX века».

Так вот в чем таилась голубая мечта русофобов: «изменить биологию своего народа». Какой грандиозный, какой фантастический, какой соблазнительный замысел! Ведь до сих пор это не удалось ни Троцкому, ни гитлеровским расистским столпам науки, ни нашим отечественным специалистам по евгенике... *«Изменить биологию народа»* под силу разве что Творцу, создавшему всех нас, черных, белых, желтых, с одной лишь ему ведомой целью...

Поистине богоборческую задачу поставила «Литературная газета» в этом письме перед Горбачевым и горько сожалела, что не смог он ее выполнить, силенок не хватило справиться с русским менталитетом, с нашим «извечным рабством», с нашей генетической тягой к авторитаризму... Какая уж тут демократия, если для нее, оказывается, надо *«изменить биологию народа»!*

Я не зря упомянул Троцкого и двадцатые годы. Именно тогда вершился план привить русскому человеку и «американскую деловитость», и стопроцентный атеизм, и беспощадность в классовой борьбе... Так что попытка *«изменить биологию»* уже была. Ради нее российская история чудовищно извращалась, следуя геббельсовской логике о том, что ложь, чтобы ей поверили, должна быть великой. Недавно вышла в

свет книга историка Г. Костырченко «В плену у Красного фараона». Автор отнюдь не патриот, как историк он скорее антисталинист, но в большинстве случаев с успехом удерживается на объективной точке исследования после тщательнейшего изучения президентского архива. Вот что пишет он о так называемой кампании по выселению советских евреев в Сибирь, якобы задуманной Сталиным:

> Л. А. Шатуновская — непосредственная участница описываемых событий... приводит распространенные тогда слухи, что в Сибири уже строились бараки, а также готовились товарные вагоны для ссыльных. Отсутствие фактов, подтверждающих эту версию, в комментарии компенсируется публицистическим пафосом, полунамеками, противоречивыми туманными рассуждениями.

Негласный информатор госбезопасности И. В. Нежный, известный театральный деятель тех лет, по словам Костырченко,

> ...в последующие годы вплоть до своей смерти в начале 70-х годов продолжал широко делиться своей версией о планах Сталина в отношении евреев в начале 1953 года. Может быть, поэтому предположение о готовившемся Сталиным переселении евреев в Сибирь переросло со временем для многих в реальное и вполне доказанное намерение.

Кстати, однофамилец (а может быть, и отпрыск?) «информатора» И. Нежного — А. Нежный, продолжая провокаторские традиции предшественника, в годы перестройки много сил потратил на доказательство якобы существующей связи высших иерархов церкви с КГБ.

Ни одного документа, ни одного решения, ни одного доказательства о якобы готовившемся и уже подготовленном (на уровне списков, имевшихся у дворников!) переселении всего советского еврейства в сибирские лагеря не найдено ни в одном архиве, и тем не менее историк А. Ваксберг в книге о Лиле Брик пишет в 1998 году:

> 13 января 1953 года «Правда» сообщила об аресте «врачей-убийц» и предстоящем суде над «заговорщиками в белых халатах». Это был предпоследний акт задуманной Сталиным кошмарной мистерии. Последним должно было стать линчевание «убийц» и депортация всех евреев в Сибирь, где им предстояло «искупить свою вину перед советским народом.

Легендарный советский чекист П. Судоплатов комментировал в своих мемуарах эту ситуацию так:

> Если подобный план действительно существовал, то ссылки на него можно было бы легко найти в архивах органов госбезопасности... Я считаю, что речь идет только о слухе...

Но вот как кликушествовал в 1990 году о той же исторической ситуации известный советский писатель Александр Евсеевич Рекемчук:

> Увы, документами, свидетельствами подтверждено (?! — *Ст. К.*), что 8 марта 1953 года должна была состояться публичная, при стечении десятков тысяч людей, казнь так называемых «врачей-убийц», в основном еврейской национальности. Вслед за этим планировалась высылка евреев из Москвы, Ленинграда, других центров России в концентрационные лагеря на Дальний Восток. Лагеря были подготовлены, виселицы делались, судилище в московском цирке подготовлено, роли распределены
> *(«Красноярский комсомолец», 23.6.1990 г.)*

Скольких людей он запугал, сколько душ заставил испытать страх погрома, сколько евреев после прочтения того бреда побежали в иностранные посольства, сколько языков пламени, названного ныне «национальной рознью», вспыхнуло в обывательских душах! И ничего, прошли годы, старый благостный Рекемчук ходит по Москве, издает книги, радуется успехам демократии. В той же статье, кстати, я был назван «идеологом фашистского движения», подписавшим «фашист-

ское письмо 74 русских писателей». А ведь за десять лет до того мы работали с ним вместе секретарями Московской писательской организации, заседали, обедали, иногда выпивали, он клеймил в печати «власовца Солженицына», а иногда, во время приема в Союз писателей новых членов на наших секретариатах, склонялся ко мне и шептал на ухо: «Сегодня мы что-то много евреев принимаем. Давай вот этих зарежем, проголосуй против, а то слишком заметно будет». Но я если и голосовал против, то лишь тогда, когда видел, что человек бесталанен, и незачем ему числиться в справочнике Союза писателей....

Вот кого надо было бы судить за распространение лживых слухов и разжигание межнациональной розни — Ваксберга, Рекемчука, Нежного. Один из них только попался — некто Норинский, который от имени «Памяти» послал в «Знамя» надменное письмо, в котором была угроза расправы с главным редактором Баклановым. Тот с возмущением опубликовал факсимильный текст, но еврейский провокатор Норинский вскоре был пойман с подобными письмами и получил год тюрьмы условно.

Провокационного вранья в те годы было столько, что не было возможности осмыслить, ответить и опровергнуть его.

Помню, как Марк Дейч, опричник и цепной пес демократии, борясь с патриотической прессой, с пеной у рта доказывал на страницах «Огонька», что никакого декрета «О борьбе с антисемитизмом» в 1918 году не было: «Декрет опять же выдуман», кричал он на всю страну, попирая и журналистскую этику, и факты, и историю. Ибо, как вспоминает А. Луначарский в книге «Об антисемитизме» (М.—Л., 1929 г.): «когда тот декрет был написан Я. М. Свердловым и принесен Ленину, Ленин его прочел и красными чернилами своей собственной рукой на этом документе приписал: «Совнарком предписывает всем совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона».

Опытный политик Иосиф Сталин был такого же мнения и на запрос Еврейского телеграфного агентства из Америки 12 января 1931 года ответил: «В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью» (Собр. соч. Т. 13. С. 28).

А теперь я немного поиронизирую: вот кто были настоящие борцы с антисемитизмом — Ленин, Сталин, Свердлов! Не то что Кобзон или Сванидзе. Поскольку в ближайшие десятилетия никакого православного государства (когда кругом заказные убийства и работорговля) мы не построим, то надо бы использовать опыт великих вождей. По всей Москве вместо глупых реклам о колготках, «прочных, как истинные чувства», надо развесить их изречения: «Антисемитам — смертная казнь!..» А мы что делаем? Сталина поносим, Ленина жаждем из Мавзолея выбросить, памятник Свердлову снесли... Ну как тут антисемитизму не поднять голову! Вот Господь нас и наказал появлением Баркашова и Макашова. Немедля надо Новодворской с Боровым постричься и покаяться и цветы к Мавзолею и к могиле Сталина принести. А демократическим властям своим указом восстановить памятник Свердлову во всей красе и величии...

Да, слово «жид» можно поставить вне закона. Давайте окончательно легализуем мат и порнографию, но слово «жид» страшнее любого матерного слова, выжжем каленым железом! Для этого парламенту относительно этого слова надо принять соответствующий закон (такого закона нет). Нам придется изъять из всех общественных библиотек все книги, в коих это слово присутствует: «Повесть временных лет» легендарного Нестора, древнерусские былины об Абраме-Жидовине, изданные недавно тома Даля с толкованием запрещенного слова, многие книги Пушкина, Достоевского, Гоголя, Некрасова, Блока, Есенина... Книги эти должно публично сжечь на площадях (дабы макашовым неповадно было!), как сжигались во времена Третьего рейха книги Гейне, Гете,

Шиллера, Томаса Манна на площадях в Германии. Нам придется переименовать историческое понятие «ересь жидовствующих» в «ересь еврействующих», всемирно известного писателя Андре Жида в Андре Еврея, а легендарный персонаж библейской истории Вечный Жид также отныне в России должен называться Вечным Евреем.

Кстати, в 20-е годы советской власти многие книги Пушкина, Блока, Есенина, а также словарь Даля выходили именно с такими купюрами.

С незапамятных времен народы, борясь друг с другом за место под солнцем, насытили свои верования, свою литературу, свой язык множеством сюжетов, заповедей, мыслей, афоризмов, которые с точки зрения современной убогой юридической мысли всегда в той или иной степени «разжигают национальную рознь».

Книги Ветхого завета полны оскорбительных выпадов против народов, чьи потомки живут и здравствуют и поныне.

Русские былины, песни и пословицы полны сюжетов, которые, при желании, любой нынешний ничтожный юрист может трактовать как антисемитские и антитатарские. «Незваный гость — хуже татарина»«, «А нехристь, староста-татарин»... Стихи и поэмы великого Шевченко полны чувств и мыслей, уязвляющих национальное достоинство «русских», «москалей», «великороссов». Я уж не говорю о всякого рода эпитетах из сочинений наших гениев: «бежали робкие грузины», «злой чечен ползет на берег», «ко мне постучался презренный еврей»...

Объявить все это вне закона можно, как и начать историю всего человечества с чистого листа, но это не под силу ни нынешнему министру юстиции, ни главе президентской администраций, ни самым умным законодателям, ни Совету безопасности ООН, ни даже НАТО. Отмена всей человеческой истории может случиться лишь после Второго Пришествия... Так что придется нам еще подождать какое-то время.

Однако вернусь к 1989—1990 годам... Пресса и ТВ все мощнее, все примитивнее и грубее натравливали на Василия

Белова, Игоря Шафаревича, Вадима Кожинова, Валентина Распутина, да и на всех нас — а нас было не так уж много!— беснующуюся русофобскую чернь. Науськанные мелкими журналистами вроде какой-нибудь Лосото или Кучкиной, их клевреты однажды ночью подобрались к нашей редакции, разбили вывеску, намалевали на стеклах окон масляной красной шестиугольные звезды, написали на дверях всяческие оскорбления: *«Белов — мертвец», «Россия — родина свиней», «Все вы с голоду подохнете»*... Что нам было делать? Разве что вызвать корреспондента газеты «На боевом посту», чтобы он сфотографировал все эти художества для истории и опубликовал их.

Но в ответ получаем очередное послание, мишенью которого стал другой наш член редколлегии, Игорь Шафаревич:

> Русская свинья шафаревич, тебя презирают, ненавидят и гонят, как проказу все республики. Только трусливый русский ублюдок может не замечать этого. Ублюдок шафаревич, евреи торчат тебе костью в горле по той причине, что примитив — злейший враг разума, а также потому, что все русские свиньи смелы десять на одного. Ублюдок шафаревич, только врожденная русская тупость могла довести страну до ее нынешнего состояния. И только врожденная русская подлость позволяет винить во всем евреев. Ублюдок шафаревич, то, что русские нация рабов — аксиома и не цепляйся к Гроссману, не шипи, русская свинья.
>
> Впрочем словосочетание «русская свинья» по отношению к такому ублюдку, как ты, оскорбительно для свиньи. Нет в природе твари, сопоставимой по зловонию, подлости, трусости с ублюдком русской национальности. Ты можешь биться в конвульсиях, мир лишний раз убедится в правоте Гроссмана, профессора из Эстонии Маду и многих других.
>
> (Аноним. Стиль и орфография сохранены.)

Да, подумал я, прочитав ту прокламацию, эпоха дискуссий, время Эйдельманов и Вассерманов прошло. Жанр «переписки из двух углов» вырождался на глазах.

В эти же дни я получил письмо неанонимное и с обратным адресом: г. Москва, М. Ботаническая, дом 12, кв. 6. Левиной Р. С.

Куняев! Бесишься, что мы уезжаем за границу жить? Кто в Америку, а кто в свою страну Израиль, где не будем видеть ни одной русской хари, от которой воняет щами и квасом. И ты осмелился по радио тявкать, как пишет Т. Иванова в «Книжном обозрении», № 77 от 23.11.90 года (вот они — провокаторы! — *Ст. К.*), на евреев, что мы бежим. Не бежим, а уезжаем. Раньше уехали бы, но нужно было, чтобы кто-нибудь вызов сделал. Оттого и сидели здесь, жрали говно вместе с вами. Да это счастье отсюда уехать из этой помойки с русским навозом. А вы подыхайте здесь. Захлебнетесь преступностью. Питанием вонючим. Пару Чернобылей надо вам. Мы уезжаем и просим Бога, чтобы он всех вас наказал за нас. Экология, преступность, голод, никакого просвета. Жопу нечем прикрыть скоро вам будет.

Я рассердилась, узнав, что Израиль прислал апельсины, огурцы, помидоры, сухое молоко. Еще чего не хватало! Пусть подыхают с голоду. И пробрался же ты (конечно, за взятку) на такую должность. Долго ты собираешься на ней сидеть? Или нанять людей, чтобы тебя кокнули и разбросали части твоего мерзкого тела так, чтобы их никто не нашел? А? Ведь ты деревня, лимитчик, а ведь туда же, где все люди, в журналистику подался.. Вот такие вы все. Понаедете из деревень, тявкаете на собраниях, и выбирают вас в начальники. У нас к твоему сведенью беспокойство, тревога состоит в том, как бы вывезти отсюда побольше серебра, бриллиантов, золота, поменять деньги (а они у нас у всех есть) на доллары и увезти. Вот в чем тревога наша, но все успешно пока удается. Одно расстройство, что наши евреи понавезли с собой навоз — русских жен. Сейчас слава Богу в Израиле спохватились, что пропустили их и не будут давать им гражданства. Или пусть принимают иудейскую веру.

Я бы не разрешила им нашу веру брать. Слишком много чести. Надо было развестись с ними и оставить их здесь. Пусть их берет замуж Ванька — дрэк или Васька — тухэс. Ты понял мою любовь за все к русичам, и к тебе в частности... А в Америку еще хочешь съездить гнида? Да кто тебя пустит, мразь. Чтоб ты сдох!!! Да сбудется все, что мы тебе желаем.

Я могу понять религиозный фанатизм, расовую ненависть. политическое неприятие, но чтобы добровольно выворачивать свое нутро, чтобы с таким наслаждением гордиться

якобы поголовной причастностью своих соплеменников к мошенничеству, воровству и цинизму, чтобы так презирать живущих на одной с ними земле людей?! Ведь, желая уязвить меня, эта женщина изобразила всех евреев последними негодяями, а русских последними дураками. Оболгала два великих народа...

Боже мой, в какой зловонной тьме скиталась ее душа, которую можно только пожалеть за полную безблагодатность жизни. Я даже хотел поехать по адресу, указанному на конверте, но не решился. От мистического ужаса: вдруг приеду в Марьину Рощу, позвоню, и мне откроет дверь не человек, а какое-нибудь сатанинское существо из фильмов Хичкока...

Но в то же получить такое письмо было несбыточной удачей. Публикуя его сейчас, чувствую себя свободным от того, чтобы приводить какие-то аргументы об особенностях худшей части еврейства. Но это мне стало понятным не сразу. А тогда, читая подобное, надо было собрать все духовные силы, чтобы не стать антисемитом. Однако было забавно узнать, что соглядатаи следили за каждым нашим шагом: Именно весной 1990 года, когда мы, «группа русских писателей», собирались по приглашению американского посла Мэтлока в Америку, перед самым отъездом я получил то послание.

Я после долгих колебаний все-таки решился опубликовать эти мерзкие письма, чтобы те, кто помоложе меня, поняли, какие силы тьмы противостояли и противостоят русскому человеку. Но одновременно они должны понять, насколько отравлены злобой души этих существ, и если Бог не в силе, а в правде, если наше дело правое, а оно иным быть не может, поскольку вызывает столь низменные чувства у его противников, то победа будет за нами. А побежденных за их «скрежет зубовный», за то, что по их письмам видно, как злоба выела их дотла, до зловонного смрада, исходящего из их чрева, можно только пожалеть.

Ярость, овладевшая в то время самыми худшими фанатиками любого националистического отребья, выплескивалась со столичных улиц и площадей, отравляла тихую жизнь наивной русской провинции. Помню, как-то летом приехал в Ка-

лугу и пошел погулять в калужский бор, отдышаться, привести мысли в порядок, немного отвлечься на родине от мутных гражданских страстей. Иду по лесной тропинке, мимо могучих темно-коричневых стволов, слушаю пенье птиц, дышу смолистым воздухом и вдруг вижу стенд, врытый в землю. На нем обычная надпись «Сосна обыкновенная. Основная порода древостоя бора. Произрастает на бедных песчаных почвах. Очень светолюбива. Этой сосне 350 лет. Таких сосен в бору 82». А внизу гвоздем по масляной белой краске процарапано:

> Возлюбите Богом избранный народ. Мы умнее вас. Скоро весь мир будет наш. И этот лес тоже. Такова воля Бога.

И рядом звезда Давида начертана. Еврейский вызов. А чуть ниже русский ответ: «А не пошли бы вы со своим избранным народом...» — и дальше крепкое русское слово. Вот до каких почвенных уровней докатилась злоба, расколовшая в те годы наше общество.

А угрозы, сыпавшиеся Белову, Проханову, Шафаревичу — их были не десятки, а сотни. Были и телефонные звонки с проклятиями и обещаниями скорой расправы, и даже стихи, а то и поэмы.

Помню, как после публикации в «Комсомолке» стихотворения «Разговор с покинувшим Родину» я получил действительно целую поэму, где обзывался «неофашистским бесом», «экс-поэтом», «педерастом», «бандеровским мессией» и т. д. Поэма заканчивалась на высокой драматической ноте:

И стыдно так за «Комсомолку»,
что помогла такому волку —
раз не устроила прополку! —
оттиснуть мерзкие «стишки».
А Стасик — гнусная дешевка,
сработавший эс-эс-листовку
так подло и, конечно, ловко —
побереги свои кишки!

Думаю, что ее автором был один из завсегдатаев Центрального Дома литераторов, впоследствии уехавший в Америку...

Боже мой! Какую психическую атаку мы выдержали, какие оскорбления, какую клевету перетерпели и не сошли с ума, не наложили на себя руки, не спились... Всех писем не процитировать, да и нужды нет. Хочу только сказать, что от отчаянья (прямых угроз я не боялся, знал, что это лишь «террор среды», заказных убийств тогда еще не было) спасали другие письма — дружеские, ободряющие, человеческие.

Помню свою радость, когда зимой 1989 года после тяжелой операции получил письмо от Валентина Распутина, словно бы почувствовавшего, что мне нужно помочь в трудные для меня дни жизни.

Дорогой Стас!

Как ты поправляешься? Наверное, передавали тебе, что в Ленинграде, куда мы ездили с «Нашим современником», на каждой встрече о тебе спрашивали. Слух, что ты в больнице, среди своего народа распространился быстро, и потому спрашивали не из любопытства.

Ленинград мы не «взяли», как Рязань, никто, кроме местного фонда культуры, знаться с нами не желал, а фонду удавалось добыть все больше заводские клубы. Но народ туда собирался грамотный, и встречали хорошо, правда, опытному глазу всякий раз можно было рассмотреть ребят-афганцев, готовых утихомирить провокаторов, но до этого кроме одного случая в первый день, когда меня не было, не доходило. Напряжение порой чувствовалось, не без этого; парню, который подвез нас с Володей Крупиным, всю машину исцарапали свастикой. Выбрав часок, сама любезность и радость, вошел я к своим давним приятельницам в букинистический магазин, которые в прежние годы и портрет мой держали вместе с евтушенковским. но прием был холодно-любезным, а Евтушенко висел уже без меня. Но дело не в этом. Меняется и Ленинград. Прочитал сейчас статью Вадима Кожинова в 1-м натре «Нашего современника» и вспомнил, каким же простофилей тогда, в 1969 году был и я. Природа за ночь без книг и радио успевала кое-что внушить заблудшему сыну, но приходил день — и опять все то же давление со всех сторон и обработка действовали еще несколько лет.

Не знаю, выслали ли тебе последний номер «Литературного Иркутска» — на всякий случай высылаю. В следующем даем твою статью. Прекрасная статья! Постоянное сопротивление и давление сделало вас с Вадимом замечательными бойцами и мыслителями со своим архивом и досье. Л. В. Палиевский выезжал только по праздникам — и сейчас блещет, но мускулатура не та.

Спасибо за книгу с «Арбатом». Много в ней и кроме «Арбата» хорошего, чего я не знал даже и из 60-х.

Обнимаю тебя. Гале и сыну поклон.

Твой *В. Распутин.*

Да и другие читатели на рубеже восьмидесятых— девяностых годов не только искали у нас помощи, но нас еще ободряли, как могли, хотя, как я мог судить по их письмам, чувство растерянности и брошенности властью все сильнее и сильнее овладевало душами людей.

...Признаться, вчера я ожидал нечаянной радости, когда включил в машине приемник — звучали стихи о России, севере — наши, русские, не фальшивые. Кто же это? И вот знакомое — эти строки я читал в «Нашем современнике». Однажды прочувствованные, они не забылись, проходных слов здесь нет. Остановился на обочине, слушаю, что ни стихотворенье — открытие и полное созвучие с собственными мыслями, настроениями. Такое испытывал только тогда, когда читал «Бесов» и некоторые дневники Ф. М. Не случайно, думаю, и Вы вспомнили... «Ах, Федор Михалыч»... Но что же делать, Станислав Юрьевич, — неужели все-таки «с кулаками»? Вот и здесь у Вас раздумье на эту тему: вроде бы надо объединиться перед лицом смертельной опасности, но то ли что-то не дает, то ли удерживают нравственные сомнения («И вы, дорогой мой, и вы...») Пока мы взвешиваем, сомневаемся — горловина мешка затягивается.

А. Артеменко.

Запись из моего дневника от 13 января 1992 г.

Каковы достижения демократии за годы перестройки — никому толком не понятно. Гласность — другое дело. Она считается высшим достижением эпохи — все жадно питаются плодами гласности... Но кто эти все — опять же поли-

тизированная интеллигенция, творческие натуры, образованные демагоги из всяческих академий общественных наук, инженеры душ человеческих.

Им бы еще не хвалить гласность! Представилась возможность вытащить из столов все крамольные размышления, все обиды, претензии, счеты, выставить напоказ миру, народу, истории... И неплохо заработать на этом. Да, да! Не стесняйтесь, ребята, признайтесь, тот, кто успел попасть в эпицентр этого круговорота со своими чонкиными, собраниями анекдотов о Сталине, с никому не нужными на Западе бесконечными антитоталитарными эпопеями, с якобы историческими монографиями о Сталине, о Троцком, о Бухарине... Парламентские дискуссии, зарубежные турне, теледебаты, валютные гонорары, сериалы передач по «Свободе», бесконечные интервью — вот сочные плоды гласности для избранных. Плоды, осевшие такими плотными денежными слоями на счетах, что им не грозит никакая инфляция и никакой рынок. Потому-то и можно призывать призрак этого рынка, который бродит по России. Страшен этот призрак народу, не получившему от гласности ничего, кроме отвращения к так называемой интеллигенции.

До кровавого октября оставался еще год с лишним. Горюю, что у меня, бросившего тогда все силы на спасение журнала, не осталось их, чтобы последовать советам умного человека, написавшего мне вот это письмо летом 1992 года.

Я давнишний читатель и почитатель Вашего журнала. Хочу поделиться некоторыми соображениями о нем. Журнал несомненно лидирует в течение последних 3 — 4 лет. Это наиболее солидное и серьезное издание. Другие, традиционно почитаемые публикой журналы существенно проигрывают «НС». Высокий интеллектуальный уровень, научная корректность стали отличительной чертой журнала. Публикуемая литература великолепна. Прекрасная проза, прекрасная поэзия. Не хочу упоминать конкретные публикации, т. к. для этого пришлось бы просто переписать оглавление. Хваленый интеллектуализм ваших оппонентов изрядно полинял. Полинял хотя бы потому, что у них почти всегда имеется, более или менее искусно скрытая, ложь. Именно «НС» задал в свое время тон в осмыслении событии недавней нашей истории. Начало, пожалуй, было по-

ложено В. Кожиновым, его статьей «Правда и истина». После Ваших публикаций от детективного (детеарбатского) варианта истории пришлось отказаться. Равно как отказаться от канонизации новых комсвятых. К началу 1990 г. интерес к журналу резко возрос. Среди моих знакомых появилось много подписчиков. Часто можно было видеть журнал у пассажиров метро. Однако уже к апрелю 1990 г. я заметил, что журнал читают далеко не все, кто на него подписался. Постепенно он исчез и у пассажиров. Расспросы показали, что в основе этого — страх. Страх быть репрессированным, страх оказаться не с толпой, страх оказаться наедине с жуткой правдой, страх понимания. (Кто-то сказал, что для завершения геноцида достаточно ликвидировать подписчиков «НС», «МГ» и «Дня»). Кроме того, понимание происходящего предполагает в качестве ответа активную позицию, а занять ее не все способны. Ваш журнал во многом содействовал формированию национального самосознания у русских людей, но понявших мало, и рассеяны они настолько, что часто им трудно объединяться. Как китам при низкой численности трудно встретиться в океане для спаривания. В институте, где я работаю — около 600 сотрудников. На государственно-патриотических позициях стоит только 6 — 10 человек. Существует четкая поляризация общества. С одной стороны, небольшое количество людей, понимающих, что же произошло с их родиной, с другой стороны — конформистски настроенное большинство, управляемое страхом и желтой прессой. Среди последних много вдохновенных предателей. Ситуацию можно было бы считать безнадежной, если бы не пример наших революционеров начала века. Они показали, на какие чудеса способна грамотная, четкая организация. Ведь властям про них все было известно, осведомителей в их рядах было множество, однако своего революционеры (к сожалению) добились. Этому нам нужно учиться. Мне довелось прочитать интересную бумагу «Катехизис еврея в СССР». Прочитал и позавидовал. До чего же им просто. Все за них кем-то продумано. Каждый их шаг опекаем. Мы же делаем многое кустарно, в одиночку. При этом мы будем обречены на неуспех, если не станем учитывать опыт врага. И в первую очередь, опыт закрытости, опыт организации. Я понимаю, что трудно вести себя закрыто в своей стране. Однако следует осознать, что в условиях оккупации русским о русском говорить нужно только с русскими. Нужно

воспитывать в себе чувство самодостаточности. Мы же все время стараемся кому-то показать, какие мы умные. Я довольно внимательно слежу за патриотической прессой. Опубликовано за последнее время много. Более того, опубликовано практически все, что нужно для понимания происходящего. Тем не менее, понять происходящее и произошедшее многим крайне трудно из-за обилия и фрагментарности опубликованного. Ведь мало кто сможет превратиться в книжного червя, а если и превратится, то сможет прийти к самым неожиданным выводам. Почему возникает необходимость в компактном изложении целостного взгляда? Необходимость в резюме? Иначе мы будем топтаться на месте. Я после долгих раздумий пришел к выводу, что «резюме» должно состоять из трех небольших брошюр (по 1—2 авторских листа каждая), которые следует распространять по всей стране. Малый объем сделает их удобными для прочтения и репродуцирования. Условно эти брошюры я назвал бы так: I— История поражения России, II — История жизненных сил России (история выживания), III — Катехизис русского человека (практическое наставление по повседневному бытовому и социально-политическому поведению). В первой брошюре нужно четко рассказать о том, что с нами произошло. Мы побежденная нация, а не нация дураков, сделавших неверный выбор. А это уже не безнадега. Любой народ может оказаться побежденным. Да и кто бы сумел выстоять против всего мира, имея тем более такую 5-ю колонну, как у нас? Об этом нужно сказать ясно, четко и недвусмысленно и, соответственно, сделать выводы для дальнейших действий.

Во второй брошюре следует рассказать, в чем всегда была наша сила, что помогало нам выживать, что делало нас великой державой, что дает нам право говорить: я горжусь тем, что я русский. Нужно рассказать о казаках, староверах и поморах. Особо нужно рассказать о славянофилах. Нужно объяснить, что «славянофильство» — норма, «западничество» — патология, как бы импозантно ни выглядели его представители. Нужно несколькими словами высмеять западничество, показать его ущербность. Талантливо показать.

Третья брошюра должна содержать наставления о там, как вести себя, с тем, чтобы объединяться и крепчать, несмотря на все разногласия и противоречия, с тем чтобы жить, не поддаваясь на провокации, В этой брошюре должны быть обозначены основные ценности и задачи, объеди-

няющие всех. Должно быть сказано, как жить, не обращая внимания на обвинения в фашизме и прочем.

Брошюры эти должны быть написаны в форме утверждений, но не доказательств. Их дух — не полемика, а напор жизни. Ни в коем случае не следует делать одну книгу. Большую книгу многие не прочтут. Прочитав же одну малую книжку, прочтут и две другие. По опыту чиновничьей работы знаю, что понять (или решить) за один раз люди способны только один вопрос. Два вопроса уже нечто неразрешимое, месиво, говорильня.

Выносить на свет Божий эти писания следует после коллективного обсуждения группой экспертов. Эти писания должны быть явлением не столько литературным, сколько политическим. Писаться они должны тайно. Ибо только тайная сила — сила подлинная.

За последнее время я читал много обращений к народу. Практически все они плохи. В них очень много слов, много риторики, много понятного лишь узкому кругу лиц. Такие обращения мало чем отличаются от обычных газетных статей, желания распространять их не возникает. Предлагаемое мною резюме должно быть написано очень сильно. Распространять его в первую очередь следует среди молодежи, чтобы она входила в жизнь через ворота нашего знания, среди военных и среди работников милиции.

Ответьте мне, пожалуйста.

Далее следовали фамилия, имя и адрес, которые, по понятным причинам, я привести не могу, ибо программа, начертанная этим умным русским, еще пригодится нам в будущем.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I

Часть II

Часть III

Станислав Юрьевич Куняев

ВОЗВРАЩЕНЦЫ

Где хорошо, там и родина

Ответственный редактор С.В. Маршков
Редактор О.В. Селин
Художественный редактор А.Р. Стариков
Верстка А.А. Кувшинников
Корректор Н.Н. Самойлова

На переплете фото РИА «Новости» и ИТАР-ТАСС

ООО «Алгоритм–Книга»
Лицензия ИД 00368 от 29.10.99, тел.: 929-9302
Оптовая торговля: Центр политической книги — 733-9789
«Столица-Сервис» — 375-3211, 375-2433, 375-3673
Мелкооптовая торговля: г.Москва, СК «Олимпийский». Книжный клуб.
Торговое место: № 30, 1-й эт. Тел. 8-903-5198541

Сдано в набор 15.11.2005 Подписано в печать 17.01.2006.
Формат 84х108/32. Бумага тип. Гарнитура «Таймс».
Усл. печ. л. 15,96.
Тираж 3 000 экз. Заказ № 2589.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО "Тульская типография".
300600, г. Тула, пр. Ленина,109.

ВОЗВРАЩЕНЦЫ

ГДЕ ХОРОШО, ТАМ И РОДИНА

Книга известного русского поэта, публициста и общественного деятеля Станислава Куняева посвящена, как и почти все его произведения, теме Родины, тому, как относятся к России, к русской культуре различные представители творческой интеллигенции.
Автор убедительно доказывает, что для многих из них, особенно из числа еврейской интеллигенции, Россия и русский народ являются в лучшем случае отвлеченными понятиями, а в худшем — вызывают неприятие, доходящее до ненависти к нашей Родине.
В сущности, эти творческие деятели всегда имели двойное гражданство и, как только представилась возможность, немедленно покинули нашу страну, забыв о своих былых верноподданнических уверениях.



ISBN 5-9265-0239-X

